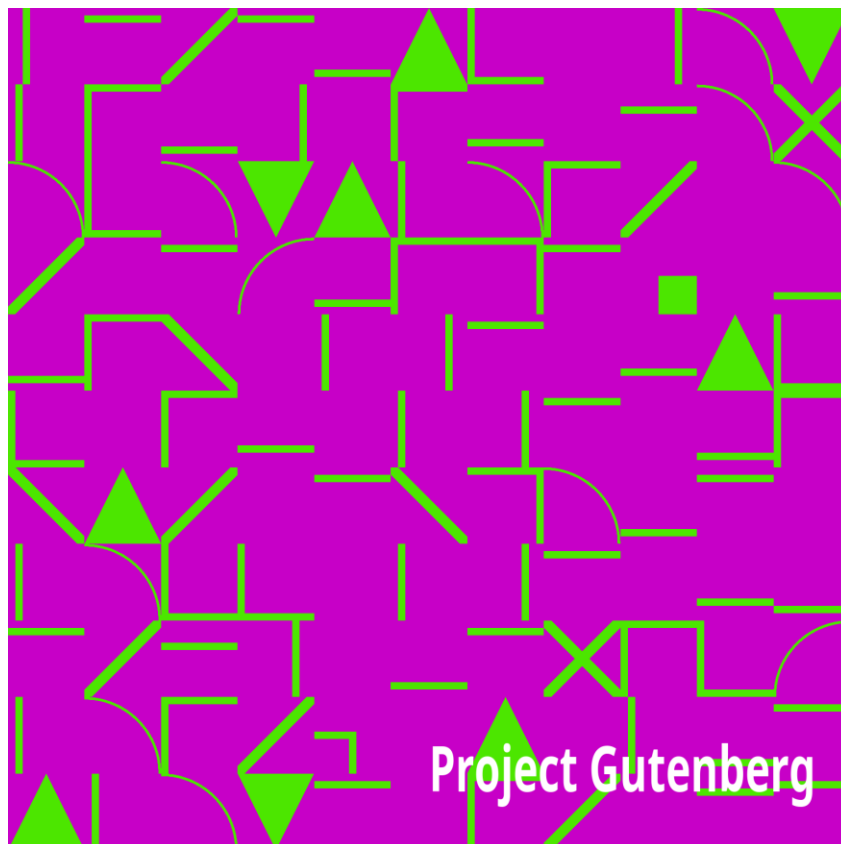


Общая история цивилизации в Европе от падения Римской империи до Французской революции. Трактат о смертных наказаниях.

Франсуа Гизо

General History of Civilisation in Europe,
From the Fall of the Roman Empire Till the
French Revolution. A Treatise on Death

François Guizot



Электронная книга проекта Гутенберга по общей истории цивилизации в Европе, от падения Римской империи до Французской революции. Трактат о смертных наказаниях.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Общая история цивилизации в Европе, От падения Римской империи до Французской революции. Трактат о смертных наказаниях.

Автор: Франсуа Гизо

Дата выхода: 7 марта 2020 г. [Электронная книга № 61572]

Последнее обновление: 17 октября 2024 г.

Язык: Английский

В титрах: Продюсер Дон Костюч

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ, ОТ ПАДЕНИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ". ТРАКТАТ О СМЕРТНЫХ НАКАЗАНИЯХ. ***

[Примечание автора: Эта постановка основана на https://archive.org/details/general_history_of_civilization_in_europe/page/n6]

Цивилизация в Европе

Общая история цивилизации в Европе, От падения Римской империи до Французской революции.

М. Ф. Гизо.

Трактат о смертных наказаниях.

Автор тот же.

Эдинбург:
Уильям И Роберт Чемберсы.
1848.

Эдинбург:
Напечатано У. И Р. Чемберсами.

Содержание.

Жизнь Гизо.	Его рождение, Образование Вступление в жизнь, Литературные произведения, Политическая карьера и изгнание С 1787 По 1848 год.	vii
Лекция I.	Объекты курса цивилизация в целом.	23
Лекция II.	Особенности цивилизации в Европе Влияние Церкви.	38
Лекция III.	Первые века цивилизации.	56
Лекция IV.	Влияние феодальной системы.	71
Лекция V.	Церковь с Пятого по двенадцатый век./td>	88
Лекция VI.	Отношения Церкви с народом.	104
Лекция VII.	Районы и их влияние.	122
Лекция VIII.	Двенадцатый и тринадцатый века Крестовые походы.	139
Лекция IX.	Возвышение и прогресс королевской семьи.	153
Лекция X.	Объединение элементов современного общества.	167

Лекция XI.	Наций и правительств.	182
Лекция XII.	Последствия реформации.	197
Лекция XIII.	Последствия английской революции.	212
Лекция XIV.	Причины и следствия Французской революции.	226
	О Смертной казни	247

Жизнь Гизо.

Его рождение,
Образование
Вступление в жизнь,
Литературные произведения
Политическая карьера и изгнание
с 1787 по 1848 год.

Среди множества выдающихся личностей, появившихся за последние шестьдесят лет на политической сцене Европы, мало найдется тех, чья карьера была более необычной и пестрой, чем у автора следующих работ. Ни в одной стране талант так определенно не обеспечивает превосходства своему обладателю, как во Франции, и нигде успех в литературе не вознаграждается так благородно. Ранг и богатство в нем не являются необходимыми паспортами социальной или политической значимости, и с совершенной правдой можно сказать, что выдающаяся карьера открыта для претендентов любого класса и достоинств, обладающих и проявляющих законные претензии на уважение. Из всех профессий литература пользуется наибольшим уважением, и ее наиболее успешными практиками являются те, кто на протяжении многих лет оказывал наибольшее влияние на ее судьбы и кто был ее главными законодателями и государственными деятелями. Благодаря своим выдающимся достижениям в области интеллектуальной деятельности Гизо поднялся из безвестности и достиг не только славы самого философствующего и глубокого историка своего времени, но и блестящего положения, самого высокого в иерархии цивилизованной жизни.

Семья месье Гизо, по-видимому, имела давнее положение и респектабельную репутацию на юге Франции, поскольку ее главная резиденция находилась в городе Нисм, где он сам родился 4 октября 1787 года. Его отец был адвокатом, имевшим значительную практику в провинциальной коллегии адвокатов Нисмеса, и он принадлежал, как и его предки до него, к Реформатской церкви, что повлекло за собой различные досадные увечья, поскольку протестанты в то время были запрещенной сектой во Франции, точно так же, как католики, с другой стороны, в Англии и Ирландии. Поэтому он с одобрением и надеждой наблюдал за ходом Революции, которая началась с собрания Генеральных штатов при Людовике XVI в 1789 году, и с радостью приветствовал отмену системы, которая обрекала его на унижения как гражданского, так и религиозного характера. Однако он уклонился от излишеств, которыми якобинцы осквернили славную вспышку гнева, и своими чувствами умеренности навлек на себя их мстительный гнев, от последствий которого он искал спасения в сокрытии. Будучи обнаруженным в своем убежище, он героически отказался принять предложение разрешения на побег, сделанное ему его похитителем, предпочитая скорее умереть, чем поставить под угрозу существование другого человека, которого только человечность побудила оказать щедрую защиту. Соответственно, он пал под топором гильотины в Нисме 8 апреля 1794 года, одновременно с казнью Дантона в Париже, падение которого ознаменовало кульминационный момент правления террора. Юному Гизо в то время было почти семь лет, и он был достаточно взрослым, чтобы оценить все ужасы той мрачной эпохи: ужасное впечатление неизгладимо запечатлелось в его сознании и в значительной степени определило будущие тенденции его зрелых лет, которые заставили его с инстинктивным отвращением относиться к малейшему приближению к возобновлению революционного насилия.

Мать Гизо избежала участи своего мужа, оказавшись в этом отношении более удачливой, чем жены большинства жертв, принесенных в жертву мести якобинцев, и переехала со своими детьми в Женеву, к кальвинистскому городу, к которому она изначально принадлежала. Она была женщиной сильного ума и здравых религиозных принципов: она оказалась отличной родительницей Гизо и его младшему брату, обучению и воспитанию которых посвятила себя с образцовой заботой. Забота любящей и добродетельной матери - самое драгоценное благо для человека в его нежные годы, и едва ли найдется случай, когда человек, достигший высокой известности, не пользовался в детстве заботливой опекой материнского надзора. Этим преимуществом Гизо обладала в высшей степени: и, по словам посетителя, который застал ее с ним на коленях за чтением ему эпизодов из жизни великих реформаторов, она заметила: "Я хочу показать моему Фрэнку на этих примерах, как много можно добиться решимостью и усердием"; и, несомненно, ее уроки не были пропущены даром, ибо это те самые качества, которые главным образом отличали его на протяжении всей жизни. В возрасте двенадцати лет, уже добившись значительного прогресса в овладении классическими и основными современными языками, он был отдан на попечение месье де Жу, служителя Реформатской церкви Женевы, который возглавлял значительную семинарию в этом городе. Под руководством этого наставника молодежи он быстро продвинулся в своих занятиях, все еще стремясь справиться с трудностями, которые скрывают от непросвещенных бессмертные сочинения, завещанные древностью или освещающие более поздние эпохи. За четыре года — таков был пыл молодого студента — он мог похвастаться близким знакомством со всеми самыми прославленными греками и римлянами, со всеми самыми прославленными нациями современной Европы. Гомер, Фукидид, Демосфен; Цицерон, Сенека, Тацит; Данте, Тассо, Ариосто; Шиллер, Гете, Фихте; Шекспир, Мильтон, Локк; Расин, Фенелон, Монтескье — вот

великие умы, с которыми он поддерживал дружеские отношения, это источники, из которых он пил из источника знаний, это облагораживающие вдохновители его зарождающегося гения. Счастлив тот юноша, который может воспользоваться возможностью такого обучения, счастлив тот, кто может оценить его несравненные достоинства, его невыразимую прелесть, его возвышенные преимущества; ибо никакое образование не может быть более превосходно приспособлено для облагораживания ума, развития понимания, укрепления интеллекта или наполнения души божественным дыханием философии!

Было естественно, что тонкие вопросы, которые вызывают такой интерес в умах размышляющих людей и которые связаны с загадкой человеческого существования, представились вдумчивому Гизо как подходящие темы для размышлений. Следовательно, мы обнаруживаем, что он с жадностью обращается к метафизике и погружается в бессонные размышления над ее возвышенными, но неразрешимыми проблемами. Таким образом, он приобрел, возможно, даже в большей степени, чем в своих предыдущих исследованиях, тот глубокий и детективный склад ума, который так заметен в его работах и который делает выяснение причин отличительной чертой, неоценимым достоинством его диссертаций. Но пришло время, когда радости академического обучения пришлось сменить на тяготы активной жизни, поскольку никакое наследство не избавляло от необходимости зарабатывать на жизнь трудом; и мадам Гизо, посоветовавшись со своими друзьями, решила, что профессия его отца наиболее подходит для ее образованного сына. Соответственно, в 1804 году она покинула Женеву и вернулась в Низм, откуда, пробыв несколько месяцев, чтобы подышать родным воздухом, Гизо отправился в Париж, тогда блистательную столицу европейского мира, блиставшую блеском императорского трона Наполеона. Сцена, однако, была совершенно неподходящей для молодого авантюриста, вооруженного, несомненно, многими малоизвестными знаниями, сведущего во всех учебных заведениях, настроенного на аскетизм как женевский неопит: военная карьера была великим путем к богатству и отличию под властью могущественного завоевателя. Простые гражданские добродетели или умственные способности пользовались меньшей репутацией, и особенно профессия юриста томилась под скипетром меча. Находясь в обществе, столь напоминающем воинскую труппу, бедный студент чувствовал себя смущенным и одиноким; он искал уединения, чтобы укрыться от его шума и яркого света, и первый год своего пребывания в Париже он по-прежнему провел в одиночестве и за учебой. Но на нем лежала обязанность зарабатывать себе на жизнь, и он справедливо полагал, что функции наставника в равной степени соответствуют его способностям и его вкусам. В поисках работы в этом качестве ему посчастливилось встретить М. Штапфера, самого уроженца Швейцарии и бывшего швейцарского посланника во Франции, который взял его к себе в дом в качестве наставника для своих детей. М. Штапфер изначально был проповедником Евангелия, а также профессором философии, которую он усердно пытался придать религиозному характеру. Он был глубоко сведущ в немецкой метафизике, затем сбив с толку новыми и заумными рассуждениями Канта и вместе с ними полностью проникся умом Гизо, к которому относился одновременно как к своему ученику и другу. Под крышей этого уважаемого человека, оставившего после себя несколько ценных критических эссе, Гизо, кроме того, нашел время последовать примеру Гиббона и других людей с выдающимся именем в литературе, взяв на себя строгую и кропотливую переработку всех своих предыдущих исследований, аналитически переработав их и расположив в той ясной и содержательной манере, которая необходима для постоянной и продуктивной работы. Занимаясь таким образом преподавательскими

обязанностями, наслаждаясь интеллектуальным общением и благодарным трудом частного применения, он провел два счастливых и плодотворных года. Благодаря знакомству с М. Стэпфером он стал известен М. Сюар, чей дом был местом встреч всех выдающихся литераторов того времени и где он общался на равных с самыми выдающимися посетителями, из которых первым по имени и блеску был Шатобриан, который только что наэлектризовал и частично вернул себе неверующий ум Франции своим блестящим и пылким излиянием "Génie du Christianisme" — [Гений христианства].

Степенному, скромному и замкнутому Гизо, тем не менее, был двадцать один год, и он находился в том возрасте, когда романтика предстает в облике непреодолимой привлекательности. Однако его привлекала не любовь, а скорее великодушие и сочувствие к несчастью, которые разжигали его простодушный пыл. Случилось так, что молодая леди по имени Полин де Мелан, уже пережившая расцвет женственности, была назначена главным редактором журнала, основанного мсье Сюаром, под названием "*Публицист*". Эта высокоодаренная личность, к сожалению, заболела опасной болезнью в 1807 году, которая лишила ее возможности продолжать вносить свой вклад в "*Публицист*", от доходов от которого зависело содержание ее самой и ее престарелой матери. Как только Гизо узнал о ее бедственном положении, он сел и сочинил статью, максимально подражая ее стилю и манере держаться, которую, закончив, анонимно отправил ей с намеком, что, если она согласится, аналогичная статья будет публиковаться в каждом следующем номере журнала. Излишне говорить, что больная писательница приняла статью и предложение с благодарностью; и до самого своего выздоровления ее таинственный благодетель настойчиво выполнял свое обещание. Впоследствии она упомянула об этом экстраординарном обстоятельстве в салоне мсье Сюара и в присутствии Гизо, который долгое время воздерживался от раскрытия тайны. Когда это наконец было обнародовано, вполне естественно, что между сторонами установилась очень сердечная близость, которая по прошествии нескольких лет, а именно в 1812 году, привела к их браку, хотя дама имела преимущество в возрасте по меньшей мере на четырнадцать лет. Тем не менее, союз был счастливым и благоприятным, оказавшись выгодным даже с финансовой точки зрения, поскольку г-н Гизо нашел в своей жене способную и прилежную помощницу в своих литературных трудах. Понятно также, что ее суровой чистоте ума он во многом обязан той высокой честностью и принципиальностью, которые так разительно отличают его от огромного числа его современников.

Таким образом, он по-настоящему приобщился к литературной жизни и с неутомимым усердием посвятил себя ее занятиям. При строгой цензуре, в условиях которой Наполеон держал прессу, автору был разрешен очень ограниченный круг тем — все, что имело отношение к политике, даже в исторических, критических или философских диссертациях, было строго запрещено. В этом мрачном состоянии ограничений первой регулярной работой Гизо, опубликованной в 1809 году, было издание "Французских синонимов" Жерара с дополнениями, сопровождаемое оригинальным трактатом о философском характере французского языка. За этим в 1811 году последовал перевод "Испании в 1808 году" с немецкого Рехфуса и эссе о состоянии изобразительного искусства во Франции. В течение того же года он также получил назначение редактором периодического издания под названием "Анналы образования", которое в течение нескольких лет выходило под его редакцией. До конца 1812 года он подготовил перевод книги Гиббона "Упадок Римской империи", который был работой многих рук, даже Людовика XVI, когда дофин, как говорят, выполнил ее часть; но весь он был тщательно переработан и прокомментирован Гизо перед публикацией. В конце того же года он получил,

под влиянием г-на де Фонтана, должность профессора истории в Парижском университете, ситуация, которая свела его с Руайе-Колларом, также профессором того же колледжа, и между ними завязалась дружба, которая впоследствии принесла счастливые плоды и оказала важное влияние на будущую карьеру Гизо.

Первая реставрация Бурбонов в 1814 году предоставила ему возможность, к которой он уже стремился, вступить в политическую жизнь. По рекомендации Руайе-Коллара он был назначен аббатом де Монтезью, министром внутренних дел, секретарем своего департамента; и он последовал за королем в его бегстве в Гент, где, как утверждается, успешно применил свои просвещенные увещевания, чтобы склонить Людовика XVIII. отстранить от своих советов г-на де Блакаса, чей устаревший роялизм существенно помог ему свергнуть его с новоприобретенного трона. Во время второй реставрации он занимал несколько второстепенных должностей в администрации и оставался прикрепленным к сменяющим друг друга министерствам до 1820 года, когда убийство герцога де Берри вызвало бурную роялистскую реакцию, в результате которой пало министерство Деказа (составной частью которого был Руайе-Коллар), и в его крушении был замешан Гизо. Затем он открыто присоединился к партии, оппозиционной г-ну Виллеле, новому министру; и, осмелившись обличить его меры в брошюре, он был отстранен от должности в университете, которую он не занимал до прихода г-на де Мартиньяка к власти в 1828 году.

Таким образом, лишенный всех официальных доходов, он снова был вынужден сидеть за своим пером, чтобы прокормиться. С искренним доброжелательством и благородным духом независимости он снова обратился к своим литературным трудам, которыми занимался в течение десяти лет с 1820 по 1830 год с беспримерным усердием, и вскоре привлек к себе внимание и восхищение своих соотечественников. Будет достаточно перечислить его основные публикации в этот важный период его жизни.

1. Сборник воспоминаний, относящихся к английской революции, с историческими примечаниями и пояснениями, 25 томов. 8vo; за ним следует История английской революции в 2 томах. 8vo, который еще не был завершен в соответствии с первоначальными намерениями авторов.
2. Сборник воспоминаний, относящихся к истории Франции от основания монархии до XIII века, с введением, дополнением, примечаниями и пометками, 29 томов. 8в.
3. Новое издание перевода Шекспира Роллена и Летурнера с большими поправками и иллюстрированное критическими замечаниями и историческими заметками.
4. "Французское ревю", периодическое издание, основанное им в этот период, может быть включено в число его работ вместе с основными статьями в журнале под названием "Глобус".

В выполнении всех этих работ ему постоянно помогала его жена, которая сидела с ним в одной комнате, где он занимался своими литературными делами, в сопровождении двух своих племянниц и в окружении нескольких молодых людей, которые выступали в различных качестве переписчиков, аранжировщиков и помощников: вся группа представляла собой картину молчаливой деятельности и решительного трудолюбия, самое интересное, что только можно себе представить.

В этот период г-н Гизо жил в тихом уединенном доме на маленькой улочке за театром Мадлен, который он в некоторой степени прославил своими неустанными трудами, сценой которых он был. С тех пор он жил в роскошных дворцах; но вполне вероятно, что в этом скромном жилище он получал больше настоящего удовольствия, чем когда сидел среди великолепия высокой официальной помпы. Хотя было хорошо известно, что он был беден и средства к существованию зависели от литературы, его состояние, которое в Англии считалось бы одним из самых приниженных из возможных, не было недостатком для его социального положения, и его резиденция была местом прибежища почти всех самых выдающихся людей того времени как в литературе, так и в политике. По вечерам, когда он устраивал приемы, его маленькие комнатки были переполнены знатными людьми, стремившимися принять участие в интеллектуальном пиршестве, устраиваемом по таким случаям; ибо там не было никаких яств, которыми можно было бы их угостить, кроме чашки чая, приготовленной прекрасными руками мадам Гизо и одной-двух подруг — часто покойной герцогини де Бройль, женщины высших достижений. И все же горе постигло его и в этом любимом доме, потому что здесь в течение 1827 года умерла его жена, а вскоре после нее - его единственный сын. Умирая, она умоляла его жениться на одной из ее племянниц, которая жила с ними; и в следующем году он исполнил ее желание, женившись на Элизе Диллон, старшей, которую он также имел несчастье похоронить в могиле после того, как она родила ему двух дочерей. Именно в том же 1828 году было сформировано либеральное министерство г-на де Мартиньяка, одним из первых действий которого было восстановление Гизо в должности профессора современной истории в Сорбонне, и в этой ситуации, как он, возможно, впоследствии будет считать, он заслужил свою главную славу.

Лекции, которые Гизо читал со своей университетской кафедры, были собраны в два издания, одно из которых озаглавлено "Курс современной истории" в шести томах, а другое - "История цивилизации в Европе". Этот последний курс вызвал всеобщее восхищение, переведен на все современные языки и приобрел самую широкую известность. Она была произнесена после его возвращения на свое место на сессии 1828 года, и на английском языке уже появилось несколько ее переводов. Но недавние события придали этой работе дополнительный интерес и важность, оправдывая ее возобновление, и поскольку она попадет в руки нового круга читателей, вряд ли несколько слов о ее содержании, объеме и исполнении будут сочтены неуместными:

Она охватывает историю общего развития современной цивилизации, от падения Римской империи на западе до душевных потрясений, возвестивших о Французской революции. Элементы этой цивилизации автор свел к четырем, а именно: церкви, феодальной системе, местечкам и королевской власти, — и каждый из них последователен по своему происхождению и сопровождался всеми последующими изменениями. Влияние великих событий, произошедших в современной Европе, на различные слои общества проявляется с большой силой и оригинальностью, особенно влияние крестовых походов, Реформации и английской революции. То, как он показывает, что общество в конечном счете было разделено только между двумя силами, нациями и правительствами, очень поразительно и удачно. Наиболее блестящей частью работы обычно считается та, в которой он описывает правление Людовика XIV и борьбу этого монарха с Вильгельмом III, причем каждый из них является представителем и олицетворением великого принципа, один из которых воплощает

абсолютный суверенитет, а другой - гражданскую и религиозную свободу, борьба между которыми является характерной чертой более поздней европейской истории.

На протяжении всей работы М. Гизо демонстрирует большую глубину мысли и оригинальность не только в своих общих взглядах и анализах, но и в своих идеях, касающихся определенного порядка фактов, отдельных событий или своеобразных институтов. Он в очень высокой степени владеет искусством представлять известные объекты в столь новом и поразительном свете, чтобы привлечь внимание читателя и заставить его напрячь свои рефлексивные способности до предела, вопреки ему самому. Возвышенный тон философских рассуждений отличает все исследование, которое, хотя и открывает ум и радует его, в то же время сохраняет его стойким и внимательным; ибо окажется невозможным понять большую часть выводов Гизо при небрежном или случайном прочтении.

Были высказаны возражения против стиля, в котором пишет Гизо. Его обвиняют, и, возможно, справедливо, в том, что иногда он бесплоден и бездуховен, а иногда рассеян и скучен. Но нет никаких сомнений в том, что в его произведениях есть отрывки необычайной красоты и выразительности, хотя он, очевидно, больше озабочен силой и правдивостью своих идей, чем простой дикцией, в которой он их излагает. Определенная внезапность переходов, которой он часто позволяет себе, делает его трудным автором для перевода таким образом, чтобы дать настолько полное представление о его стиле письма, насколько это возможно, хотя в данном случае эта цель была достигнута настолько, насколько это возможно.

Обнаружится, что в конце работы автор намекает на свое намерение осуществить воздействие современной цивилизации на моральное и внутреннее развитие человечества в будущий период, ограничив свое нынешнее исследование ее влиянием на политическое и социальное развитие. Из обстоятельств, о которых мы сейчас расскажем, следует, что Гизо до сих пор не выполнил своего обещания, но теперь стало понятно, что он намерен без промедления завершить свой первоначальный проект.

Начиная со знаменитой эпохи 1830 года, Гизо следует рассматривать главным образом как политического персонажа, хотя за это время он опубликовал несколько уважаемых работ, таких как "Жизнь Монка", "Жизнь Вашингтона", "Эссе о демократии" и философское эссе о смертных наказаниях, особенно в связи с политическими преступлениями, которое приводится в конце этого тома. В январе того же года он был возвращен избирательным округом Лизье членом Палаты депутатов, и он согласился с обращением большинства этого органа, которое побудило Карла X издать свои знаменитые указы от 15 июля 1830 года. На собрании депутатов, состоявшемся в доме Казимира Перье, протест, принятый против этих постановлений, был составлен Гизо, и когда Карл X был изгнан из королевства, временное правительство назначило его министром народного просвещения. После восшествия Луи-Филиппа на престол первая администрация, избранная им, естественно, состояла из представителей разных партий и была в значительной степени разнородной, оставшись без главы или президента. Но в этом Гизо, несомненно, занимал первое место, поскольку получил назначение министром внутренних дел, которое сразу после революции должно считаться самой важной должностью правительства. Это первое министерство, в состав которого входили люди всех оттенков мнений — Моле, Дюпен, Лафит и Перье, — просуществовало всего три месяца, будучи смещенным представителем более решительно либеральной тенденции при президенте Лафите, и Гизо

ушел в отставку вместе со своими друзьями. Именно с этого времени Палата депутатов распалась на такое количество различных фракций, что едва ли какая-либо комбинация была возможна для того, чтобы в течение какого-либо периода времени иметь необходимое большинство для руководства правительством. Следовательно, в течение первых десяти лет правления Луи-Филиппа смены министров происходили почти непрерывно. Различных партий в Палате было, в общем, всего четыре, то есть они отличались друг от друга фундаментальными принципами. Эти четверо были легитимистами, илисторонниками павшей династии; реакционерами, консервативными реформаторами и радикальными реформаторами, согласно номенклатуре, наилучшим образом описывающей их соответствующие тенденции; но они были известны как Правые, правоцентристы, левоцентристы и Левые из-за позиций, которые они занимали в зале Палаты представителей. Но они снова были разделены на более мелкие секции, особенно в том, что касалось двух Центров, которые составляли основную часть собрания и из которых были взяты все министерства. Таким образом, хотя Гизо принадлежал к правоцентристам, он вместе с Руайе-Колларом и еще примерно двадцатью пятью или тридцатью другими образовал отдельную организацию, получившую название доктринеры: термин, применяемый к ним, как и к большинству политических обозначений, по случайному стечению обстоятельств. До революции существовала педагогическая корпорация под названием "Доктринеры", в одном из колледжей которой Ройер-Коллар получил образование, в то время как его брат и дядя принадлежали к братству. Его ораторский стиль носил строгий и логичный характер, всегда опирался на незыблемые доктрины, и, более того, это слово постоянно было у него на устах. Однажды он более чем обычно разразился этой фразой, и один член роялистской партии, раздраженный лекцией, которую он читал, громко воскликнул: "Ах! слушайте доктринеров! Никто никогда не сможет ошибиться в доктринерах!" С этого момента эпитет закрепился за ним и его единомышленниками, которые, мягко говоря, приняли его достаточно охотно. Но хотя происхождение названия легко объяснимо, совсем иначе обстоит дело с точными принципами, отстаиваемыми доктринерами. Соглашаясь в целом с Правым центром в необходимости противодействия любому расширению популярных привилегий, они, тем не менее, допускали, что такое расширение может быть целесообразным и согласуется с разумом и справедливостью, но в то же время необходимо позаботиться о том, чтобы реальное управление страной всегда осуществлялось людьми, обладающими превосходной информацией и способностями. В этих идеях не было ничего настолько необычного, чтобы придать доктринерам особый политический характер; но на самом деле и Гизо, и Коллар были слишком горды и честолюбивы, чтобы признать лидерство другого, и они стремились сохранить равновесие между двумя Центрами, чтобы сделать свою поддержку необходимой для формирования министерства.

Пожалуй, нет более сложной задачи, чем сделать понятной борьбу партий и смену правительства, которые произошли в первые годы правления Луи-Филиппа. За исключением двух небольших фракций в Палате представителей, легитимистов (лидером которых был Берриер) и общепризнанных республиканцев (лидером которых был Гарнье-Паж), все были единодушны в сохранении неприкосновенности Хартии 1830 года и династии, которую она посадила на трон Франции. Даже Одийон Барро и Араго выступали лишь за определенные избирательные изменения с целью распространения избирательного права на большую часть населения и принятия ряда других реформ. Но тем не менее, хотя поле битвы, казалось, таким образом сузилось и существовали лишь незначительные разногласия, в истории парламента мало примеров более острой борьбы, чем между основными партиями в Палате депутатов; и это

может быть объяснено только тем несомненным фактом, что разногласия возникали почти исключительно из личного соперничества. Таким образом, между Гизо и Тьером, которые настолько затмевали всех остальных ораторским искусством и талантом, что были бесспорными лидерами собрания, не существовало такой ощутимой практической разницы, которая оправдывала бы их взаимную враждебность. Это правда, что Тьер, исходя из содержания его трудов и его предыдущих связей, считался человеком более либерального склада; но его имя не ассоциируется ни с какой либеральной тенденцией, и он не колебался следовать, когда сам был у власти, той же самой ограничительной политике в отношении прессы, публичных собраний и других вопросов, которая отличала те правительства, которые считались более ретроградными. При таких обстоятельствах Луи-Филипп, обладавший большой проницательностью и знанием людей и, к тому же, терзаемый жаждой правления, увидел, что, умело лавируя между враждующими группировками, он может сам взять бразды правления в свои руки и нарушить великий принцип конституционной монархии, который отводит королю роль *только царствования*, а его ответственным советникам - роль *правления*. Это он выполнял до такой степени, что, несмотря на многочисленные смены министерств, все они, по сути, были его собственным составом, а в важных политических вопросах - творениями его воли. И все же было бы несправедливо по отношению к этому монарху не допустить, что такое положение вещей было в значительной степени навязано ему аномальным положением партий в Палате депутатов, и что на протяжении всего своего правления он неизменно оказывал свое влияние, чтобы подавить страсть к войне, столь прискорбно присущую французскому народу, настолько, что лично ему можно приписать славу сохранения на протяжении стольких лет мира в цивилизованном мире.

Нет никаких сомнений в том, что, хотя Франция достигла значительного роста материального благосостояния при правлении Луи-Филиппа, его правительство в том, что касается социальных и политических улучшений, следует охарактеризовать как застойное, если не сказать ретроградное. Могло ли быть иначе или нет, исходя из своеобразия характера французов, без того, чтобы подвергнуть опасности их собственную стабильность, станет предметом любопытного исследования будущего историка. Но в одном важном вопросе был достигнут потрясающий прогресс, и это благодаря господину Гизо. В октябре 1832 года он вступил в должность в коалиционном с Тьером министерстве, президентом которого был маршал Султ, и получил назначение министром народного просвещения, к которому он был так превосходно приспособлен и которое, при бесчисленных изменениях кабинета, он сохранял до 1836 года. И здесь можно одобрительно отметить, как свидетельство полного исчезновения религиозного фанатизма во Франции, что не было выдвинуто ни единого возражения по поводу его протестантизма против того, чтобы Гизо было поручено руководить образованием всей молодежи Франции. Но еще более удивительным может показаться то, что ему было позволено расширить систему государственного образования в такой экстраординарной степени. Не вдаваясь в подробности его образовательной организации, достаточным доказательством гигантских последствий, которые он ей придал, является то, что если в 1829 году субсидия на образование составляла в бюджете умеренную сумму в 2 000 000 франков, то в 1836 году она была увеличена до 15 000 000 франков, или 600 000 фунтов стерлингов; в то время как статья расходов на начальное обучение аналогичным образом увеличилась с 50 000 до 5 000 000 франков. Таким образом, по всей Франции средства предоставления надлежащего образования основной массе населения были предоставлены благодаря дальновидности этого

государственного деятеля, который мудро рассудил, что распространение образования среди общества является наилучшей гарантией мира, процветания и порядка.

В феврале 1836 года Гизо уступил высокомерному обращению своего соперника Тьера, который полностью осуществил свою честолюбивую мечту и стал премьер-министром Франции. Однако его пребывание у власти было очень кратким, поскольку продолжалось только до августа того же года, когда он, в свою очередь, уступил место Моле, к которому Гизо присоединился в качестве коллеги. Ткань этих шкафов была настолько хрупкой, что "Моле" развалился на куски в марте 1837 года, но впоследствии был реконструирован путем замены Монталиве на Гизо, который был принесен в жертву как несносный для большинства Присутствующих в Зале. В 1839 году Сульф снова был назначен президентом совета, а Гизо принял почетный пост посла в Англии. Он был принят при лондонском дворе с особым уважением; и он сам описал свое ощущение лестного приема, который он испытал у всех слоев населения Великобритании. Его миссия, однако, была недолгой, поскольку очередная министерская революция снова поставила во главе дел грозного Тьера, под началом которого он отказался служить. Воинственные наклонности, проявленные Тьером, последовавшие за коалицией других великих держав по изгнанию Мехмета Али из Сирии, побудили короля отправить его в отставку; и в 1840 году Луи-Филипп сформировал свое последнее министерство, во главе которого номинально стоял Сульф, но фактически его возглавлял Гизо на важнейшем посту министра иностранных дел. При этом правлении окончательно свершилась катастрофа, которая, по предвидению, уже давно грозно надвигалась и против которой тщетно раздавался предостерегающий голос.

Хартия 1830 года и правительство, созданное в соответствии с ней, постепенно становились безразличными, если не сказать отвратительными, для основной массы французского народа, который с изумлением наблюдал за последовательными сменами министерств, которые действительно приводили к смене людей, но не вели ни к изменению системы, ни к улучшению мер. То, что это было результатом, почти неизбежно повлекшим за собой создание грибного института, возможно, слишком верно, исходя из простого факта, что основной функцией любого упорядоченного правительства во Франции является защита своего существования от неустанных усилий фракции, самой беспринципной и безжалостной в своих действиях, известной со времен Катилины на Римском форуме. Неоднократные попытки убить короля и постоянные заговоры с целью свержения его трона в достаточной степени подтверждают эту страшную необходимость, которая, тем не менее, повлекла за собой последствия, самые катастрофические для его популярности и долговечности его династии. Вынужденные в целях чистой самообороны принять репрессивные меры против подстрекателей анархии, "друзья свободы", забыв или проглядели существующую опасность для порядка и самого общества, увидели в этих мерах признаки тирании и выступили против них как актов предательства духа конституции. В некоторых случаях эти меры могли быть слишком суровыми, и меры, принятые против прессы, казались бы, несомненно, таковыми, если бы не то, что газетные статьи оказывали столь необычайное влияние на французов, что сам Наполеон благоговел перед ними больше, чем перед всеми миллионами штыков союзников; но, по крайней мере, они были одобрены главными деятелями всех партий, за исключением крайних республиканцев, и на данный момент воспринимались как меры предосторожности абсолютной необходимости. И все же нельзя представить себе ситуацию, более неблагоприятную для правительства, чем постоянное принуждение к жестким действиям даже по отношению к закоренелым злоумышленникам, поскольку таким образом становится легко представить ее в одиозных тонах. Вся система правления, по-видимому, была направлена к одной—единственной цели -

упрочению династии на троне, даже в ущерб общественной свободе, — и эта идея, усердно распространявшаяся, вскоре пустила корни и превратилась в устойчивое убеждение по всей стране. Таким образом, король стал непопулярным, если не сказать одиозным, и не осмеливался появляться на публике без сопровождения бесчисленной стражи. Единственный член его семьи, герцог Орлеанский, которого хоть сколько-нибудь любил народ, был, к несчастью, убит; и хотя другой из его сыновей, принц де Жуанвиль, пытался завоевать популярность, потворствуя национальной ненависти к Англии, он потерпел неудачу в достижении своей цели; и вся семья стала относиться к нации с полным безразличием, а возможно, и отвращением. Это было ярким примером в случае с браком герцога де Монпансье с инфантой Испании, который был осуществлен средствами, весьма дискредитирующими глав французского правительства, хотя и рассматривавших его как мастерский политический ход, но который не вызвал ажиотажа среди людей, которые видели в нем просто приумножение семьи, к судьбе которой они перестали испытывать какой-либо интерес.

Именно при таких неблагоприятных обстоятельствах, когда Гизо был главным советником короны, во Франции раздался почти единодушный клич о проведении избирательной реформы, подобной той, которую долгое время отстаивали Одиллон Барро и его партия. Если бы не общее недовольство, существующее против правительства, вполне вероятно, что этот крик утих бы, хотя и был основан на строгом разуме и справедливости; однако это недовольство, к несчастью, еще больше разгорелось из-за определенных разоблачений казнокрадства со стороны высокопоставленных чиновников, которые имели тенденцию показывать, что вся система администрации глубоко заражена коррупцией. Честность самого Гизо никогда не подвергалась сомнению, и его личный характер не пострадал; но он не мог избежать обвинения в потворстве нечистотам, безусловно, давним и трудно искореняемым, что не могло не скомпрометировать правительство, при котором им разрешалось продолжать свою деятельность. [Сноска 1]

[Примечание 1: Гизо довел свою идею честности министерства до уровня жесткой экономии. Когда Тунисского мальчика приняли в Париже, что стало одним из сомнительных событий, ознаменовавших последние годы правления Луи-Филиппа, он отправил дочерям Гизо подарки на сумму 6000 фунтов стерлингов, которые тот немедленно вернул.]

Следовательно, вопрос о реформе приобрел все больший размах, и, независимо от других причин, по этим особым причинам — 1-ст, избирательная система Хартии была неполной и несовершенной; и, 2-й, она оказалась бесплодной. Квалификация избирателя, устанавливаемая при ежегодной уплате прямых налогов в размере L.8, 6s. 8d., сократила число избирателей ниже 200 000 при населении в 35 000 000 человек. Следовательно, представление было частичным и иллюзорным. Избирательные округа были настолько неравными, что, в то время как в крупных городах на каждые 2000 избирателей приходилось только по одному депутату, в сельских округах также по одному депутату на каждые 150 избирателей; и эти последние из множества государственных чиновников Франции были почти полностью под влиянием правительства и фактически находились в близких районах. Таким образом, нельзя отрицать, что состав Палаты был неравным и несовершенным и что его можно было бы с выгодой реформировать. Но с возрастом Луи-Филипп только еще больше привязался к своей системе репрессий и слышать не хотел ни о каких переменах. Сам Гизо отличался упрямым и надменным нравом, и хотя он мог чувствовать всю силу аргументов против существующей системы, он не желал поддаваться тому, что могло быть сочтено запугиванием.

Уверенные в силах в 50 000 солдат, собранных в столице, уверенные в большинстве Палаты депутатов, которая фактически состояла из лиц, занимающих посты при короне, и король, и министр хладнокровно взирали на движение, полные решимости подавить его в тот момент, когда оно, казалось, наберет чрезмерную силу или окажется в реальной опасности.

Зимой 1847 года почти во всех департаментах Франции были проведены банкеты по случаю Реформ, о которых свидетельствовало значительное исключение из списка тостов за здоровье короля. Это само по себе было обстоятельством, достаточно свидетельствующим о низкой оценке, которой пользовался монарх, не среди низших классов, которые обычно недовольны любым правительством, а среди основной массы средних классов, предполагаемых оплотов трона. За этими банкетами, конечно, наблюдали, но власти им не препятствовали; но когда законодательное собрание снова собралось в Париже на свою обычную сессию в начале 1848 года, было решено провести один из них в гигантском масштабе в самой столице.

Правительство решило предотвратить это и, соответственно, наложило запрет; впоследствии оно сняло запрет и, в конце концов, возобновило его. Это колебание было крайне пагубным; оно свидетельствовало о том, что правительство пребывало в сомнениях и нерешительности; оно придало лидерам реформ дополнительную смелость и решительность. Они настаивали на проведении банкета, который был назначен на 22 февраля. Было бы неуместно подробно останавливаться на этой теме. Достаточно сказать, что вспыхнуло восстание народа, который воздвиг баррикады на главных улицах Парижа; национальная гвардия и войска отказались действовать против населения, и через двадцать четыре часа Луи-Филипп был свергнут с престола! Дворец Тюильри был взят штурмом и разграблен; толпа ворвалась в Палату депутатов, откуда изгнала ее членов и провозгласила Республику. Монарх, который несколько дней назад казался таким же прочно сидящим на своем троне, как любой другой в Европе, который считался одним из мудрейших и проницательнейших и которому приходилось защищать себя 500 000 штыков, был беглецом вместе со своей королевой, бежал переодетым, без денег и без одежды и, наконец, достиг берегов Англии в старом бушлате, позаимствованном у капитана парохода! Столь внезапного и необъяснимого события еще никогда не происходило в мировой истории, изобилующей замечательными превратностями судьбы. Исследовать его причины и проследить его развитие - дело историка, а не биографа.

Министр разделил судьбу своего хозяина. С трудом пробравшись сквозь толпу восставших, он благополучно добрался до бельгийской границы, сел на корабль в Остенде и благополучно добрался до Англии. Для большей безопасности он отправил свою мать и дочерей в другом направлении, в тот же пункт назначения, и по прибытии имел счастье обнаружить, что они опередили его. Теперь, изгнанный со своей родины, в которой он сыграл столь разнообразную и выдающуюся роль, он, по крайней мере, будет иметь письма и философию, которые утешат его; и его суровая натура не растворится в тех жалких упреках, за которые мы краснеем в Цицероне. На досуге и в уединении он завершит те работы, которые обеспечат ему нишу в храме славы, если суждение потомков будет неблагоприятным для него как государственного деятеля.

Т. В. Рыжая.

С момента приезда месье Гизо в Англию он жил в нарочитом уединении. Он отклонил несколько приглашений от государственных органов и даже предложений почетных назначений, ибо Британия гордится сочувствием к несчастным и изгнанникам; но однажды он был вынужден нарушить свое уединение, и поскольку слова такого человека всегда должны обладать большой ценностью и интересом, считается уместным записать их здесь. Гизо присутствовал на публичном приеме, устроенном в августе 1848 года в Грейт-Ярмуте после повторного открытия церкви Святого Николая; председатель выпил за его здоровье и произнес следующее:

- За свою жизнь я приезжал в Англию всего дважды. В первый раз я приехал как посол могущественного короля; во второй раз как изгнанник из своей родной страны. Когда я впервые приехал в вашу страну, Европа находилась в состоянии совершенного спокойствия и процветания; здесь царили мир и уверенность в будущем. Во второй раз, несколько месяцев назад, когда я приехал, моя собственная страна — Европа в целом — была охвачена большой печалью и страхами за будущее; но я нашел Англию совершенно спокойной, наслаждающейся в глубочайшем спокойствии своей свободой, своей конституцией, своими моральными, интеллектуальными и материальными перспективами; и меня приняли как изгнанника, каким я былв бытность послом, с той же добротой, с тем же сочувствием и, осмелюсь сказать, с той же дружбой. До сих пор я отказывал себе во всех приглашениях — отклонял все приглашения на большие праздники и на большие собрания. Вдали от моей дорогой страны, и это глубоко печально, я склонен, а также обязан жить в уединении; и я это делаю. Но это событие совсем другого рода. Восстановление церкви Божьей, благочестие огромного народа, красноречие двух достойных епископов — вот мотивы, которые привлекли меня в ваш город после того, как я отказался от всех других приглашений. Еще только одно слово. Позвольте мне сказать вам: храните свою веру, соблюдайте свои законы, будьте верны примерам, традициям ваших предков; и я верю, что Бог продолжит изливать на вас и вашу страну Свои лучшие, Самые обильные, самые благодатные благословения".

История цивилизации в Европе.

Лекция I.

Задачи курса.

О цивилизации в целом.

Джентльмены— я глубоко тронут приемом, которым вы меня удостоили, и который я принимаю как залог симпатии, которая продолжает существовать между нами, несмотря на столь долгую разлуку. Как будто те же люди, то же поколение, которые семь лет назад принимали участие в моих трудах, теперь присутствуют в этих стенах. Поскольку я сам возвращаюсь сюда, мне кажется, что все осталось по-прежнему, что ничего не изменилось; и все же все изменилось, и изменилось к лучшему. Семь лет назад мы вошли в это здание с беспокойством, охваченные печальными и мрачными мыслями; мы сознавали, что нас окружают трудности и опасности; мы чувствовали, что нас влечет ко злу, которого мы тщетно пытались избежать с помощью серьезного, спокойного и сдержанного поведения. Теперь мы все приходим, и вы, и я, с уверенностью и надеждой, наши умы спокойны, а мысли не скованы. Есть только один способ, которым мы можем выразить нашу благодарность, джентльмены; и это соблюдение на наших собраниях и в наших занятиях того же спокойствия и осмотрительности, которые отличали их, когда каждый день приносил опасения, что они будут скованы или отстранены от работы. Давайте не будем забывать, что удача имеет тонкую и хрупкую структуру и подвержена случайностям; что надежда требует умеренности, как и страх; что состояние выздоравливающего требует почти таких же забот и осторожности, как приближение болезни. Я уверен, джентльмены, что ваши идеи совпадают с моими. Симпатия, интимный и открытый обмен мнениями и чувствами, которые объединяли нас в трудные дни и, во всяком случае, спасали нас от неблагоразумных поступков, в равной степени объединят нас в этот более благоприятный период и позволят нам пожать все его плоды. Я рассчитываю на ваше молчаливое согласие, джентльмены, и мне больше ничего не нужно.

Время, отпущенное нам между этим и окончанием года, очень ограничено. У меня самого было совсем немного времени, чтобы подготовить курс, который я должен вам представить. Я искал тему, которая могла бы быть рассмотрена наиболее полно, как с учетом времени, которое у нас осталось, так и с учетом тех нескольких дней, которые были предоставлены мне на подготовку. Мне показалось, что общая картина современной истории Европы, рассматриваемая с точки зрения развития цивилизации — другими словами, взгляд на историю европейской цивилизации, на ее происхождение, ее прогресс, ее цели и ее характер — лучше всего подходит для имеющегося в нашем распоряжении пространства. Поэтому именно по этому вопросу я решил обратиться к вам.

Я имею право говорить о европейской цивилизации, потому что очевидно, что в цивилизации различных государств Европы преобладает определенная идентичность; что она является результатом почти сходных фактов, несмотря на большие различия во времени, месте и обстоятельствах; что она прослеживается по одним и тем же принципам и имеет почти универсальную тенденцию к аналогичным результатам. Таким образом, я вывожу европейскую цивилизацию, и вместе с ней, взятой в целом, я хочу заинтересовать вас.

С другой стороны, столь же очевидно, что эту цивилизацию не следует искать, что ее история не полностью развита в истории ни одного отдельного государства Европы. Если она обладает

единством, то ее разнообразие не менее поразительно: ни в одной отдельно взятой стране нельзя полностью проследить ее прогресс. Его черты разрозненны: элементы его истории можно найти иногда во Франции, иногда в Англии, иногда в Германии, иногда в Испании.

Мы занимаем благоприятную позицию для продолжения этого поиска и изучения европейской цивилизации. Мы должны избегать лести кому бы то ни было и даже нашей стране; и все же я верю, что мы можем с уверенностью сказать, что Франция была центром, горнилом европейской цивилизации. Было бы абсурдно притворяться, что она всегда шла в авангарде со всех сторон. В разные эпохи в искусстве ей предшествовала Италия, а в политических институтах - Англия. Возможно также, что в других отношениях мы обнаружили бы, что другие нации в определенные периоды превосходили ее; но невозможно отрицать, что всякий раз, когда Франция ощущала себя отсталой в гонке, она обретала свежую энергию, устремлялась вперед и вскоре обнаруживала, что равна или опережает всех. И не только это произошло; но когда цивилизаторские идеи или институты, если мне будет позволено так выразиться, были пересажены, чтобы сделать их продуктивными и универсальными, приспособить их для общего блага европейской цивилизации, мы увидели, что им пришлось, в некоторой степени, пройти новый подготовительный процесс во Франции, и из нее, как из другой страны, с более богатой и плодородной почвой, отправиться на завоевание Европы. Нет ни одной великой идеи, ни одного великого принципа цивилизации, которые не прошли бы сначала через Францию, чтобы быть распространенными повсюду. Во французском характере есть что-то более общительное и отзывчивое, что-то действующее с большей легкостью и энергией, чем в характере какой-либо другой нации: либо благодаря нашему языку, либо благодаря особой склонности нашего гения, либо благодаря нашим манерам наши идеи более популярны, более ясно воспринимаются массами и легче проникают в них; одним словом, проницательность, общительность и сочувствие являются характерными чертами Франции и ее цивилизации, и эти качества в высшей степени подходят ей для того, чтобы идти во главе европейской цивилизации.

Следовательно, приступая к истории этого великого факта, мы не руководствуемся произвольным или общепринятым выбором, принимая Францию в качестве центра наших исследований, а скорее тем самым помещаем себя, так сказать, в самое сердце цивилизации, в самое сердце того, исследованию чего мы собираемся посвятить наши умы. Я называю это *фактом*, джентльмены, и я называю это так намеренно. Цивилизация - это факт, который так же поддается изучению, описанию и изложению, как и любой другой в истории.

Давно было справедливо замечено, что история должна заключаться в фактах, что она должна быть взаимосвязана. Нет ничего более верного. Но есть больше фактов, которые нужно связать, и эти факты сами по себе более разнообразны, чем мы, возможно, на первый взгляд склонны верить: есть материальные, видимые факты, такие как сражения, войны, официальные акты правительств; есть моральные, скрытые факты, которые не менее реальны; есть отдельные факты, которые имеют четкое обозначение; и есть общие факты, не имеющие обозначения, которым невозможно назначить точную дату ни дня, ни года, которые невозможно включить в установленные рамки и которые, несомненно, являются фактами, которые нельзя исключить из истории, не искалечив ее. .

Та часть истории, которую мы привыкли называть философской частью — взаимные связи фактов, связующие их узы, причины и следствия событий, — в такой же степени является историей, как и описания сражений и внешних обстоятельств. Факты такого рода, несомненно,

труднее расшифровать, и они часто дают повод для ошибок: нелегко придать им живость или представить их в ясных и ярких красках; но эта трудность не затрагивает и не изменяет их природу и не делает их менее существенной частью истории.

Цивилизация - один из этих фактов, общий, скрытый, сложный факт; я согласен, что его очень трудно описать и соотнести, но от этого он не становится менее важным, поскольку обладает существованием и правом быть описанным и связанным. В связи с этим фактом может быть поднято множество вопросов: можно спросить, действительно, спрашивали, к добру это или ко злу? У одних самые мрачные ожидания, у других - самые радужные. Можно также спросить, существует ли универсальная цивилизация человеческого вида, предназначение человечества, и передавалось ли из века в век нечто такое, что нельзя потерять, что должно увеличиваться, формировать запас и, таким образом, передаваться до скончания времен? Со своей стороны, я убежден, что на самом деле существует общее предназначение человечества, передача наследия цивилизации и, как необходимое следствие, написание всеобщей истории цивилизации. Но, не поднимая столь серьезных и трудноразрешимых вопросов, если мы ограничимся фиксированным интервалом времени и пространства — то есть, если мы ограничим наши исследования историей определенного количества веков и определенных людей, — нам станет ясно, что в этих пределах цивилизация является фактом, который можно описать, рассказать о нем как о предмете истории. Я не колеблясь добавлю, что его история самая важная из всех и что она охватывает все остальные.

Разве не очевидно, что цивилизация - это главный факт, общий и определенный факт, на котором заканчиваются и включаются все остальные! Возьмем все факты, составляющие историю нации, поскольку они обычно рассматриваются как элементы ее существования; возьмем ее институты, ее торговлю, ее промышленное развитие, ее войны, все детали ее правления; и когда мы размышляем об этих обстоятельствах в их общей тенденции и в их взаимосвязях, когда мы взвешиваем и оцениваем их, наш взгляд направлен на то, чтобы установить, какой вклад они внесли в цивилизацию этой нации, в какой пропорции они повлияли на нее, какой эффект они оказали в ее достижении. Таким образом, мы не только составляем о них полное представление, но и измеряем и устанавливаем их реальную ценность: они в какой-то степени подобны рекам, количество воды, доставляемой по которым в океан, является предметом расчета. Цивилизация - это разновидность океана, составляющего богатство нации и в недрах которого объединены все элементы и источники ее существования. Это настолько верно, что в отношении фактов, которые по своей природе отвратительны, катастрофичны, тяготеют над нациями, как, например, деспотизм и анархия, если они в какой—то степени способствовали цивилизации, если они придали ей значительный импульс, до определенного момента мы извиняем их вред и их злую природу; настолько, что где бы мы ни открывали цивилизацию и факты, которые имели тенденцию обогащать ее, мы испытываем искушение забыть цену, которой это стоило.

Действительно, существуют факты, которые, собственно говоря, нельзя назвать социальными — индивидуальные факты, которые, по-видимому, скорее интересуют человеческую душу, чем влияют на общественную жизнь: таковы религиозные верования и философские идеи, науки, литература и искусства. Это вещи, которые, по-видимому, влияют на человека, либо совершенствуют его, либо доставляют ему удовольствие, и имеют своей целью скорее его внутреннее улучшение или удовлетворение, чем его социальное положение. И все же именно эти обстоятельства часто рассматриваются и должны рассматриваться применительно к

цивилизации. Во все времена, во всех странах религия прославлялась как двигатель цивилизации; науки, литература и искусства, все интеллектуальные и моральные занятия претендовали на долю этой славы; и мы воздаем им хвалу и почести, по нашему мнению, когда признаем, что их притязания справедливы. Таким образом, факты, наиболее важные и возвышенные сами по себе, независимо от всех внешних результатов, и взятые просто в их связи с человеческой душой, приобретают все большее значение и возвышаются благодаря своей связи с цивилизацией. Ценность этого общего факта настолько велика, что он придает значение всему, чего он касается; и не только этому, но бывают даже случаи, когда вопросы, о которых мы говорим — религиозные верования, философские идеи, литература, искусство — особенно оцениваются и оцениваются с учетом их влияния на цивилизацию; и степень этого влияния становится, до определенного момента и в течение определенного времени, решающим показателем их достоинства и ценности.

Прежде чем приступить к его истории, важно выяснить, и только применительно к нему самому, в чем состоит этот серьезный, обширный и драгоценный вопрос, который, по-видимому, содержит в себе и выражает все существование наций. И здесь я не буду впадать в чистую философию; я не буду устанавливать логический принцип, а затем, как следствие, выводить из него природу цивилизации: при таком методе было бы много шансов на ошибку. Предварительно мы сталкиваемся с фактом, который требует проверки и описания.

В течение длительного периода и во многих странах использовалось слово "цивилизация"; с ним были связаны идеи, более или менее ясные, более или менее обширные, но оно широко используется и его понимают. Мы должны изучить общее, общечеловеческое, популярное значение этого слова. Почти неизменно оказывается, что в обычном употреблении наиболее популярных терминов содержится больше истины, чем в более строгих и, по-видимому, более точных определениях науки. Именно здравый смысл придает словам их общее значение, а здравый смысл - это гений человечества. Популярное значение слова складывается в результате последовательного процесса по мере фактического возникновения фактов; так что, когда возникает вопрос, который, по-видимому, укладывается в значение общепринятого термина, он постигается в нем как бы естественной тенденцией: значение термина расширяется и приобретает более широкий охват; и постепенно различные факты и идеи, которые по самой природе вещей люди должны включать в это слово, становятся такими включенными в реальность. Напротив, когда значение слова определяется наукой, такое определение, будучи зафиксированным одним или небольшим числом индивидуумов, контролируется каким-то конкретным фактом, поразившим их умы. Таким образом, научные определения в целом гораздо более ограничены и, исходя только из этого обстоятельства, в основе своей гораздо менее истинны, чем общепринятые. Изучая, как факт, значение слова *цивилизация*, исследуя все идеи, заключенные в нем, в соответствии со здравым смыслом человечества, мы добьемся большего прогресса в познании самого факта, чем если бы мы пытались сформулировать для себя научное определение, хотя на первый взгляд оно может показаться более ясным и точным.

В качестве начала этого исследования я попытаюсь выдвинуть перед вами определенные гипотезы — я опишу определенные состояния общества; и тогда возникнет вопрос, сразу ли распознается общим инстинктом состояние народа, продвигающегося по пути цивилизации, —

развивается ли таким образом значение, которое человечество естественным образом придает слову *цивилизация*?

Давайте возьмем людей, чье внешнее существование приятно и комфортно, они платят мало налогов, не подвергаются страданиям, среди которых хорошо осуществляется правосудие в частных делах; одним словом, чье материальное существование, в его полном объеме, хорошо и счастливо регулируется. Но в то же время интеллектуальное и нравственное существование этого народа старательно поддерживается в состоянии оцепенения и бездеятельности, я не скажу в состоянии угнетения, потому что это чувство ему незнакомо, но сжатия. Такой порядок вещей не лишен примера. Существовало огромное количество маленьких аристократических республик, в которых с людьми обращались как со стадом, за ними хорошо ухаживали, они были материально счастливы, но не проявляли моральной и интеллектуальной активности. Это цивилизация! Это народ в процессе самоцивилизации?

Давайте рассмотрим другую гипотезу. Вот люди, чье материальное существование менее приятно, менее комфортно, но все же терпимо. Но, в свою очередь, его моральные и интеллектуальные потребности не были оставлены без внимания; им было предоставлено определенное пастбище; среди этого народа культивируются возвышенные и чистые чувства; религиозные и моральные системы достигли определенной степени развития; но предпринимаются большие усилия, чтобы задушить принцип свободы. Здесь удовлетворяются интеллектуальные и моральные потребности, как прежде физические: каждому индивидууму отмеряется доля истины, но ему не разрешается свободно искать ее только в себе. Характеристикой нравственной жизни является неподвижность; это состояние, в которое впала большая часть азиатского населения, где теократическое господство подавляет эластичность; это состояние индусов, например. Я задаю тот же вопрос, что и раньше — продвигается ли этот народ по пути цивилизации?

Я полностью меняю природу гипотезы. Вот народ, среди которого широко развиты определенные индивидуальные свободы, но где беспорядок и неравенство чрезмерны; империя силы и случая: тот, кто не силен, угнетен, страдает и погибает. Насилие является характеристикой социального государства. Каждый человек знает, что Европа прошла через это состояние. Является ли это цивилизованным состоянием? Оно, несомненно, может содержать принципы цивилизации, которые будут последовательно развиваться; но преобладающим фактом в таком обществе, безусловно, является не то, что здравый смысл человечества называет цивилизацией.

Я принимаю четвертую и последнюю гипотезу. Свобода каждого человека очень велика, неравенство встречается редко или, по крайней мере, временно. Каждый делает почти все, что ему заблагорассудится, и мало отличается силой от своего соседа; но у них очень мало общих интересов, общественных идей или чувств, очень мало общества; одним словом, способности и карьера отдельных людей проявляются изолированно, без взаимных действий и не оставляя после себя никаких следов: сменяющие друг друга поколения покидают общество в той же точке, в которой оно к ним пришло. Таково состояние диких племен: там есть свобода и равенство, и все же это, безусловно, не цивилизация.

Я мог бы умножить эти гипотезы, но я думаю, у нас есть достаточно доказательств того, каково популярное и естественное значение слова "цивилизация".

Ясно, что ни одно из условий, которые я рассмотрел, согласно здравому смыслу человечества, не соответствует этому термину. Почему? Мне кажется, что первый факт, заключенный в слове *цивилизация* (и это выводимо из различных примеров, которые я привел), - это факт прогресса, развития; его применение идентично идее народа, находящегося в движении, не для смены местности, а для изменения условий; народа, государство которого находится в процессе расширения и улучшения. Прогресс и развитие кажутся мне фундаментальными идеями, содержащимися в слове "цивилизация".

Что это за прогресс? что это за развитие? Здесь кроется огромная трудность.

Этимология этого слова, по-видимому, дает ясное и удовлетворительное решение; она гласит, что это совершенство гражданской жизни, развитие общества, собственно так называемого, отношений людей между собой.

Такова, в действительности, первая идея, которая возникает в человеческом сознании при произнесении слова *цивилизация*; расширение социальных отношений, придание им наибольшей активности, наиболее совершенной организации являются вопросами непосредственного значения: с одной стороны, увеличение производства средств, которые обеспечивают силу и счастье обществу; с другой стороны, более справедливое распределение между индивидами произведенных сил и счастья.

И это все? Исчерпали ли мы все, что передает его естественное и преобладающее значение? Неужели факт цивилизации не содержит ничего большего?

Это почти как если бы мы спросили — является ли человеческий род простым роем или скоплением, требующим только порядка и изобилия, в котором чем больше количество труда и чем справедливее распределение плодов труда, тем эффективнее будет достигнута цель и достигнут прогресс?

Человеческий инстинкт отвергает столь узкое определение судьбы человечества. На первый взгляд, делается вывод, что слово *цивилизация* подразумевает нечто более обширное и сложное, нечто, превосходящее простое совершенство социальных отношений или социальную власть и счастье.

Факты, общественное мнение, общепринятое значение этого термина соответствуют этому инстинкту.

Возьмем Рим в славные периоды республики, после второй Пунической войны, во времена его величайших добродетелей, когда он шел к мировой империи, когда его социальное государство явно прогрессировало; затем возьмем Рим при Августе, в эпоху начала упадка, когда, во всяком случае, прогрессивное движение общества было остановлено, когда дурные принципы были на грани преобладания; и все же нет никого, кто не думал бы и не говорил, что Рим Августа был более цивилизованным, чем Рим Фабриция и Цинцинната.

Опять же, давайте возьмем Францию семнадцатого и восемнадцатого веков. С социальной точки зрения, в том, что касается размера и распределения благосостояния между отдельными людьми, Франция в те периоды, несомненно, уступала некоторым другим странам Европы — например, Голландии и Англии. Я полагаю, что социальная активность в Голландии и Англии была больше, возрастала быстрее и лучше распределяла свои результаты, чем во Франции; и все же, если мы обратимся к общему мнению, оно скажет, что Франция в семнадцатом и восемнадцатом веках была самой цивилизованной страной в Европе. Вопрос не вызывал никаких колебаний: свидетельства такого общественного убеждения в отношении Франции можно найти во всех источниках европейской литературы.

Я мог бы указать на несколько других государств, в которых процветание выше, более быстрый рост и лучшее распространение среди людей, чем где-либо еще, и в которых, тем не менее, согласно спонтанному инстинкту, общему пониманию людей, цивилизация оценивается как более низкая по сравнению с другими странами, не столь удачно расположенными в чисто социальном смысле.

Как же тогда получилось, что эти страны, названные таким образом цивилизованными, обладают своим исключительным правом? Как они в такой степени компенсируют, по мнению человечества, то, чего им так не хватает по другим причинам?

Они блестяще продемонстрировали развитие, отличное от развития социальной жизни, — развитие индивидуального и ментального существования, развитие самого человека, его способностей, чувств и идей. Если общество более несовершенно, чем в других местах, человечество предстает с большим величием и силой. Еще предстоит совершить множество социальных завоеваний, но уже осуществлены потрясающие моральные и интеллектуальные завоевания; многим людям недостает многих материальных благ и прав, но многие великие люди живы и сияют в глазах мира. Литература, науки и искусства демонстрируют все свое величие. Где бы человечество ни созерцало эти великие образы, столь славные для человеческой природы, проявляющиеся в великолепии, где бы оно ни находило сокровищницу этих возвышающих удовольствий, оно признает и провозглашает цивилизацию.

Следовательно, в этом великом факте заключены два факта; он основан на двух условиях и проявляется двумя симптомами — развитием социальной активности и индивидуальной активности; прогрессом общества и прогрессом человечества. Везде, где внешнее состояние человека прогрессирует, ускоряется и улучшается, везде, где внутренняя природа человека проявляется с блеском и величием, — по этим двум признакам человечество приветствует и провозглашает цивилизацию, часто даже несмотря на фундаментальные несовершенства социального государства.

Таков, если я не ошибаюсь, результат простого и руководствующегося лишь здравым смыслом изучения общего мнения человечества. Если мы исследуем историю в собственном смысле этого слова, если мы исследуем природу великих кризисов цивилизации, тех фактов, которые, по всеобщему признанию, придали ей огромный импульс, мы неизменно распознаем тот или иной из двух элементов, которые я только что описал. Это всегда кризисы индивидуального или социального развития или факты, которые вызвали изменение во внутреннем мире человека, в его верованиях или привычках, или в его внешнем состоянии, или в его положении по отношению к своим собратьям-смертным. Например, христианство не только при своем первом появлении, но и в течение первых веков своего существования ни в какой степени не

обращалось к социальному государству; оно громко заявляло, что не вмешивается в него; оно приказывало рабу повиноваться своему хозяину; оно не нападало ни на одно из великих зол и беззаконий общества того периода. Кто, однако, будет отрицать, что христианство с самого начала было великим кризисом цивилизации? Почему? Потому что это изменило внутреннего человека, преобладающие принципы и чувства, потому что это возродило нравственного и интеллектуального человека.

Мы стали свидетелями кризиса другой природы, который был обращен не к внутреннему человеку, а к его внешнему состоянию, которое изменило и возродило общество. Это, несомненно, также было одним из решающих кризисов цивилизации. Просматривая всю историю, вы везде обнаружите один и тот же результат: вы не обнаружите ни одного важного факта, способствующего развитию цивилизации, который не оказывал бы того или иного из двух видов влияния, о которых я упомянул.

Таково, я полагаю, естественное и популярное значение этого термина; и мы имеем факт, я бы не сказал, определенный, но описанный и иллюстрированный примерами почти полностью или, по крайней мере, в его общих чертах. Мы понимаем два элемента цивилизации. Теперь мы спрашиваем себя, достаточно ли одной из этих двух вещей, чтобы ее образовать, — была бы цивилизация, если бы развитие социального государства или развитие отдельного человека было представлено в виде разделения? Признает ли это человечество как таковое? или между этими двумя фактами существует настолько тесная и необходимая связь, что, если они не возникают одновременно, они, тем не менее, неразделимы и один рано или поздно влечет за собой другой?

Мне кажется, мы можем подойти к этому вопросу с трех сторон. Мы можем исследовать действительную природу двух элементов цивилизации и спросить, являются ли они уже только этим тесно связанными и взаимно необходимыми или нет? Мы можем начать исторический поиск, чтобы выяснить, проявлялись ли они в действительности по отдельности или же они всегда порождали друг друга. В конце концов, мы можем обратиться к общему мнению человечества, к здравому смыслу. Сначала я обращаюсь к общему мнению.

Когда в государстве происходят большие перемены, когда достигается значительное увеличение богатства и власти и революция в распределении общественного благосостояния, этот новый порядок вещей сталкивается с противниками, провоцирует столкновения: иначе и быть не может. Что говорят враги перемен? Они говорят, что этот прогресс в социальном государстве не улучшает и не возрождает моральное и внутреннее состояние человека, что это ложный и лживый прогресс, наносящий ущерб морали и истинным интересам человечества. С другой стороны, сторонники общественного развития с большой энергией отражают эту атаку и в противовес утверждают, что прогресс общества неизбежно влечет за собой прогресс нравственности и что, когда внешняя жизнь лучше регулируется, внутренняя исправляется и становится чище. Так стоит вопрос между противниками и приверженцами нового порядка вещей.

Переверните гипотезу: предположим, что моральное развитие продолжается. Что обычно обещают люди, которые работают над этим? Чего придерживались религиозные лидеры,

мудрецы и поэты при возникновении обществ, стремясь смягчить и улучшить нравы? — улучшения социальных условий, более справедливого распределения мирских благ.

Теперь я спрашиваю, что подразумевают эти споры, с одной стороны, и эти обещания - с другой! Несомненно, что по спонтанному, инстинктивному убеждению человечества, два элемента цивилизации, социальное и моральное развитие, тесно связаны, и что появление одного является верным предвестником другого. Именно к этому естественному убеждению обращаются аргументы, когда с целью содействия или противодействия тому или иному из двух событий утверждается или отрицается их объединение. Известно, что если людей удастся убедить в том, что улучшение социальных условий нанесет ущерб нравственному прогрессу индивидов, революция, произведенная в обществе, будет успешно осуждена и ослаблена. С другой стороны, когда людям обещают улучшение общества в результате индивидуального совершенствования, известно, что они склонны верить в такое обещание, и к нему эффективно апеллируют. Таким образом, становится ясно, что инстинкт человечности основан на вере в то, что два элемента цивилизации связаны друг с другом и взаимно продуктивны.

Если мы обратимся к мировой истории, то придем к тому же выводу. Мы обнаружим, что все великие достижения нравственного существа привели к выгоде общества и что все великие изменения социальных условий повысили характер человечества. Движение приобретает свой особый характер в зависимости от того, какой из двух фактов преобладает, и придает ему блеск. Иногда проходят долгие промежутки времени, возникают тысячи трансформаций и препятствий, прежде чем развивается второй факт, который как бы завершает цивилизацию, начатую первым. Но внимательное наблюдение убеждает нас в связи, которая их объединяет. Пути Провидения не ограничены узкими рамками; он сам не торопится показать сегодня последствия принципа, который он вчера изложил; он выведет это по прошествии веков, когда придет час; и даже согласно *нашим* рассуждениям, логика не становится менее надежной оттого, что она медлительна. Провидение не заботится о времени; его шествие (если мне будет позволено это сравнение) подобно шествию сказочных божеств Гомера в пространстве; он делает шаг, и проходят века. Сколько прошло времени, сколько событий, прежде чем возрождение нравственного человека христианством оказало свое великое и законное влияние на возрождение социального государства! Однако это удалось: кто может в наши дни отрицать это?

Если мы перейдем от истории к действительной природе двух фактов, составляющих цивилизацию, мы неизбежно придем к тому же результату. Это согласуется с личным опытом каждого человека. Когда в человеке происходит нравственное изменение, когда он приобретает идею, добродетель или способность, тем более, одним словом, когда его индивидуальные силы получают более полное развитие, какое внезапное желание овладевает им? Это необходимость, которую он ощущает, вынести свои чувства во внешний мир и реализовать свои концепции. Как только человек делает приобретение, как только его существо приобретает в его собственных глазах новое развитие и дополнительную ценность, к этому улучшенному развитию и ценности он сам немедленно присоединяет идею миссии: он чувствует себя вынужденным и ведомым своим инстинктом, внутренним голосом распространять и делать преобладающим за пределами то изменение, поправку, которое было произведено внутри него самого. Ни по какой другой причине мы не обязаны великим реформаторам: великих людей, которые изменили облик мира после того, как изменились сами, не побуждала и не управляла никакая другая необходимость. Вот и все об изменении,

которое происходит во внутреннем человеке: давайте возьмем другое. В состоянии общества совершается революция; оно лучше регулируется, права и собственность более справедливо распределяются между индивидами - иными словами, внешний вид мира становится более справедливым и ярким, улучшается деятельность как правительств, так и людей в их взаимоотношениях. Правдоподобно ли, что созерцание этого зрелища, что это улучшение внешних дел не окажет никакого воздействия на внутреннего человека, на человечество? Все, что утверждается в авторитете примеров, привычек и хороших образцов, ни на чем не основано, кроме как на убеждении, что внешний, выгодный, разумный и хорошо отрегулированный порядок вещей рано или поздно более или менее полно приводит к внутреннему порядку той же природы и тех же достоинств; что более устроенный и справедливый мир делает более справедливым самого человека; что внутреннее преобразуется внешним, как внешнее внутренним; что два элемента цивилизации тесно связаны друг с другом; что между ними могут возникнуть века и различные препятствия; что возможно, что они могут быть объединены. Они должны претерпеть тысячу трансформаций, чтобы воссоединиться, но рано или поздно они воссоединятся; таков закон их природы, ведущий факт истории, инстинктивная вера человеческого рода.

До сих пор, я думаю, не исчерпывая тему, я полностью, хотя и бегло, раскрыл факт цивилизации: я думаю, что описал его и обозначил его пределы, и я взвесил основные вопросы, которые он порождает. Я мог бы здесь остановиться, но я не могу не упомянуть вопрос, который встает передо мной на этой стадии исследования; один из тех вопросов, которые не являются строго историческими и которые я буду называть не гипотетическими, а предположительными; вопросы, за которые мы можем ухватиться только с одного конца, без возможности когда-либо достичь другого, и мы не можем ни обойти их, ни увидеть более чем одну из их сторон; и все же они, конечно, не менее реальны и не менее настоятельно требуют нашего глубокого размышления, поскольку они, помимо нашей воли и в любой момент, навязываются нашему наблюдению.

Из тех двух событий, о которых мы только что говорили и которые составляют факт цивилизации, развития общества, с одной стороны, и человечества, с другой, какое является целью, а какое средством? Для ускорения совершенствования своего социального положения, для улучшения своего земного существования человек развивает свои способности, чувства, идеи, все свое существо? — или, скорее, не является ли улучшение социального положения, прогресс общества, само общество театром, поводом и стимулом индивидуального развития? Одним словом, создано ли общество для того, чтобы служить индивиду, или индивид для того, чтобы служить обществу? От ответа на этот вопрос неизбежно зависит решение, является ли судьба человека чисто социальной, истощает ли общество и поглощает человека целиком, или он несет в себе нечто чуждое и превосходящее его существование на земле.

Месье Руайе-Коллар, человек, которого я с гордостью называю своим другом, который покинул такие мирные собрания, как наше, и занял первое место на более бурных и влиятельных собраниях, и чьи слова остаются выгравированными, где бы они ни прозвучали, решил этот вопрос, или, по крайней мере, он, по его собственному убеждению, решил его в своей речи о проекте закона о святотатстве. Я нахожу в этой речи эти два предложения: "Человеческие общества рождаются, живут и умирают на земле; там вершатся их судьбы. Но они не содержат в

себе всего человека. После того, как он связал себя с обществом, у него остается самая благородная часть его самого, те возвышенные силы, с помощью которых он возвышает себя к Богу, к будущей жизни, к неведомому блаженству в невидимом мире. У нас, как у индивидуальных и идентичных созданий, как у истинных существ, наделенных бессмертием, судьба иная, чем у государств".

Я ничего не добавлю и не возьмусь рассматривать сам вопрос; я довольствуюсь тем, что выдвигаю его вперед. Он будет решен в конце истории цивилизации. Когда история цивилизации пройдена, когда больше нечего сказать о реальной жизни, нас неудержимо тянет спросить себя, все ли исчерпано, достигли ли мы конца? Таким образом, это последняя и важнейшая проблема, к которой может подвести нас история цивилизации. Для меня достаточно указать на ее положение и важность.

Из всего, что я сказал, ясно, что историю цивилизации можно рассматривать двумя способами, черпать из двух источников, рассматривать в двух разных аспектах. Историк может поместить себя в глубины человеческого разума на определенный период, серию эпох и среди определенного народа; он может изучать, описывать, связывать все события, трансформации и революции, которые совершаются внутри человека; и когда он достигнет конца, у него будет история цивилизации среди людей и за выбранный им период. Он может действовать по-другому. Вместо того чтобы проникать внутрь человека, он может поместить себя в центр мирского спектакля; вместо того чтобы описывать перипетии в идеях и чувствах отдельного существа, он может описывать внешние факты, события и колебания общественного состояния. Эти две части, эти две истории цивилизации тесно связаны друг с другом; каждая является отражением и образом другой. Тем не менее, они могут быть разделены, и, возможно, так и должно быть, по крайней мере вначале, чтобы и то, и другое можно было рассматривать подробно и с ясностью. Со своей стороны, я не собираюсь исследовать историю цивилизации во внутренней работе человеческого разума; я буду заниматься только историей внешних событий видимого и социального мира. У меня было желание раскрыть факт цивилизации, такой, какой я ее представляю, во всей его сложности и размахе, и сформулировать все те великие вопросы, которые могут возникнуть из этого. Но в настоящее время я ограничиваю себя и сужаю поле своего исследования; я намереваюсь заняться только историей социального государства.

Мы начнем с изучения всех элементов европейской цивилизации в ее колыбели, при падении Римской империи; мы внимательно изучим общество, каким оно было среди этих знаменитых руин. Мы постараемся, на самом деле, не реанимировать, а вырастить его элементы бок о бок; и когда мы разместим их, мы будем стремиться заставить их двигаться и следовать за ними в их развитии на протяжении пятнадцати веков, прошедших с той эпохи.

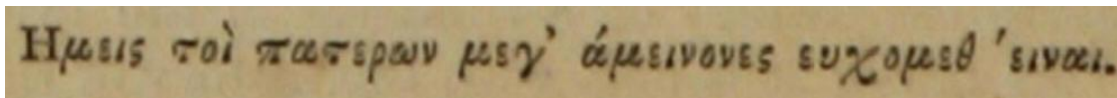
Когда мы немного продвинемся в этом исследовании, я полагаю, мы очень скоро убедимся, что цивилизация очень молода и что многого еще не хватает, прежде чем мир сможет оценить ее прогресс. Несомненно, что в наши дни человеческая мысль очень далека от того, чтобы быть всем, чем она может стать, и мы очень далеки от того, чтобы охватить все будущее человечества. Пусть каждый человек поищет в своем уме, пусть он спросит себя о величайшем возможном благе, о котором он может составить представление или надеяться, а затем сравнит свои идеи с тем, что действительно существует в данный момент в мире; он убедится, что

общество и цивилизация очень молоды и что, несмотря на весь достигнутый ими прогресс, им предстоит сделать несравненно больше. Но этот вывод не уменьшит удовольствия, которое мы испытаем при созерцании нашего действительного состояния. Когда наше внимание будет привлечено к великим переломным моментам в истории цивилизации Европы на протяжении пятнадцати столетий, мы увидим, каким трудолюбивым, бурным и суровым было состояние человечества даже до нашего времени, не только внешне и в социальном состоянии, но и внутренне, в ментальном существовании. На протяжении всех этих веков человеческому разуму приходилось страдать так же сильно, как и всему человеческому виду. Мы увидим, что, возможно, впервые в наше время, человеческий разум достиг состояния, безусловно, очень несовершенного, но в котором царят некоторый мир и гармония. То же самое и с обществом; оно, очевидно, добилось огромных успехов: положение людей стало легким и справедливым по сравнению с тем, каким оно было раньше. Думая о наших предках, мы можем почти применить к самим себе стихи Лукреция:

Suave mari magno, turbantibus æquora ventis, E terrâ magnum alterius spectare laborem. [Сноска 2]

[Примечание 2: Мы можем спокойно смотреть с суши на чужие опасности, выброшенные в океан бурными ветрами.]

Мы можем даже сказать о себе без особой гордости, как Стенелай у Гомера:



[Сноска 3]

[Примечание 3: Мы благодарны Небесам за то, что стоим бесконечно больше, чем те, кто был до нас.]

Давайте, однако, будем осторожны, чтобы не слишком отдаваться идее нашего счастья и улучшения, иначе мы можем подвергнуться двум большим опасностям: гордыне и расслабленности; и, слишком доверяя силе и успеху человеческого разума и нашему действительному прогрессу, мы можем ослабеть из-за приятности нашего положения. Я не знаю, приходят ли другим в голову те же мысли, что и мне, но, по моему мнению, мы постоянно колеблемся между искушением пожаловаться на то, что у нас слишком мало, и искушением взвалить на себя слишком много. У нас есть ментальная восприимчивость, безграничная нужда и честолюбие в мыслях, в желаниях, в работе воображения; и когда мы применяем их к практическим испытаниям жизни — а нам надлежит претерпевать боль, приносить жертвы и прилагать усилия, чтобы достичь цели, — наши руки опускаются вяло. Мы впадаем в уныние с легкостью, почти равной нетерпению, с которым мы желаем. Мы должны быть осторожны, чтобы не поддаться ни одному из этих двух недостатков. Давайте приучим себя к справедливому измерению того, чего мы можем законно достичь с помощью наших способностей, науки и мощи; и давайте не будем претендовать ни на что большее, чем на то, что может быть законно, справедливо и регулярно приобретено, с должным учетом принципов, на которых зиждется сама наша цивилизация. Иногда кажется, что мы склонны ссылаться на принципы, которые мы осуждаем и презираем, на принципы и средства варварской Европы — силу, насиливание, ложь, привычные обычаи четырех- или пятисотлетней давности. И когда мы уступаем этому желанию, мы не находим в себе ни упорства, ни дикой энергии людей того времени, которые

перенесли много страданий и которые, недовольные своим положением, неустанно трудились, чтобы освободиться от него. Мы довольны своими; давайте воздержимся от рисков, связанных со смутными желаниями, время для которых еще не пришло. Много было дано нам, и многое от нас потребуется: мы должны дать потомкам суровый отчет о нашем поведении: в наши дни все люди и правительства должны подвергнуться обсуждению, проверке и ответственности. Давайте твердо и преданно придерживаться принципов нашей цивилизации, справедливости, законности, гласности, свободы; и давайте никогда не забывать, что если мы самым разумным образом попросим, чтобы все было открыто для нас, мы сами окажемся под пристальным вниманием мира и, в свою очередь, будем проверены и осуждены.

(В начале этой лекции есть несколько замечаний, настолько личных для Гизо и его слушателей, что переводчик вынужден их опустить.)

Лекция II.

Особенности цивилизации в Европе.

Влияние Церкви.

В предыдущей лекции я попытался объяснить факт цивилизации в целом, не говоря ни о какой цивилизации в частности, не ссылаясь на обстоятельства времени и места, но рассматривая факт сам по себе и в чисто философском свете. Сегодня я касаюсь истории европейской цивилизации; но прежде чем приступить к подробному изложению, я хотел бы дать общее представление об особом облике этой цивилизации. Я хочу охарактеризовать ее так отчетливо, чтобы она казалась совершенно обособленной от всех других цивилизаций, которые были развиты в мире. Я собираюсь предпринять эту попытку, но я могу сделать немногим больше, чем заявить об этом, поскольку едва ли смею льстить себе надеждой, что мне удастся изобразить европейское общество с такой точностью, чтобы вы сразу же признали его правдивой картиной.

Когда мы наблюдаем цивилизации, предшествовавшие современной Европе, будь то в Азии или где-либо еще, включая греческую и римскую цивилизации, невозможно не поразиться царящему в них единству. Кажется, что они проистекают из одного факта, из одной идеи: может показаться, что общество цепляется за один великий принцип, который управляет им и определяет его институты, манеры, мнения; одним словом, все его развитие.

В Египте, например, это был теократический принцип, на котором зиждилось все социальное государство; он отразился в его нравах, в его памятниках и во всем, что осталось нам от египетской цивилизации. В Индии замечен тот же факт — почти исключительное господство теократического принципа. В других кругах мы различаем другую организацию — господство племени-завоевателя: только принцип силы владеет обществом и навязывает ему законы и характер. Опять же, в других местах общество является выражением демократического принципа; так оно появилось в торговых республиках, которые покрывали побережья Малой Азии и Сирии, Ионии и Финикии. Таким образом, когда мы рассматриваем древние цивилизации, мы обнаруживаем, что все они поражены особым характером единства институтов, идей и нравов; единая или, по крайней мере, очень преобладающая сила управляет всем и принимает решения.

Я не говорю, что это единство принципов и организации всегда преобладало в цивилизации этих государств. Если мы вернемся к их более древней истории, то обнаружим, что различные силы, которые могли сформироваться в лоне одного общества, часто спорили за империю. Среди египтян, этрусков, даже греков и т. Д. каста воинов, например, боролась против касты жрецов; в других местах дух клана противостоял духу свободных ассоциаций, аристократическая система - народной системе и т. Д. Но, вообще говоря, эти соперничества происходили в доисторические периоды; о них сохранились лишь смутные воспоминания.

Борьба иногда повторялась в ходе их карьеры; но она почти всегда быстро прекращалась: одна из сил, оспаривавших власть, быстро завершала ее и единолично завладевала обществом. Война всегда заканчивалась доминионом, если не исключительным, то, по крайней мере, значительно преобладающим, какого-то особого принципа. Сосуществование и борьба различных принципов были всего лишь мимолетным кризисом, случайным обстоятельством в истории этих людей.

Отсюда проистекала замечательная простота в большей части древних цивилизаций, но сопровождавшаяся иными последствиями. Иногда, как в Греции, простота социального принципа приводила к необычайно быстрому развитию; никогда еще народ не раскрывался за такой короткий период и с таким блеском. Но после этого чудесного всплеска Греция внезапно показалась истощенной; ее упадок, если и не был столь стремительным, как ее прогресс, тем не менее был необычайно стремительным. Казалось бы, созидательная сила принципа греческой цивилизации иссякла, и никто другой не пришел, чтобы оживить ее. В других странах — например, в Египте и Индии — единообразие цивилизующего принципа имело иной эффект; общество впало в стационарное состояние. Простота породила монотонность; страна не была разрушена, общество продолжало существовать, но как бы неподвижно и заморожено.

Именно по этой же причине прослеживается тот характер тирании, который преобладал в самых разных формах и как воплощение принципов во всех древних цивилизациях. Общество принадлежало одной исключительной силе, которая не потерпела бы никакой другой. Каждая другая тенденция была запрещена и искоренена. Доминирующий принцип никогда не допустил бы одновременного проявления и действия отдельного принципа.

Этот характер единства цивилизации в равной степени запечатлен как в литературе, так и в творчестве разума. Кто не знаком с записями индийской литературы, которые не так давно распространились по Европе? Нельзя не отметить, что все они проникнуты одним и тем же духом; все они кажутся результатом одного и того же факта, выражением одной и той же идеи. Религиозные или нравственные произведения, исторические традиции, драматическая и эпическая поэзия - на всех накладывается одна и та же печать; труды ума несут на себе тот же отпечаток простоты и монотонности, который наблюдается в их действиях и институтах. Даже в Греции, среди всего богатства человеческого разума, в литературе и искусстве царит поразительное единообразие.

Совершенно иначе обстоят дела с цивилизацией современной Европы. Не вдаваясь в подробности, оглянитесь вокруг и соберитесь с мыслями; вам сразу же представится разнообразная, запутанная и бурная сцена; здесь сосуществуют все формы и принципы социальной организации; духовные и светские власти, теократические, монархические, аристократические и демократические элементы, все классы и все социальные устройства перемешаны и давят друг на друга: существуют крайние степени свободы, богатства и влияния. И эти различные силы находятся в состоянии постоянной борьбы между собой, и ни одной из них не удастся подавить других и единолично завладеть обществом. В старину все общества, в каждую великую эпоху, казалось, были отлиты по одной и той же форме: иногда преобладает чистая монархия, иногда теократия или демократия, но каждое, в свою очередь, полностью господствует. Современная Европа представляет собой примеры всех систем и теорий социальной организации; чистые или смешанные монархии, теократии, республики, более или менее аристократические, существуют там одновременно бок о бок; и, несмотря на их разнообразие, все они имеют определенное сходство, определенный семейный аспект, который невозможно не заметить.

В идеях и настроениях Европы наблюдается то же разнообразие, та же борьба. Теократические, монархические, аристократические и народные верования сталкиваются, борются, ограничивают и модифицируют друг друга. Откройте самые смелые произведения средневековья; ни одна идея никогда не доводилась до конечных последствий. Сторонники абсолютной власти сразу же, сами того не подозревая, отступают перед результатами своей доктрины: они чувствуют, что вокруг них существуют идеи и влияния, которые останавливают их и предотвращают доведение до крайности. Демократы подчиняются тому же закону. Ни на одной из сторон нет той невозмутимой дерзости, того логического упрямства, которые проявлялись в древних цивилизациях. Чувства представляют те же контрасты, то же разнообразие; энергичное стремление к независимости, сопровождающее большую легкость в подчинении; исключительная преданность человека человеку и в то же время неконтролируемое желание проявлять свободную волю, отбросить все ограничения, жить эгоистично, не заботясь о других. Умы столь же разнообразны и взбудоражены, как и социальное государство.

Этот же персонаж встречается и в литературе. Мы не можем не признать, что по художественной форме и красоте они намного уступают античной литературе; но по глубине чувств и идей они более энергичны и богаты. Очевидно, что более поздний человеческий разум продвинулся в гораздо большем количестве аспектов и на гораздо большую глубину. Несовершенство формы проистекает именно из этой причины. Чем богаче и многочисленнее материалы, тем труднее привести их к простой и чистой форме. То, что составляет красоту композиции — то, что мы называем формой в произведениях искусства, — это ясность, простота, символическое единство мастерства. Из-за огромного разнообразия идей и настроений в европейской цивилизации достичь такой простоты и прозорливости было гораздо труднее.

Таким образом, этот преобладающий характер современной цивилизации замечен повсюду. Несомненно, это привело к тому, что, рассматривая само по себе то или иное частное развитие человеческого разума в литературе, в искусстве, действительно, во всех направлениях, в которых оно может развиваться, мы обнаруживаем, что оно в целом уступает соответствующему развитию древних цивилизаций; но, в свою очередь, когда мы смотрим на все в целом,

европейская цивилизация оказывается несравненно богаче любой другой, и она одновременно продемонстрировала гораздо большее количество различных достижений. Она существует уже пятнадцать столетий и все еще находится в состоянии непрерывного развития; она продвинулась не на многие ступени так быстро, как греческая цивилизация, но никогда не переставала набирать силу. Перед ним открыт безграничный путь, и день ото дня он продвигается вперед все быстрее, поскольку все большая свобода сопровождает все его движения. В то время как в более ранних цивилизациях исключительное господство или, по крайней мере, чрезмерное преобладание одного принципа, одной организации было причиной тирании, разнообразие элементов общественного порядка в современной Европе и невозможность того, чтобы кто-либо исключал другой, породили свободу, которая царит в настоящее время. Не имея силы для уничтожения, различные принципы были вынуждены жить вместе и заключить между собой своего рода вынужденный договор. Каждый согласился развивать лишь столько, сколько он мог бы справедливо получить; и в то время как в других местах преобладание одного принципа породило тиранию, в Европе свобода стала результатом разнообразия элементов цивилизации и состояния борьбы, в которую они постоянно были вовлечены.

В этом есть реальное и огромное превосходство; и если мы пойдем дальше и проникнем за пределы внешних фактов, в саму природу вещей, мы обнаружим, что это превосходство одобряется и поддерживается разумом, а также демонстрируется фактами. Минуту на мгновение европейскую цивилизацию, давайте бросим взгляд на мир в целом, на общий ход земных дел. Каков его характер? Как движется мир? Она движется именно благодаря этому разнообразию элементов, являясь жертвой этой непрекращающейся борьбы, которую мы наблюдаем в европейской цивилизации. Очевидно, что никакому определенному принципу или организации, никакой особой идее или силе не было дано завладеть миром, сформировать его раз и навсегда, изгнать из него все другие тенденции и установить исключительное господство. Различные силы, принципы и системы вовлечены в непрерывную борьбу, смешиваясь и ограничивая друг друга, попеременно господствуя и угнетаясь, но никогда не будучи полностью побежденными или завоевателями. Таково общее состояние мира в отношении разнообразия форм, идей и принципов, их взаимной борьбы и их стремления к определенному единству, определенному идеальному совершенству, которое, возможно, никогда не будет достигнуто, но к которому человеческий род стремится благодаря свободе и напряженному труду. Таким образом, европейская цивилизация - это образ мира: подобно ходу вещей в этом мире, она не является ни узкой, ни исключительной, ни стационарной. Впервые, насколько я понимаю, характер специализации исчез из цивилизации; впервые он был развит благодаря разнообразию, богатству и активности великого театра Вселенной.

Европейская цивилизация вошла, если мне будет позволено так выразиться, в вечную истину, в план Провидения; она развивается в соответствии с намерениями Бога. Это рациональное объяснение его превосходства.

Я очень хочу, чтобы этот фундаментальный и отличительный характер европейской цивилизации учитывался. Верно, что в настоящий момент я только утверждаю это, ибо доказательство должно быть предоставлено развитием фактов. Тем не менее, будет сочтено важным подтверждением моих взглядов, если причины и элементы характера, которые я приписываю нашей цивилизации, будут обнаружены в самой ее колыбели; если в момент ее зарождения, в период падения Римской империи, мы обнаружим в состоянии мира и в фактах,

которые с самых ранних дней способствовали формированию европейской цивилизации, активный принцип того бурного, но плодотворного разнообразия, которое так отличает ее. К этому исследованию я и собираюсь приступить. Я продолжу рассматривать состояние Европы на момент падения Римской империи и попытаюсь выяснить, исследуя институты, верования, идеи и настроения, какие элементы древний мир завещал современному. Если мы различим в этих элементах тот ярко выраженный характер, который я только что описал, это заложит основу для веры в его справедливость.

Прежде всего, необходимо будет иметь правильное представление о том, чем была Римская империя и как она была устроена.

Рим при своем возникновении был всего лишь муниципалитетом, корпорацией. Римское правительство было простым сосредоточением институтов, которые подходят для людей, запертых в городских стенах, то есть муниципальных учреждений. Таков был его отличительный характер.

Это не было характерно для Рима. Когда мы смотрим на Италию той эпохи, вокруг Рима мы не находим ничего, кроме городов. То, что тогда называлось народом, было просто конфедерацией городов. Латинский народ был конфедерацией латинских городов. Этруски, самниты, сабиняне, жители Великой Греции - все они находились в одном и том же состоянии.

В ту эпоху не существовало страны, то есть страна не имела никакого сходства с тем, что есть сейчас; ее возделывали — это было необходимо; но она не была населена. Сельские собственники были жителями городов; они отправлялись присматривать за своими фермами и часто держали на них определенное количество рабов; но то, что мы в настоящее время называем страной, состоящей из рассеянного населения в изолированных жилищах или в деревнях, разбросанных по всей земле, было совершенно неизвестно древней Италии.

Когда Рим расширился, каковы были его действия? Внимательно прочтите ее историю, и вы увидите, что она завоевывала или основывала города; именно против городов она воевала, или с городами она заключала договоры, а также в городах она насаждала колонии. История завоевания мира Римом - это история завоевания и основания огромного количества городов. На Востоке распространение римского владычества не совсем носит такой характер; население там было распределено иначе, чем на западе: находясь при другой социальной системе, оно было гораздо менее сконцентрировано в городах. Но поскольку нас интересует только европейское население, то то, что происходило на Востоке, не имеет большого значения.

Ограничиваясь Западом, мы повсюду замечаем тот факт, на который я указал. В Галлии, в Испании мы не встречаем ничего, кроме городов; на некотором расстоянии от них территория покрыта болотами и лесами. Изучите характер римских памятников, римских дорог. Мы находим большие дороги, ведущие из одного города в другой; того множества маленьких дорог, которые сейчас пересекают страну во всех направлениях, никогда не существовало. Здесь не было ничего похожего на ту бесчисленную толпу небольших памятников, деревень, загородных домов, церквей, разбросанных по земле со времен средневековья. Рим передал нам только колоссальные памятники, впечатленные муниципальным характером, подходящие для многочисленного населения, собранного в одной точке. Под каким бы углом зрения ни рассматривался римский мир, это почти исключительное преобладание городов и, как

следствие, несуществование страны, с социальной точки зрения, будет обнаружено. Этот муниципальный характер в римском мире, очевидно, делал чрезвычайно трудным установление и поддержание единства и социальных связей великого государства. Такой муниципалитет, как Рим, смог завоевать весь мир, но управлять им и организовывать его было не так-то просто. Таким образом, когда работа казалась завершенной, когда весь Запад и большая часть Востока подпали под власть Рима, мы находим это огромное скопление городов, маленьких государств, созданных для изоляции и независимости, разобщенных, оторванных друг от друга и как бы затягивающих петлю во всех направлениях. Это было одной из причин, приведших к необходимости создания империи с более концентрированной формой правления, более способной удерживать элементы, столь слабо согласованные в состоянии союза. Империя пыталась привести единство и связанность в это разрозненное общество. В определенной степени ей это удалось. В период правления Августа и Диоклетиана было разработано гражданское законодательство, совпадающее с той обширной системой административного деспотизма, которая распространила по римскому миру сеть чиновников иерархической формы распределения, тесно связанных между собой и с императорским двором и исключительно занятых приведением в исполнение указов власти в обществе и предоставлением в распоряжение власти дани и возможностей общества.

Этой системе не только удалось объединить элементы римского мира, но и идея деспотизма, центральной власти проникла в умы людей с необычайной легкостью. Мы поражены, наблюдая, как в этом плохо сплоченном собрании маленьких республик, в этом объединении муниципалитетов с такой быстротой преобладает почтение к императорскому величеству, единственному, августейшему и священному. Необходимость установления какой-либо общей связи между всеми этими частями римского мира, должно быть, была чрезвычайно настоятельной, когда способы и почти чувства деспотизма нашли столь быстрое признание в умах людей.

Римская империя была защищена от распада, которому угрожали изнутри, и от варварских вторжений извне, благодаря этим принципам, своей административной организации и связанной с ней системе военной организации. Долгое время он находился в состоянии постоянного упадка, но всегда защищался. Наконец настал момент, когда борьба прекратилась; ни мастерства и прозорливости деспотизма, ни флегматичной невозмутимости подчинения больше не было достаточно, чтобы поддерживать это огромное тело. В четвертом веке он был взят в аренду и расчленен со всех сторон; варвары хлынули со всех сторон; провинции больше не оказывали никакого сопротивления и не беспокоились об общей судьбе. Именно тогда в головы некоторых императоров пришла странная идея; они хотели провести эксперимент, не помогут ли надежды на всеобщую свободу, конфедерацию или систему, аналогичную тому, что мы в наши дни называем представительной формой правления, лучше защитить единство Римской империи, чем деспотическая администрация. Вот рескрипт Гонория и Феодосия младших, адресованный в 418 году префекту Галлии, единственной целью которого было попытаться установить своего рода представительное правительство на юге Галлии и с его помощью все еще поддерживать целостность Империи:

Рескрипт императоров Гонория и Феодосия младших, адресованный в 418 году префекту галлии, заседавшему в городе Арле.

Гонорий и Феодосий Августы - Агриколе, префекту галлии.

"Вследствие весьма удовлетворительного объяснения, которое ваше Величество дало нам, среди другой информации, весьма полезной для республики, мы постановляем, с целью придания им бессрочной силы закона, следующие распоряжения, которым жители наших семи провинций [Сноска 4] будут должным образом подчиняться, поскольку они сами могли бы пожелать и потребовать.

[Примечание 4: Ветуазия, первая Аквитания, вторая Аквитания, Новемпопулянтия, первый Нарбоннез, второй Нарбоннез и провинция Приморские Альпы.]

Поскольку человек в офисе, или специальные депутатов, часто прибегают к своим великолепием, по делам либо государственной или частной полезностью, а не только от каждой из провинций, но и из любого города, либо оказать счета, или относиться к вопросам, имеющим ссылки на интересах собственников, мы рассмотрели, что это может быть освоены и большоепреимущество, если, по определенной эпохи в каждый год, начиная с настоящего, там должно быть собрание жителей семи провинций, проведенных в главный город—это, так сказать, в город Арль. Создавая такой институт, мы в равной степени имеем в виду обеспечение как индивидуальных, так и общих интересов. Во-первых, при встрече наиболее знатных жителей в присутствии префекта, если общественный порядок не вызовет его отсутствия, будет получена наилучшая возможная информация по каждому обсуждаемому вопросу. Ничто из того, что обсуждается и решается после зрелого обсуждения, не останется неизвестным ни одной из провинций, и те лица, которые не принимали участия в собрании, будут в равной степени обязаны следовать тем же правилам справедливости. Более того, предписывая ежегодно проводить ассамблею в городе Константин, [Сноска 5] мы считаем, что будем способствовать не только общественному благу, но и социальным отношениям. Город расположен так выгодно, приезжие посещают его в таком количестве, и торговля здесь настолько развита, что сюда привозят все, что растет или производится в других местах.

[Примечание 5: Константин Великий питал особую привязанность к городу Арлю. Именно он основал в нем резиденцию галльской префектуры. Он также хотел, чтобы на нем было его имя, но обычай оказался сильнее его склонности.]

Все знаменитые продукты богатого Востока, пряной Аравии, кроткой Ассирии, плодородной Африки, прекрасной Испании и доблестной Галлии произрастают в этом месте в таком изобилии, что все, чем восхищаются за их великолепие в различных частях света, кажется продуктом его почвы. Кроме того, слияние Роны с Тосканским морем сближает и делает почти соседями страны, которые пересекает первое и которые второе омывает своими извилинами. Таким образом, поскольку вся земля предоставляет в распоряжение этого города все его наиболее ценные владения, поскольку отдельные продукты всех стран перевозятся туда по суше, морю, по течению рек, с помощью парусов, весел и повозок, разве наша Галлия не почувствует пользу от приказа созвать общественное собрание в этом городе, где все радости жизни и все возможности для торговли сосредоточены благодаря, так сказать, особому дару Божьему?

"Прославленный префект Петроний [Сноска 6] с похвальной и наиболее разумной целью ранее

издал приказ о соблюдении этого обычая; но поскольку его выполнение было прервано смутой времен и правлением узурпаторов, мы решили восстановить его силу с помощью нашего авторитетного благоразумия. Поэтому, ваше Великолепие Агрикола, наш дорогой и горячо любимый кузен, подчиняясь нашему нынешнему постановлению и обычаю, установленному вашими предшественниками, добьетесь соблюдения в провинциях следующих порядков:

[Примечание 6: Петроний был префектом галлии между 402 и 408 годами.]

"Да будет доведено до сведения всех лиц, удостоенных государственных должностей, или владельцев доменов, и всех судей провинций, что они должны ежегодно собираться на совет в городе Арле в промежутке между августовскими и сентябрьскими идами, при этом фактические дни собраний и заседаний назначаются по своему усмотрению.

"Новопопулянья и вторая Аквитания, как самые отдаленные провинции, могут, если их судьи будут заняты необходимыми обязанностями, прислать заместителей вместо себя, согласно обычаю.

"Те, кто должен неявка в установленное место и время влечет уплату штрафа, оцениваемого судьям в пять фунтов золота, а членам *куруи* [Сноска 7] и другим высокопоставленным лицам - в три фунта золота.

[Примечание 7: Муниципальные органы римских городов назывались *curiae*, а члены этих органов, которые были очень многочисленны, *куруалами*.]

"Мы планируем с помощью этой меры предоставить большие преимущества и важное благо жителям наших провинций. Мы также уверены, что приукрасим город Арль, верности которого мы многим обязаны, по словам нашего брата и патриция. [Сноска 8]

[Примечание 8: Константин, второй муж Платидеи, которого Гонорий принял за коллегу в 421 году.]

"Дано 15 мая по календарям и получено в Арле 10 июня по календарям".

Провинции и города отказались от этого блага; депутаты не были назначены, никто не захотел ехать в Арль. Централизация и единство противоречили примитивной природе этого общества; дух локальности, муниципальности проявлялся в полную силу, и была ясно продемонстрирована невозможность воссоздания общества или страны в целом. Города заперлись в своих стенах и не смотрели дальше своих собственных дел; и Империя пала, потому что никто не хотел принадлежать Империи, потому что граждане больше не хотели заботиться ни о чем, кроме своего собственного города. Таким образом, при падении Римской империи мы снова обнаруживаем тот же факт, который наблюдался в ее начале, — преобладание муниципальной формы и духа. Римский мир вернулся к своему первоначальному состоянию: его сформировали города; он распался, но города остались.

Это муниципальная система, которую древнеримская цивилизация завещала современной Европе; в очень нерегулярной и ослабленной форме и, несомненно, очень низкой по сравнению с тем, какой она была в ранние времена, но все же это единственная реально сложившаяся система, которая единственная пережила все элементы римского мира.

Когда я говорю "один", я ошибаюсь. Другой факт, другая идея, в равной степени сохранившаяся, а именно идея Империи, имени императора, максимы императорского величия и абсолютной, священной власти, связанной с этим именем. Это элементы, которые римская цивилизация передала европейской цивилизации; с одной стороны, муниципальная система, ее обычаи, правила и прецеденты, содержащие зародыш свободы; с другой стороны, единообразное и универсальное гражданское законодательство в сочетании с идеей абсолютной власти и священного величия императорского имени, содержащее принцип порядка и подчинения.

Влияние Церкви.

Но в то же время в недрах римского общества возникло совершенно иное общество, основанное на совершенно иных принципах, движимое другими чувствами, которому суждено было привнести в современную европейскую цивилизацию элементы совершенно иной природы, а именно — *христианская церковь*. Я говорю исключительно о христианской церкви, а не о христианстве. В конце четвертого и начале пятого века христианство перестало быть просто индивидуальным вероучением; оно стало институтом и приняло официальную форму; у него было свое собственное правительство, корпус духовенства, иерархия, распределенная по различным клерикальным функциям, доходам, средствам для независимых действий и объединяющим пунктам, подходящим для большого общества, провинциальных, национальных и вселенских соборов и обычая совместно обсуждать дела общества. Одним словом, христианство в ту эпоху было не просто религией, это была церковь.

Если бы это не было церковью, невозможно сказать, что могло бы случиться с ней после падения Римской империи. Я ограничиваюсь чисто человеческими соображениями; я отбрасываю все элементы, чуждые естественным следствиям, выводимым из естественных фактов; и я верю, что если бы христианство было, как в ранние времена, всего лишь индивидуальной верой, чувством или убеждением, оно утонуло бы под развалинами Империи и нашествиями варваров. Позже она пала в Азии и на севере Африки под натиском того же характера, нашествия мусульманских варваров, даже когда она находилась в институциональном состоянии, когда это была устоявшаяся церковь. Гораздо более вероятно, что тот же результат произошел бы при падении Римской империи. В то время не существовало ни одного из существующих средств, с помощью которых в наши дни устанавливается моральное влияние или оказывается сопротивление независимо от институтов, ни одного из средств, с помощью которых простая истина или идея приобретает власть над умами людей, управляет поступками и определяет события. В четвертом веке не существовало ничего, что могло бы придать личным идеям и чувствам такое влияние. Ясно, что для борьбы с таким разрушительным кризисом и для выхода победителем из столь страшного конфликта было необходимо мощно организованное и энергично управляемое общество. Поэтому не будет преувеличением утверждать, что в конце четвертого и начале пятого века именно христианская церковь спасла христианство; именно церковь с ее институтами, ее магистратами, ее светской властью победоносно боролась против внутреннего распада, потрясшего Империю, и против варварства, подчинившего самих варваров и ставшего связующим звеном, посредником, принципом цивилизации как бы между римским и варварским мирами. Следовательно, именно состояние церкви, а не христианства, собственно так называемого, в пятом веке должно быть исследовано, чтобы выяснить, в чем христианство с того периода помогло современной цивилизации и какие элементы оно привнесло. Неизбежно возникает вопрос, чем была христианская церковь в ту эпоху?

Когда мы рассматриваем, с чисто человеческой точки зрения, различные революции, которые были совершены в развитии христианства от его зарождения до пятого века, рассматривая его только как общество, а не как религиозное вероучение, мы обнаруживаем, что оно прошло через три существенно отличающиеся друг от друга стадии.

В самый ранний период христианское общество представляло собой простое объединение, возникшее из общего вероучения, из общих чувств; первые христиане собирались вместе, чтобы наслаждаться обменом религиозными эмоциями и убеждениями, общими для всех их сердец. Не существовало устоявшейся системы доктрин, правил или дисциплины, равно как и группы лиц, облеченных властью.

Нет никаких сомнений в том, что в каждом существующем обществе, каким бы новорожденным или слабо организованным оно ни было, заметна моральная сила, оживляющая и направляющая его. Таким образом, в различных христианских общинах были люди, которые проповедовали, учили и морально управляли остальными, но не были ни начальства, ни дисциплины, которые регулярно устанавливались; примитивное состояние христианского общества было просто ассоциацией людей, объединенных идентичностью вероисповедания и чувств.

По мере того, как это развивалось (и очень быстро, поскольку признаки прослеживаются в самых ранних записях), формировалась система доктрин, правил, дисциплины и должностных лиц, или магистратов. Из магистратов некоторые назывались *presbuteroi*, или *древние*, которые стали священниками; другие *episkopoi*, или инспекторы, или наблюдатели, которые стали епископами; и третьи *diakonoι*, или дьяконы, которым было поручено заботиться о бедных и раздавать милостыню.

Почти невозможно определить точные функции этих различных магистратов; демаркационная линия, вероятно, была очень расплывчатой и непостоянной, но, во всяком случае, у институтов было начало. Эта вторая эпоха, однако, имела преобладающую черту, которая заключалась в контроле, преобладании, принадлежащем телу верующих. Именно они принимали решения как о выборе сановников или магистратов, так и о принятии систем дисциплины и доктрины. Христианский народ тогда еще не был отделен от правительства церкви. Они не существовали отдельно или независимо друг от друга, и христиане продолжали оказывать основное влияние в обществе.

В третью эпоху все изменилось. Было сформировано духовенство, отличное от народа, группа священников, обладающих богатством, юрисдикцией, собственной конституцией, одним словом, полноценным правительством, являющимся само по себе нормальным обществом, обеспеченным всеми средствами существования независимо от общества, в интересах которого оно предназначалось и на которое оно распространяло свое влияние. Таково было состояние, в котором оказалась христианская церковь в начале пятого века и на третьем этапе своего становления. Правительство не было полностью вырвано из рук народа или отделено от него; преобладала система, не имеющая аналогов, особенно в религиозных делах; но в отношениях между духовенством и паствой верующих духовенство управляло почти бесконтрольно.

Христианское духовенство имело, кроме того, другие средства влияния иного характера. Епископы и клерки стали главными городскими магистратами. Мы видели, что муниципальная система была, собственно говоря, всем, что осталось от Римской империи. Из-за тягот деспотизма и разорения городов *куриалы*, или члены муниципальных органов, впали в отчаяние и апатию. Епископы и группа священников, напротив, будучи полны жизни и рвения, естественно, предложили себя для охраны и руководства делами. Было бы неправильно упрекать их в официозности или обвинять в узурпации; они просто повиновались естественному ходу событий. Только духовенство было морально сильным и одушевленным, и оно стало могущественным; в результате появился закон вселенной.

Все законодательство императоров той эпохи носит следы этой революции. В кодексах Феодосия и Юстиниана мы находим множество постановлений, которые передают муниципальные дела духовенству и епископам. Я процитирую некоторые из них.

Треска. Просто. 1. i. tit. iv. *de episcopali audientia*, § 26.—В отношении ежегодных дел городов (относятся ли они к обычным городским доходам, получаемым либо из средств, поступающих от городской собственности, либо от индивидуальных подарков или наследства, либо из любого другого источника, требуется ли обсуждение общественных работ, или запасов провизии, или акведуков, или содержания бань или гаваней, или строительства стен или башен, или ремонта мостов и дорог, или судебных процессов, в которых может участвовать город, по соображениям общественных или частных интересов), мы предписываем следующее: —Очень благочестивый епископ и три человека с хорошей репутацией среди главных людей города должны собираться вместе; они должны каждый год проверять выполненные работы, и они должны заботиться о том, чтобы те, кто их проводит, или проводили их, точно измеряли их, давали отчет о них и ясно давали понять, что они выполнили свои обязательства по управлению, будь то общественные памятники, или суммы, выделенные на провизию и бани, или то, что израсходовано на ремонт общественных зданий. дороги, акведуки или любые другие работы.

"Там же. § 30. Что касается опеки над молодыми людьми первого или второго возраста и всеми теми, кому закон назначает попечителей, если их состояние не превышает 500 *ауреев*, мы постановляем, что не следует ждать назначения президента провинции, поскольку это может повлечь за собой серьезные расходы, особенно если указанный президент не проживал в городе, где требуется предоставление опеки. Назначение кураторов, следовательно, должно производиться магистратом города совместно с наиболее благочестивым епископом и другими лицами, наделенными общественными функциями, если в городе их несколько.

"Там же. 1. i. tit. lv. *de defensoribus*, § 8. —Мы желаем, чтобы защитники городов, хорошо обученные святым тайнам православной веры, избирались и учреждались почетными епископами, клерками, знатью, владельцами и *куриалами*. Что касается их учреждения, то это должно быть отнесено к славной власти префекта Претория, чтобы их авторитет мог черпать больше прочности и энергии из разрешительных писем его Великолепия".

Я мог бы привести множество других законов, иллюстрирующих повсеместно проявляющийся факт, что между римской муниципальной системой и муниципальной системой средневековья стояла церковная муниципальная система; что преобладание духовенства в городских делах

сменило преобладание старых муниципальных магистратов и предшествовало организации современных корпораций.

Таким образом, благодаря своему собственному устройству, своему воздействию на христианское население, а также той роли, которую она играла в гражданских делах, христианская церковь обладала огромными средствами влияния. Следовательно, начиная с той эпохи, она оказала мощное влияние на характер и развитие современной цивилизации. Я попытаюсь суммировать элементы, которые она привнесла в нее.

Во-первых, неисчислимо благо явилось результатом существования морального влияния и силы, которая просто покоилась на моральных убеждениях и мнениях, посреди того потока физической силы, который обрушился на общество в ту эпоху. Если бы христианская церковь не была основана, весь мир был бы побежден чисто физической силой. Только она обладала моральной властью. Он сделал больше: он поддерживал и распространял идею правила или закона, который выше всех человеческих законов; он поддерживал, ради безопасности человечества, ту фундаментальную доктрину, что выше всех человеческих законов есть закон, который, в соответствии с духом времени и нравами, иногда называют разумом, а иногда Божественной волей, но который во все периоды и во всех местах является одним и тем же законом под разными обозначениями.

Таким образом, церковь породила великий факт, а именно отделение духовной власти от мирской. Это разделение является источником свободы совести; и оно не основывается ни на каком другом принципе, кроме того, который служит основой самой неограниченной и расширенной свободы совести. Разделение между мирской и духовной властью основано на принципе, согласно которому физическая сила не имеет права влиять на умы людей, а также на убеждения и истину. Это проистекает из различия, установленного между миром мысли и миром действия, между обстоятельствами внутренней и внешней природы. Таким образом, эта максима свободы совести, за которую Европа так много боролась и страдала и которая лишь недавно восторжествовала, часто вопреки усилиям духовенства, была сформулирована под названием разделения светской и духовной власти на самых ранних стадиях европейской цивилизации; и ее введением и поддержанием христианская церковь была вынуждена, в силу необходимости своего положения, защищаться от варварства того времени.

Таким образом, христианская церковь пролила на европейский мир в пятом веке три важнейших благословения — признание морального влияния, поддержание божественного закона и разделение мирской и духовной власти.

Но даже в тот период его влияние не было столь же благотворным. Уже в пятом веке в церкви проявились некоторые порочные принципы, которые сыграли важную роль в развитии нашей цивилизации. Так в ту эпоху в нем возникла доктрина разделения правящих и управляемых, попытка установить безответственность правителей по отношению к подданным, навязать законы, контролировать общественное мнение и распоряжаться людьми без согласия управляемых или без учета их разума и склонностей. Оно также стремилось внедрить в общество теократический принцип, захватить светскую власть и осуществлять исключительное господство. И когда ей не удалось полностью осуществить этот замысел, она вступила в союз со

светскими князьями и поддерживала их абсолютную власть за счет свободы народа, чтобы получить долю для себя.

Таковы были основные элементы цивилизации, которые Европа черпала из церкви и Империи в пятом веке. Именно в таком состоянии варвары застали римский мир, когда пришли завладеть им. Чтобы понять все элементы, которые были включены и смешаны в колыбели нашей цивилизации, не остается ничего, кроме варваров, на которых можно было бы созерцать.

Нас должна интересовать не история варваров, поскольку отношения - не наша компетенция. Мы знаем, что в ту эпоху, о которой идет речь, завоевателями Империи были почти все представители одной расы, все германцы, за исключением некоторых славянских племен, таких, например, как аланы. Мы также знаем, что все они находились почти на одинаковом уровне цивилизации. Между ними могли существовать некоторые различия в зависимости от большей или меньшей степени контакта, в который они вступали соответственно с римскими провинциалами. Таким образом, нет никаких сомнений в том, что готы были более развитыми и мягкими в своих нравах, чем франки. Но, рассматривая вещи с общей точки зрения и со ссылкой на их последствия для нас, это раннее разнообразие среди варварских племен в цивилизации не имеет значения.

Нам надлежит установить общее состояние общества среди варваров; и это предмет, сопряженный со значительными трудностями. Мы можем сравнительно легко понять римскую муниципальную систему и христианскую церковь, потому что их влияние сохраняется даже в наши дни, и мы обнаруживаем их следы во множестве реальных институтов и обстоятельств, которые предоставляют нам тысячи способов их выявления и объяснения. Но нравы и общественное положение варваров совершенно исчезли; мы вынуждены вызывать их либо из древнейших исторических памятников, либо усилием воображения.

Есть чувство, факт, который мы должны запечатлеть в наших умах, чтобы иметь истинное представление о том, кем был варвар, и это чувство личной независимости, радость, которую он испытывал, бросаясь во всей полноте своей силы и свободы в самую гущу мирских превратностей, — для него удовольствие от деятельности без труда, очарование авантюрной карьеры, полной неопределенности, неравенства судьбы и опасностей. Это было преобладающее чувство варварского государства, моральная жажда, которая побуждала эти человеческие массы к движению. В настоящее время, в столь упорядоченном обществе, как то, в которое мы втиснуты, трудно представить себе степень господства этого чувства над варварами четвертого и пятого веков. Есть только одно произведение, которое, по моему мнению, представляет этот характер варварства во всей его силе, а именно "История завоевания Англии норманнами" М. Тьерри, это единственная книга, в которой мотивы, стремления и импульсы, которые являются движущими силами действий людей в социальном состоянии, граничащем с варварством, воспринимаются и раскрываются с истинно гомеровской яркостью. Нигде мы так хорошо не понимаем, что такое варвар и в чем состоит его жизнь. Нечто подобное можно найти, хотя, по моим представлениям, в гораздо меньшей степени и в гораздо менее простой и правдивой манере, в романах мистера Купера о североамериканских дикарях. Существование американских дикарей, узы и чувства, которые они вынашивают среди лесов, до известной степени напоминают нравы древних германцев. Конечно, эти картины несколько идеализированы и поэтичны, темная сторона варварской жизни и нравов старательно замалчивается. Я говорю не только о бедах, вызванных подобными

манерами в социальном государстве, но и о внутреннем и индивидуальном состоянии самого варвара. В этой яростной жажде личной независимости было гораздо больше грубости и анимализма, чем мы могли бы заключить из работ М. Тьерри; в нем была определенная степень жестокости, неистовства и угрюмой апатии, которые не всегда точно передаются в его рассказе. Тем не менее, когда мы рассматриваем вещи фундаментально, мы убеждены, что, несмотря на этот союз жестокости, материализма и грубого эгоизма, стремление к индивидуальной независимости является благородным моральным чувством, которое черпает свою силу в моральной природе человека; оно заключается в удовлетворении чувств как человека, в сознании личности и свободы воли человека в ее самом полном развитии.

Германские варвары привнесли это чувство в европейскую цивилизацию; оно было неизвестно римскому миру, христианской церкви и почти всем древним цивилизациям. Свобода в тех древних цивилизациях означала политическую, муниципальную свободу. Люди были вовлечены в борьбу не за личную свободу, а за свою свободу как граждан; они принадлежали к ассоциации, были преданы ей, привязаны к ней и ради нее были готовы пожертвовать собой. То же самое было и в христианской церкви: в ней преобладало чувство глубокого уважения к христианской корпорации, преданности ее законам и горячего желания расширить ее империю; или, скорее, религиозное чувство вызывало реакцию в умах людей, которая проявлялась во внутренней борьбе за ограничение свободы личности и слепое подчинение тому, что предписывала вера. Но чувство личной независимости, вкус к свободе, проявляющийся в любой момент без иной цели, иногда кроме как проявить себя, — это было чувство, неизвестное римскому обществу и христианской церкви. Это было импортировано и закреплено варварами при зарождении современной цивилизации, и оно сыграло слишком важную роль и принесло слишком много положительных результатов в связи с этим, чтобы быть опущенным как один из его фундаментальных элементов.

Есть второй факт, второй элемент цивилизации, который мы также черпаем исключительно у варваров. Это военное главенство, узы, которые были установлены между индивидуумами как воинами и которые, не нарушая свободы каждого, не разрушая, за исключением определенной степени, равенства, которое почти полностью существовало среди них, ввели постепенное подчинение и положили начало той аристократической организации, которая позже переросла в феодальную систему. Основой этих отношений была привязанность человека к человеку, верность одного индивида другому без какого-либо внешнего принуждения и без каких-либо обязательств, основанных на общих принципах общества. В древних республиках ни один человек по собственной воле не был особо привязан к какому-либо другому человеку; все были привязаны к своему городу. У варваров социальная связь формировалась между индивидами, в первую очередь, отношением вождя к своему товарищу, когда они жили в объединенном государстве, пересекающем лик Европы, а позже отношениями сюзерена и вассала. Этот второй принцип, который также оказал важное влияние на современную цивилизацию, эта преданность человека человеку, пришел к нам от варваров, и из их нравов он перешел к нам.

Был ли я тогда неправ, утверждая с самого начала, что современная цивилизация была у самого своего зарождения такой разнообразной, взволнованной и запутанной, какой я пытался представить ее в той общей картине, которую я дал о ней? Разве мы не обнаруживаем при распаде Римской империи почти все элементы, которые встречаются в прогрессивном развитии нашей цивилизации? В тот период были обнаружены три совершенно разных общества: муниципальное общество, последний остаток Римской империи, христианское и

варварское общество. Мы находим эти общества очень по—разному организованными, основанными на совершенно разных принципах и внушающими людям противоположные чувства: мы видим стремление к абсолютной независимости наряду с самым полным подчинением; военное главенство сочетается с господством церкви; духовные и светские власти действуют со всех сторон; каноны церкви, изученное законодательство римлян и почти неписанные обычаи варваров - повсюду смесь или, скорее, сосуществование рас, языков, социального положения, манер, идей и чувств, наиболее противоположных друг другу. другое. Это я привожу как удовлетворительное доказательство точности общего характера, в соответствии с которым я старался представить нашу цивилизацию.

Эта неразбериха, разнообразие и борьба, несомненно, дорого нам обошлись; они затормозили прогресс Европы; им мы обязаны бурям и страданиям, жертвой которых она стала. И все же я не придерживаюсь мнения, что мы должны сожалеть о них. Для наций, так же как и для отдельных людей, возможность самого разнообразного и полного развития, продвижения вперед во всех направлениях и почти в неограниченной степени сама по себе компенсирует все жертвы, которых могло стоить обретение способности пользоваться ею. При всестороннем рассмотрении эта агитация, насилие и трудоемкость принесли больше пользы, чем простота, которой отличаются другие цивилизации, и человеческая раса благодаря этому приобрела больше, чем пострадала.

Теперь мы в общих чертах проследили состояние, в котором мир остался после падения Римской империи, и различные элементы, находившиеся в смятении и смешении, положили начало европейской цивилизации. Отныне мы будем видеть, как они продвигаются вперед и действуют. В следующей лекции я попытаюсь показать, чем они стали и чего достигли в эпоху, которую мы привыкли называть временами варварства, то есть в период, в течение которого продолжался хаос вторжения.

Лекция III.

Первые века цивилизации.

Я выдвинул на первый план фундаментальные элементы европейской цивилизации, проследив их с самой ее колыбели, с момента падения Римской империи. Я попытался указать, насколько велико было их разнообразие, насколько постоянна была их борьба, и что ни одному из них не удалось добиться господства над нашим обществом или, по крайней мере, управлять им настолько эффективно, чтобы подчинить или изгнать других. Мы видели, что в этом заключается отличительный характер европейской цивилизации. Теперь мы переходим к его истории, к ее первому началу, к эпохам, которые обычно обозначают как "варварские". При первом взгляде, который мы бросаем на эту эпоху, невозможно не быть пораженным фактом, который кажется полностью противоречащим тому, что я только что изложил. Исследуя мнения, сложившиеся о древностях Европы, удивительно наблюдать, что различные элементы нашей цивилизации — монархические, теократические, аристократические и демократические принципы — все претендуют на первоначальную собственность европейского общества, и все делают вид, что

они утратили исключительную власть в результате узурпации противоположных принципов. Если мы обратимся ко всему, что было написано, и прислушаемся ко всему, что было сказано по этому вопросу, мы обнаружим, что все системы, с помощью которых пытаются продемонстрировать или объяснить наши фундаментальные разработки, поддерживают исключительное преобладание того или иного элемента европейской цивилизации.

Таким образом, существует школа защитников феодализма, самым знаменитым из которых является г-н де Буленвилье, который утверждает, что после падения Римской империи нация-завоеватель, впоследствии оформившаяся в дворянство, обладала всей властью и правами, что общество было ее господством, что короли и народ разграбили его и что, фактически, аристократическая организация была примитивным и подлинным устройством Европы.

Наряду с этой школой мы находим школу монархистов, среди которых аббат Дюбо, которые, напротив, утверждают, что европейское общество принадлежало королевской семье. Они говорят, что германские короли унаследовали все права римских императоров, что древнее население — галлы среди прочих — апеллировало к ним, что только они правили законно и что все приобретения аристократии являются простым посягательством на монархию.

Представляется третья школа - либералов, республиканцев, демократов, как вы можете называть их. Если мы последуем примеру аббата де Мабли, то придем к выводу, что с начала пятого века управление обществом было передано системе свободных институтов, собраниям свободных людей, собственно так называемому народу; что знать и короли обогатились трофеями первобытной свободы, которая уменьшилась под их натиском, но, тем не менее, царил до них.

И над всеми этими монархическими, аристократическими и народными претензиями возвышается теократическое заявление церкви, которая утверждает, что в силу самой ее миссии и божественного титула общество принадлежало ей, что только она имела какое-либо право управлять им и что только она была законной королевой европейского мира, возвращенной ее трудами к цивилизации и истине.

Таким образом, мы находимся в своеобразном положении. Мы воображали, что продемонстрировали, что ни один из элементов европейской цивилизации не имел исключительного влияния в ходе ее истории, но что они существовали в постоянном состоянии соседства, слияния, борьбы и активности; и на самом первом нашем шаге мы обнаруживаем, что утверждается прямо противоположное мнение, что при своем рождении в недрах варварской Европы тот или иной из этих элементов единолично владел обществом. И не в какой-то одной стране, а во всех странах Европы защитники различных принципов нашей цивилизации выдвигают свои непримиримые претензии в несколько различных формах и в разное время. Исторические школы, которые мы только что охарактеризовали, существуют не только в одной стране, но и по всей Европе.

Этот факт важен не сам по себе, а потому, что он проливает свет на другие факты, которые занимают важное место в нашей истории. Эта одновременная пропаганда самых нелепых притязаний на исключительное обладание властью в первые века современной Европы приводит к двум важным деталям. Первый - это принцип или идея политической законности, сыгравшая заметную роль в драме европейской цивилизации; второй - это действительный

характер государства варварской Европы той эпохи, которым мы должны особенно заняться в данный период нашего исследования.

Я продолжу извлекать эти две детали из темноты и последовательно отделять их от противоречия утверждений, о котором я упоминал ранее.

На что претендуют различные элементы европейской цивилизации — теократический, монархический, аристократический и народный — когда они утверждают себя первыми владельцами общества в Европе? Разве не каждый из них провозглашает себя исключительно легитимным? Очевидно, что политическая легитимность — это право, основанное на древности и долговечности. Приоритет времени используется как источник права, как доказательство легитимности власти. И здесь я прошу обратить внимание на тот факт, что эта претензия не ограничивается какой-то одной конкретной системой или элементом нашей цивилизации, но распространяется на все. В наше время мы привыкли рассматривать идею легитимности как присущую только одной системе — монархической, — что является большой ошибкой, поскольку она оспаривается во всех остальных. Мы уже видели, что все элементы нашей цивилизации стремились монополизировать ее; и если мы бросим взгляд вперед, в историю Европы, мы увидим, что самые разнообразные социальные формы и правительства в равной степени обладают этим характером легитимности. Итальянская и швейцарская аристократии и демократии, республика Сан-Марино, подобно величайшим монархиям Европы, называли себя легитимными и считались ими; они, точно так же, как и другие, основывали свои претензии на легитимности на древности своих институтов, на историческом приоритете и продолжительности своей системы правления.

Если мы выйдем за пределы Европы и перенесем наши наблюдения в другие времена и страны, мы со всех сторон столкнемся с этой идеей политической легитимности и обнаружим, что она присуща какой-то части правящего правительства, некоторым его институтам, формам или принципам. Нет такой страны или времени, в которых определенная часть социальной системы, государственных полномочий не наделяла бы себя и не признавала как неотъемлемую часть этого характера легитимности, проистекающего из древности и стабильности.

И что же это за принцип! Каковы его элементы? Как он был внедрен в европейскую цивилизацию?

Все системы власти по своему происхождению замешаны на силе. Я не хочу сказать, что все они основаны только на силе или что, если бы изначально у них не было других названий, кроме силы, они были бы созданы. Они, безусловно, нуждались в других; власть устанавливается в соответствии с определенными социальными потребностями и с учетом состояния общества, манер и мнений. Но мы не можем не понимать, что сила запятнала основу всех систем власти в мире, какими бы ни были их природа и форма.

Но каждый отвергает это происхождение, все системы любого описания отрицают его, и нет ни одной, которая согласилась бы возникнуть из силы. Непреодолимый инстинкт подсказывает правительствам, что сила не дает права, и что если бы их притязания основывались только на этом, то право никогда не могло бы быть выведено. По этой причине, когда мы возвращаемся к древним временам и разоблачаем различные системы и власти, отданные на откуп насилию, все спешат воскликнуть: "Я был раньше, я существовал раньше и благодаря другим титулам;

общество принадлежало мне до того состояния насилия и борьбы, в котором вы меня видите; я был законным; мои справедливые прерогативы оспаривались и были вырваны у меня".

Этот единственный факт демонстрирует, что максима силы не является основой политической легитимности и что она опирается на какую-то другую основу. Каков эффект этого формального отказа от применения силы всеми системами? Их признание того, что существует другая легитимность, подлинная основа для всех остальных, легитимность разума, справедливости и прямолинейности. Таково происхождение, за которое все они стремятся уцепиться. И поскольку они отвергают силу как элемент своего посвящения, они вынуждены самоутверждаться, нося другой титул, ссылаясь на свою древность. Таким образом, главной характеристикой политической легитимности является отрицание силы как источника власти и утверждение, что она связана с моральной идеей и силой, фактически с идеей права, джастиса и разума. Это фундаментальный элемент, составляющий принцип политической легитимности. Он возник из этого, получив руку помощи от времени и стабильности. Мы проследим за процессом.

Сила господствовала на заре становления всех правительств и обществ, время прогрессирует и вносит изменения в действия силы; оно вносит коррективы исходя из того самого обстоятельства, что общество существует и состоит из людей. Человек несет в себе определенное количество представлений о порядке, справедливости и разуме, а также определенное стремление придать им силу и внедрить их в факты, среди которых он живет. Чтобы достичь этой цели, он трудится не покладая рук; и если социальное состояние, в котором он находится, сохраняется, его труды не бесплодны. Человек привносит разум и право в ту сферу, в которой он действует.

Независимо от усилий человека, существует закон Провидения, слишком ощутимый, чтобы его отрицать, закон, аналогичный тому, который правит материальным миром, согласно которому определенная мера порядка, разума и справедливости необходима для продолжения существования общества. Действительно, исходя из самого факта долговечности, мы можем быть уверены, что ни одно конкретное общество не является совершенно абсурдным, бесчувственным или незаконным, и что оно не полностью лишено того элемента разума, истины и справедливости, который один может дать жизнь любому обществу. Более того, если общество развивается, если оно становится более энергичным и могущественным, если его условия время от времени принимаются все большим числом людей, тогда мы уверены, что с течением времени в него вливается больше разума, справедливости и правоты; ибо факты незаметно выстраиваются в соответствии с истинной законностью.

Таким образом, идея политической законности распространилась по всему миру и из мира проникла в умы людей. Что касается основания или первопричины, то она имеет, по крайней мере в определенной степени, моральную легитимность, справедливость, разум и истину; а затем и санкцию времени, которая дает основание полагать, что разум стал неотъемлемой частью существующих фактов, что на самом деле истинная неоспоримая легитимность была привнесена во внешние дела. В эпоху, о которой мы собираемся рассказать, мы обнаружим составляющие силы и лжи в первоначальном составе королевской семьи, аристократии, демократии и даже церкви; и тогда сила и ложь будут восприниматься как претерпевающие постепенные преобразования под пластичной рукой времени, а право и истина займут свое место в цивилизации. Именно это внедрение права и истины в социальное государство

постепенно развило принцип политической легитимности, и именно таким образом он утвердился в современной цивилизации.

Когда в разное время предпринимались попытки поднять эту идею как знамя абсолютной власти, ее истинное происхождение было грубо ошибочно или извращено. Она настолько далека от отождествления с абсолютной властью, что право и справедливость - это титулы, под которыми она распространилась и пустила корни в мире. Оно ни в какой степени не является исключительным, оно не принадлежит никому в частности, но насаждается везде, где право находит развитие. Я еще раз утверждаю, что политическая легитимность в такой же степени связана со свободой, как и с властью, и с правами личности, в равной степени с формами, какими бы они ни были, с помощью которых осуществляются общественные функции. Мы встретимся с этим в нашем развитии, в самых противоречивых системах — в равной степени в феодальной системе, в муниципалитетах Фландрии и Германии, в республиках Италии, как и в монархии. Это характер, присущий всем различным элементам современной цивилизации, и нам надлежит полностью осознать его при исследовании истории этой цивилизации.

Второй факт, который выявляется одновременными претензиями, о которых я так часто говорил, - это реальный характер эпохи, называемой варварской. Как я уже говорил, все элементы европейской цивилизации утверждают, что они владели Европой в тот период; как следствие, ни один из них не доминировал. Когда в мире господствует социальная форма, распознать ее не так уж трудно. Когда мы дойдем до десятого века, мы без колебаний признаем преобладание феодальной системы; в семнадцатом у нас не будет сомнений в утверждении преобладания монархического принципа; и если мы обратимся к фламандским корпорациям или итальянским республикам, мы немедленно заявим о господстве демократического принципа. Когда в мире действительно преобладает какой-то принцип, ошибиться в нем невозможно.

Соперничество, возникшее между различными системами, входящими в европейскую цивилизацию, по вопросу о том, какая из них правила ею при ее возникновении, доказывает, что все они сосуществовали в ней, и ни одна из них не преобладала настолько широко или несомненно, чтобы запечатлеть в обществе свою форму и название.

И в этом заключается действительный характер варварской эпохи — хаос всех элементов, взрыв всех систем, всеобщий гвалт, в котором борьба не была ни постоянной, ни систематической. Исследуя социальное состояние той эпохи во всех его фазах, я мог бы продемонстрировать невозможность обнаружить какой-либо факт или принцип, приближающийся к общему или устоявшемуся признанию. Я ограничусь двумя существенными моментами — состоянием отдельных людей и состоянием институтов. Их будет достаточно, чтобы описать все общество.

Мы различаем четыре класса людей в эту эпоху: 1—й, свободные люди, то есть те, кто не зависел ни от кого из вышестоящих или покровителей, кто владел своим имуществом и регулировал свою жизнь в полной свободе, без каких—либо уз, привязывающих их к другому человеку; 2г, *leudes*, *fideles*, *anstrustions* и т. Д. Связанные отношениями — сначала компаньона к вождю, затем вассала к сюзерену - к другому человеку, по отношению к которому у них были обязательства сторонника. служба в связи с предоставлением земель или других подарков; 3д, вольноотпущенники; 4-й, рабы.

Но эти различные классы не были установлены незыблемо; люди, однажды включенные в их пределы, не оставались там навсегда; отношения различных классов не были ни определенными, ни постоянными. Среди свободных людей были такие, которые время от времени покидали свое положение, чтобы поступить на службу к определенному лицу, получая от него какой-нибудь дар и переходя в разряд леудов; в то время как другие попадали в разряд рабов. С другой стороны, некоторые леуды из всех сил пытались избавиться от своего покровителя, восстановить свою независимость и вернуться в свободный класс. Со всех сторон наблюдалось непрерывное движение и переход от одного класса к другому, общая неопределенность и неустойчивость во взаимоотношениях классов: ни один человек не придерживался своей позиции, и ни одна позиция не оставалась неизменной.

Земельные владения находились в одном и том же состоянии; они различались как аллодиальные, или полностью свободные, и бенефициарные, или налагаемые определенными обязательствами по отношению к вышестоящему начальству. Хорошо известно, что предпринимались попытки установить для этого последнего класса прав собственности точную и детерминированную систему; было сказано, что субсидии выдавались на определенное количество лет, затем пожизненно и что, наконец, они стали наследственными. Попытки тщетны; все эти разновидности владения существовали одновременно; в ту же эпоху наследникам предоставлялись льготы на годы, пожизненно; и даже одни и те же земли переходили через несколько лет через эти разные государства. Ничто не было более стабильным или обобщенным в состоянии земельной собственности, чем состояние отдельных лиц. Повсюду заметен трудный переход от бродячей жизни к оседлой, от отношений чисто личных к отношениям в сочетании с телами людей и правами собственности, которые являются реальными, существенными, обязательными отношениями. В этом переходном состоянии все было запутанным, частичным и неупорядоченным.

Та же нестабильность и потрясения были присущи и институтам. Сосуществовали три системы — королевская власть, аристократические институты, или превосходство над людьми и землями в градации, и свободные институты, или собрания свободных людей, совещающихся сообща. Ни одна из этих систем не принадлежала обществу, ни у кого не было предпочтений. Свободные институты существовали, но люди, которые должны были участвовать в собраниях, не присутствовали. Синьориальная юрисдикция также не осуществлялась. Королевская власть, которая является самым простым институтом и которую легче всего определить, не имела фиксированного характера: выборность и наследственное право смешивались воедино: иногда сын наследовал своему отцу; иногда отбор производился из королевской семьи; а иногда происходило чистое и простое избрание дальнего родственника или, возможно, незнакомца. Мы не находим ничего устоявшегося ни в одной системе; все институты, как и социальные условия, существовали вместе, были смешаны и постоянно менялись.

Страны находились в одинаковом неустроенном состоянии. Они создавались и подавлялись, объединялись и разделялись. Границы, правительства, нации перестали быть различимыми. Всеобщее смешение позиций, принципов, фактов, рас и языков было состоянием варварской Европы.

В каких рамках заключена эта странная эпоха? Ее начало хорошо обозначено — это произошло с падением Римской империи. Но когда она закончилась? Чтобы ответить на этот вопрос, мы

должны выяснить, чему было обязано такое состояние общества, каковы были причины варварства.

Я думаю, что можно обнаружить два основных из них. Один физический, возникающий внешне из хода событий; а другой моральный, действующий внутренне из психического состояния самого человека.

Физической причиной было затягивание вторжения. Мы не должны делать вывод, что вторжение варваров было остановлено в пятом веке или что из-за того, что Римская империя пала и на ее руинах были основаны варварские королевства, население прекратило свои передвижения. Напротив, они продолжались еще долгое время после падения Империи, чему у нас есть все достаточные доказательства.

Мы видим франкских королей, даже первой расы, постоянно вынужденных вести войны за Рейном; мы видим Клотера, Дагоберта, непрестанно совершавших походы в Германию, сражавшихся против тюрингов, датчан и саксов, которые занимали правый берег Рейна. По какой причине? Потому что эти народы хотели пересечь реку и получить свою долю добычи Империи. Что вызвало примерно в тот же период те великие вторжения в Италию франков, обосновавшихся в Галлии, главным образом восточных, или австразийских франков? Почему они осаждали Швейцарию, перевалили через Альпы и вошли в Италию? Потому что новое население подталкивало их на северо-восток; их экспедиции предпринимались по необходимости и не были простыми набегами с целью грабежа; их поселениям препятствовали, и они отправлялись на поиски других. Затем на сцене появилась новая германская нация и основала в Италии королевство Лангобардов. В Галлии была свергнута первая династия Франков: карловинги сменили Меровингов. В настоящее время признано, что эта смена династии на самом деле была притоком населения, которое вытеснило западных франков восточными. Перемена произошла, и воцарилась вторая раса. Карл Великий начал против саксов то, что меровинги направили против тюрингов, и был вовлечен в непрекращающиеся войны с народами за Рейном. И их подталкивали вперед оботриты, вильцы, сораби, богемцы, вся славянская раса, которая давила на германскую и с шестого по девятый век побуждала ее продвигаться на запад. На всем северо-востоке вторжение продолжалось и контролировало события.

На юге произошло движение того же характера, вызванное арабами-мусульманами. В то время как германское и славянское население теснилось вдоль Рейна и Дуная, арабы начали свою завоевательную карьеру на всех побережьях Средиземного моря.

Вторжение арабов носило особый характер. Дух завоевания и дух прозелитизма были едины; их вторжение было предпринято как для завоевания территории, так и для распространения своей веры. Между этим движением и движением немцев была большая разница. В христианском мире духовные и светские ветви были разделены. Рвение к распространению веры не испытывалось теми же людьми, которые горели желанием завоеваний. Немцы, обратившись в христианство, сохранили свои манеры, чувства и вкусы; земные интересы и страсти продолжали руководить ими; и хотя они могли быть христианами, они не были миссионерами. Арабы, напротив, были завоевателями и миссионерами; у них мечом и Словом владели одни и те же руки. Позднее это обстоятельство привело к печальному повороту в развитии мусульманской цивилизации; ибо именно из единства светской и духовной властей, из запутанной смеси морального влияния с материальной силой возникла тирания, которая, по-

видимому, присуща этой цивилизации; и это, как я полагаю, главная причина застойного состояния, в которое она впала. Но это отнюдь не проявилось при первой вспышке гнева; напротив, таким образом арабскому вторжению была придана огромная мощь. Укрепленный моральными идеями и страстями, он в одно мгновение обрел блеск и величие, которых явно не хватало немецкому вторжению; в нем было проявлено больше энергии и энтузиазма, и на умы людей это повлияло совсем по-другому.

Таково было положение Европы с пятого по девятый век; теснимая с юга мусульманами, с севера германцами и славянами, внутренняя часть европейского региона неизбежно пребывала в постоянном беспорядке в результате этого двойного вторжения. Население постоянно перемещалось и натравливалось друг на друга; ни одно поселение не могло быть основано; кочевая жизнь возобновлялась повсюду. Несомненно, в этом отношении между различными странами существовали некоторые различия; беспорядки в Германии были сильнее, чем в остальной Европе, поскольку это было самое горнило волнений; и Франция была потрясена сильнее, чем Италия. Но нигде общество не могло закрепиться или регулироваться; варварство распространялось со всех сторон по той же причине, которая дала ему начало.

Вот и все о материальной причине, возникшей в результате хода событий. Теперь я перехожу к моральному делу, основанному на внутреннем состоянии человечества, которое было не менее могущественным.

Какими бы ни были внешние события, в конце концов, сам человек создает свой мир; именно идеями и чувствами, моральными и интеллектуальными установками людей регулируется прогресс мира; именно от внутреннего состояния людей зависит внешнее состояние общества.

Что нужно мужчинам для того, чтобы основать общество, которое было бы прочным и регулярным? Очевидно, необходимо, чтобы у них было определенное количество идей, достаточно обширных, чтобы соответствовать данному обществу и быть применимыми к его потребностям и отношениям. Кроме того, необходимо, чтобы эти идеи были общими для большинства членов общества и чтобы они оказывали некоторое влияние на их желания и действия.

Ясно, что если у людей нет идей, выходящих за рамки их собственного существования, если их интеллектуальный горизонт ограничен ими самими, если они дают безудержную волю ярости своих страстей и склонностей, если среди них нет определенного числа общих понятий и чувств, вокруг которых они могли бы сплотиться, тогда ясно, повторяю, что никакое общество среди них существовать не может и что каждый индивид будет элементом беспорядка и разложения в любом обществе, в которое он входит.

Везде, где индивидуальность приобретает почти абсолютное влияние, где человек думает только о себе, где его идеи не простираются дальше его собственной личности, где он прислушивается только к своим собственным страстям, общество (подразумевая под этим общество, рассчитанное на некоторую небольшую степень расширения и постоянства) почти невозможно. Таково было моральное состояние завоевателей Европы в рассматриваемую эпоху. В предыдущей лекции я заметил, что мы в долгу перед немцами за сильное чувство индивидуальной свободы, за человеческую индивидуальность. Но в состоянии крайней грубости и невежества это чувство является чистым эгоизмом во всей его жестокости и необщительности. Так было на данный момент у германцев с пятого по восьмой век. Они были

озабочены только своими собственными интересами, своими собственными страстями и склонностями, и как они могли таким образом приспособиться к состоянию, приближающемуся к социальному? Предпринимались попытки склонить их к этому; они даже пробовали это сами. Но из-за какого-то безрассудного поступка, какого-то взрыва страсти или какого-то недостатка понимания они немедленно сорвались с цепи. Общество непрестанно пыталось сформироваться, но столь же непрестанно оно терпело крах из-за действий человека, из-за отсутствия тех моральных условий, которые необходимы для его существования.

Таковы были две основные причины возникновения варварского государства. Пока они существовали, варварство продолжалось. Давайте выясним, как и когда они, наконец, прекратились.

Европа трудилась, чтобы выбраться из этого состояния. Человеку свойственно бороться за выход из такого хаоса, даже если он был ввергнут в него по собственной вине. Каким бы жестоким и невежественным он ни был, как бы сильно ни был предан своему собственному удовлетворению и страстям, внутри него есть голос или инстинкт, который твердит ему, что он создан для чего-то другого, что у него другие способности и предназначение. Посреди его дезорганизации его преследует и мучает тяга к порядку и продвижению. Стремление к справедливости, к дальновидности, к развитию волнует его грудь даже под гнетом самого грубого эгоизма. Он чувствует себя обязанным реформировать материальный мир, общество и самого себя; и он трудится для достижения этой цели, не особо осознавая, какая нужда его подстегивает. Таким образом, варвары стремились к цивилизации, хотя были совершенно неспособны к ней, более того, я могу сказать, испытывали к ней крайнюю ненависть, когда чувствовали ее ограничения.

Там также сохранились некоторые значительные пережитки римской цивилизации. Название Империи, воспоминание об этом великом и славном обществе будоражили память людей, особенно городских сенаторов, епископов, священников и всех тех, кто происходил из римской эпохи.

Многие из самих варваров или из их варварских предков были свидетелями величия Империи; они служили в ее армиях или сражались против нее. Образ и название римской цивилизации произвели на них сильное впечатление, и они испытывали желание подражать ей, вернуть ее обратно или сохранить какую-то ее часть. В этом был дополнительный стимул вывести их из состояния варварства, которое я описал.

Был и третий, который напрашивается на ум каждому, — я имею в виду христианскую церковь. Церковь была регулярно организованным обществом, имеющим свои собственные принципы, правила и дисциплину и движимым горячим рвением расширить свое влияние и победить своих завоевателей. Среди христиан той эпохи, в рядах духовенства, были люди, которые глубоко размышляли над всеми моральными и политическими вопросами, которые придерживались твердых мнений и энергичных чувств по всем вопросам и усиленно стремились распространять их и придавать им первостепенное значение. Ни одно общество никогда не прилагало таких усилий, как христианская церковь, с пятого по десятый век, чтобы расширить свою сферу и привести внешний мир в соответствие с ее собственным подобием. Когда мы изучим его конкретную историю, мы поймем весь размах его трудов. Она атаковала варварство, так сказать, со всех сторон, чтобы цивилизовать его, подчинив.

Наконец, существовала четвертая причина цивилизации, которую невозможно точно взвесить, но которая от этого не менее реальна, а именно влияние великих людей. Никто не может сказать, почему великий человек приходит в ту или иную эпоху или что он привносит от себя в развитие мира; тайна остается за Провидением, но факт несомненен. Есть люди, которых зрелище анархии или социального застоя поражает и огорчает, которые интеллектуально потрясены этим, как фактом, которого не должно быть, и которыми овладевает неконтролируемое желание изменить это и установить какое-то правило, какое-то единообразие, регулярность и постоянство в окружающем их мире: ужасная и часто тираническая власть, совершающая тысячи беззаконий и ошибок, поскольку ей сопутствует человеческая слабость; и все же великолепная и спасительная власть, поскольку она дает человечеству мощный толчок, восхитительный импульс.

Эти различные причины и влияния породили различные попытки освободить европейское общество от тисков варварства в эпоху, простиравшуюся с пятого по девятый век.

Первой из этих попыток (хотя она, возможно, и имела небольшой эффект, но требует внимания, поскольку исходила от самих варваров) было усвоение варварских законов. Между шестым и восьмым веками были написаны законы почти всех варварских племен. Раньше все было иначе, у этих людей были просто обычаи для управления, прежде чем они утвердились на руинах Римской империи. Существовали законы бургундов, салийских и рипуарских франков, вестготов, лангобардов, саксов, фризов, баварцев, аллеманнов и т. Д. Здесь, очевидно, было начало цивилизации, попытка перевести общество к империи общих и регулярных принципов. На нем нельзя было рассчитывать на большой успех, поскольку в нем излагались законы общества, которого больше не существовало, законы социального состояния варваров до их поселения на римской территории, до того, как они сменили кочующий образ жизни на оседлый, а положение воинов-кочевников - на положение собственников. Тут и там встречаются некоторые статьи о землях, которые приобрели варвары, и об их отношениях со старыми жителями страны, и даже делаются попытки урегулировать некоторые из новых обстоятельств, с которыми они были связаны; но основой большинства этих законов являются древняя жизнь и положение вещей в Германии, которые были совершенно неприменимы к новому обществу и оказали лишь небольшое влияние на его развитие.

В тот же период в Италии и на юге Галлии была предпринята попытка иного характера. Римское общество не погибло там так полностью, как в других кварталах; в городах сохранялась несколько большая степень порядка и энергии. Цивилизация попыталась возродиться там снова. Например, мы обнаруживаем, что муниципальная система как бы восстанавливает дыхание и оказывает некоторое влияние на общий ход событий в королевстве остготов в Италии при Теодорихе, хотя и король, и нация были варварами. Римское общество очеловечило готов и в определенной степени ассимилировало их с самим собой. Тот же факт замечен на юге Галлии. В начале VI века вестготский король Тулузы Аларих приказал собрать римские законы и опубликовал кодекс для своих римских подданных под названием *Brevarium Aniani*.

Именно церковь пыталась положить новое начало цивилизации в Испании. Вместо старых германских собраний воинов (*малла*) в Испании господствовал Толедский собор, и хотя на соборе присутствовали влиятельные миряне, им управляли епископы. В законах вестготов нет варварского акта; компиляция, очевидно, является работой философов той эпохи, духовенства.

Они изобилуют общими идеями и теориями, которые совершенно чужды варварским нравам. Таким образом, известно, что законодательство варваров было личным законодательством, то есть один и тот же закон применялся только к людям одной и той же расы. Римский закон управлял римлянами, франкский закон управлял франками; у каждого народа был свой собственный закон, хотя они были объединены под властью одного правительства и населяли одну и ту же территорию. Это система, которая называется личным законодательством, в противоположность системе реального законодательства, основанной на территориальных различиях. Теперь законодательство вестготов было не личным, а территориальным. Все жители Испании, будь то римляне или вестготы, подчинялись одному и тому же закону. Но можно найти еще более очевидные следы философии. Среди варваров люди оценивались по фиксированному тарифу, в зависимости от их положения; варвар, римлянин, свободный человек, вассал и т.д. Не оценивались в одну и ту же сумму; их жизни были предметом расценок. Принцип равной ценности людей в глазах закона был закреплен в кодексе вестготов. Что касается процессуальной системы, мы находим, что присяга *compurgatores* и судебный поединок заменены доказательствами свидетелей и таким рациональным исследованием фактов, которое могло бы быть принято в любом цивилизованном обществе. Одним словом, весь вестготский кодекс носит мудрый, систематический и социальный характер. Мы видим в этом труды того же духовенства, которое руководило соборами в Толедо и так сильно влияло на управление страной.

Следовательно, в Испании вплоть до великого нашествия арабов именно теократический принцип трудился над созданием цивилизации.

Во Франции то же самое стремление было результатом другого влияния; оно исходило от великих людей, особенно от Карла Великого. Если мы рассмотрим его правление на различных этапах, мы обнаружим, что преобладающей идеей в его сознании была цивилизация его народа. Во-первых, что касается его войн. Он постоянно находился в полевых условиях, простираясь с юга на северо-восток, от Эбро до Эльбы или Везера. Это были не просто произвольные экспедиции, вызванные ненасытной жаждой завоеваний. Я не утверждаю, что все, что он делал, можно систематизировать или что его планы демонстрируют глубокое дипломатическое или стратегическое остроумие, но он подчинился импульсу великой необходимости, вытекавшему из его плана подавления варварства. В течение всего периода своего правления он был занят предотвращением двойного вторжения мусульман на юг, немцев и славян на север, преследуя эту цель. Таков характер военной части правления Карла Великого: как я уже говорил ранее, это также было целью его экспедиций против саксов.

Переходя от его войн к его внутреннему управлению, мы находим тот же принцип в деятельности, попытку внести порядок и единообразие в управление всеми странами, которыми он владел. Я не могу назвать их *королевством* или *государством*, поскольку эти выражения носят слишком обычный характер и слишком мало соответствуют идеям общества, которым руководил Карл Великий. Однако несомненно то, что он, хозяин огромной территории, был возмущен, увидев все сущее на ней в самом разобщенном, анархическом и зверском состоянии, и посвятил свою энергию смягчению этого уродства. Его первой мерой было направить свою *госпожу доминици* в различные районы его владений, чтобы расследовать факты и либо скорректировать их, либо доложить о них ему. Впоследствии он проводил общие

собрания с гораздо большей регулярностью, чем его предшественники, на которые он принудил присутствовать почти всех влиятельных людей своих территорий. Это не были свободные собрания; они созывались и не для того, что мы бы назвали обсуждением. Они использовались Карлом Великим как средство получения информации о фактах и введения некоторой регулярности и единства среди своих неорганизованных подданных.

С какой бы точки зрения ни рассматривалось правление Карла Великого, преобладающим оказывается один и тот же характер - борьба с варварским государством, проявление гения цивилизации в действии. Именно этот дух проявляется в его стремлении учредить школы, в его вкусе к ученым людям, в его пристрастии к церковному влиянию и в его принятии всего, что казалось ему способным благотворно воздействовать либо на общество в целом, либо на человека в отдельности.

Попытка того же рода была предпринята королем Альфредом в Англии несколько позже.

Таким образом, различные причины, которые я выделил как стремящиеся положить конец варварству, действовали в той или иной части Европы с пятого по девятый век.

Ни один из них не увенчался успехом. Карлу Великому не удалось обеспечить стабильность своей великой империи и системы правления, которую он хотел установить. В Испании церковь не была более счастлива в своих попытках установить теократический принцип. В Италии и на юге Галлии, хотя римская цивилизация предпринимала различные попытки возродиться, только впоследствии, ближе к концу десятого века, она действительно обрела какую-либо силу. Вплоть до этого периода все попытки искоренить варварство были бесплодны: они исходили из идеи, что люди более развиты, чем это демонстрировала реальность: все они стремились к обществу более обширному и упорядоченному, чем это соответствовало реальному распространению принудительных влияний и состоянию умов людей. Однако они не были полностью выброшены. В начале десятого века уже не было никаких сомнений ни в великой империи Карла Великого, ни в славных соборах Толедо, но варварство не менее уверенно приближалось к исчезновению. Были получены два замечательных результата:

1-го, захватнические движения были остановлены как на севере, так и на юге. После распада империи Карла Великого племенам, все еще продвигавшимся на запад, был воздвигнут мощный барьер народами, обосновавшимися на правом берегу Рейна.

Норманны неопровержимо доказывают этот факт, ибо до нашей эры, за исключением племен, напавших на Британию, морские вторжения не были значительными. Именно в течение девятого века это стало постоянным и повсеместным, и главным образом потому, что вторжения с суши стали очень затруднительными, поскольку общество приобрело более прочные и гарантированные границы по эту сторону. Та часть бродячего населения, которую невозможно было отогнать назад, все же была вынуждена отвернуться и продолжить свою авантюрную карьеру на море. Какое бы зло ни причинили западу вторжения норманнов, они были гораздо менее фатальными, чем вторжения по суше, и доставляли несравненно меньше общего беспокойства зарождающемуся обществу.

На юге последовали те же последствия. Арабы обосновались в Испании, и борьба между ними и христианами продолжалась, но она больше не сопровождалась перемещением населения.

Сарацинские банды все еще время от времени наводняли побережье Средиземного моря, но исламизм, очевидно, прекратил свое грандиозное шествие.

2г. Во внутренней части европейской территории кочевая жизнь прекратилась; население было расселено, собственность закреплена, и отношения людей больше не менялись изо дня в день под влиянием силы или случая. Внутреннее и моральное состояние самого человека начало меняться, его идеи и чувства приобрели некоторую устойчивость, как и его жизнь; он привязался к местности, в которой жил, к узам, которые завязал, к тем владениям, которые он льстил себя надеждой оставить своим детям, к тому жилищу, которое со временем он назовет своим замком, и к тому жалкому сборищу колонистов и рабов, которое однажды превратится в деревню. Повсюду формировались небольшие общества, мелкие государства, высеченные, если можно так выразиться, в соответствии с объемом идей и знаний, которыми обладали люди. Между этими обществами постепенно установились союзные отношения, которые не уничтожали индивидуальной независимости, в соответствии с принципом, который таился в варварских нравах. С одной стороны, каждая значительная персона обосновывалась в своих владениях со своей семьей и слугами; с другой стороны, среди этих воинственных собственников, разбросанных по территории, была установлена определенная градация услуг и прав. Каков же был результат? — феодальная система, которая в конечном счете возникла из лона варварства. Из различных элементов нашей цивилизации было естественно, что германский в первую очередь возобладал, ибо он обладал силой и покорил Европу; и первая социальная форма и организация были неизбежно заимствованы от него.

Феодальная система, ее характер и роль, которую она сыграла в истории европейской цивилизации, станут предметом следующей лекции. В самом сердце победоносного феодального режима мы, однако, на каждом шагу будем сталкиваться с другими элементами нашей цивилизации, королевской властью, церковью и корпорациями; и нам будет нетрудно прийти к выводу, что им не суждено было быть раздавленными той феодальной формой, к которой они ассимилировались, борясь против нее и ожидая часа, когда победа, в свою очередь, придет к ним.

Лекция IV.

Влияние феодальной системы.

Теперь мы рассмотрели состояние Европы после падения Римской империи, в первую эпоху современной истории, а именно варварскую. Мы видели, что в конце той эпохи, в начале десятого века, первым принципом или системой, которая была развита и которая овладела европейским обществом, была феодальная система, самое раннее порождение варварства. Следовательно, именно феодальную систему мы сделаем настоящим объектом нашего исследования.

Едва ли мне нужно здесь повторять, что я рассматриваю не историю событий, в собственном смысле этого слова. Я не обязан подробно описывать судьбы феодализма: меня интересует история цивилизации, и это общий, скрытый факт, который я ищу под всеми внешними фактами, которые его окружают.

Таким образом, события, социальные кризисы и различные состояния, через которые прошло общество, интересуют нас только в их связи с развитием цивилизации; мы должны исследовать, как они противостояли ему или помогали ему, что они дали ему и от чего воздержались. Просто с этой точки зрения мы принимаем во внимание феодальную систему.

Приступив к этому исследованию, мы определили, что такое цивилизация, мы попытались различить ее элементы и осознали, что она включает в себя, с одной стороны, развитие самого человека, индивидуума, человеческой природы; а с другой - развитие его внешнего и видимого состояния, общества. Поэтому каждый раз, когда мы раскрываем событие, систему, общий порядок вещей, мы должны задать этот двойной вопрос: что это привело к развитию человечества — что за или против развития общества?

В этом исследовании мы не можем не столкнуться в нашем продвижении с очень важными вопросами философии морали. Когда мы хотим решить, в какой степени событие или система способствовали развитию человека и общества, нам надлежит выяснить, каково истинное развитие общества и человечества, и не являются ли определенные события обманчивыми и незаконными, стремящимися скорее к извращению, чем к улучшению, и ведущими к ретроградному движению вместо поступательного.

Мы не будем пытаться уклониться от возложенной на нас задачи. Таким образом, мы не только должны выхолостить и принизить наши идеи и сами факты, но и фактическое состояние мира вынуждает нас откровенно признать в качестве закона этот неоспоримый союз философии и истории. Это сочетание является как раз одной из особенностей, если не главной и сущностной чертой нашего века. Мы призваны изучать и придавать одновременный вес науке и реальности, теории и практике, праву и факту. В прежние времена эти две державы жили порознь: мир привык видеть, что научная теория и практика идут разными путями, не признавая друг друга или, по крайней мере, не создавая союза. И когда доктрины или общие идеи воздействовали на события и будоражили мир, им удавалось делать это только благодаря импульсу фанатизма. Власть над человеческими обществами и направление их дел до сих пор были разделены между двумя видами влияний: с одной стороны, верующими, людьми общих идей и принципов, фанатиками; с другой - людьми, чуждыми всяких рациональных принципов, делающими обстоятельства своим единственным правилом поведения, практиками, распутниками, как называли их в семнадцатом веке. Теперь такое положение вещей прекратилось; ни фанатики, ни распутники больше не могут властвовать. Чтобы управлять людьми и иметь влияние среди них в настоящее время, необходимо установить и понять как общие идеи, так и обстоятельства; необходимо обладать способностью считаться с принципами и фактами, уважать истину и целесообразность и избегать как слепой самонадеянности фанатиков, так и бесчувственного презрения распутников. Развитие человеческого разума и социального государства привело нас к этому моменту: с одной стороны, человеческое понимание, возвышенное и свободное, имеет более четкое представление о целостности вещей, может направлять свое внимание на все вопросы и объединять все, что имеет бытие, в свои комбинации; с другой стороны, общество доведено до такого состояния развития, что оно может выдержать проверку применением истины; и факты могут подкрепляться апелляцией к принципам, не вызывая при таком сравнении непреодолимого разочарования или отвращения, несмотря на их огромное несовершенство. Поэтому, переходя, по мере необходимости, от изучения обстоятельств к

анализу идей, от изложения фактов к исследованию теорий, я буду лишь следовать естественной тенденции, тону и требованиям нашего времени. Возможно, также, есть дополнительная причина в пользу этого метода, вытекающая из действительного расположения умов людей. С некоторых пор среди нас проявился определенный вкус, я бы даже сказал, своего рода пристрастие к фактам, к практической точке зрения и позитивной стороне человеческих дел. Мы были настолько жертвой деспотизма общих идей и теорий, и они обошлись нам во многих отношениях так дорого, что стали объектами частичного недоверия. Мы предпочитаем апеллировать к фактам, особым обстоятельствам и практическим испытаниям. И это не повод для сожаления: это новый шаг вперед, великий шаг к познанию и владычеству истины; тем не менее, мы следим за тем, чтобы эта склонность не завела нас слишком далеко, и при условии, что мы всегда помним, что только истина имеет прерогативу царствовать в мире, и что факты имеют ценность только в том случае, если они выражают ее и принимают форму по ее образцу; что все истинное величие проистекает из мысли и обязано ей своей плодотворностью. Цивилизация нашей страны имеет тот особый характер, что она никогда не испытывала недостатка в интеллектуальном величии: она всегда была богата идеями: влияние человеческого разума было велико во французском обществе, возможно, больше, чем где-либо еще. Оно не должно терять эту великолепную черту, оно не должно впадать в то несколько подчиненное и материальное состояние, которое характеризует другие общества. Интеллект и мышление все еще должны занимать во Франции по крайней мере то место, которое они занимали до сих пор.

Поэтому мы ни в коем случае не будем избегать общих и философских вопросов; мы не будем метаться в поисках их, но когда факты приведут нас к ним, мы встретимся с ними лицом к лицу без колебаний или смущения. При рассмотрении феодальной системы в ее связи с историей европейской цивилизации представится еще не один случай проявить такую смелость.

То, что феодальная система была необходимым и единственно возможным социальным государством в десятом веке, доказывается универсальностью ее установления. Везде, где прекращалось варварство, все принимало феодальную форму. В первый момент люди видели в этом только последнюю стадию хаоса. Казалось, что всякое единство и всеобщая цивилизация окончательно нарушены; общество было расчленено со всех сторон и возникло множество мелких, неясных, изолированных и непоследовательных обществ. Современникам это казалось распадом всего сущего, всеобщей анархией. И поэты, и хронисты той эпохи верили, что конец света близок. И все же это феодальное общество было настолько необходимым и неизбежным, настолько совершенным единственно возможным следствием предшествующего состояния, что все вошли в него, все приняли его форму. Даже элементы, наиболее чуждые этой системе — церковь, муниципалитеты, королевская власть — были вынуждены приспособляться к ней: церкви становились начальниками и вассалами, в городах появлялись лорды и вассалы, а королевская власть скрывалась под маской верховного господства. Все было отдано в качестве феодальных владений — не только земли, но и определенные права, например, на вырубку лесов и рыболовство: церкви отдавали свои жертвы на хранение в феодальных владениях, доходы от крещений и приобщения к церкви женщин. И точно так же, как все основные элементы общества вошли в феодальные рамки, второстепенные детали и обстоятельства обычной жизни стали ее объектами.

Наблюдая, как феодальная форма таким образом овладевает всем, мы испытываем искушение с первого взгляда поверить, что ее сущностный и жизненный принцип также имел всеобщее преобладание. Но это большая ошибка. Институты и элементы общества, которые не были аналогичны феодальной системе, не отказались от своей особой природы или принципа, хотя и заимствовали феодальную форму. Феодальная церковь не переставала в основе своей руководствоваться теократическим принципом; и чтобы придать ему преобладание, она неустанно боролась, иногда совместно с королевской властью, иногда с папой римским, а иногда и с народом, за разрушение системы, ливрею которой, так сказать, она носила. То же самое было с королевской семьей и корпорациями; первая, в сущности, продолжала руководствоваться монархическим принципом, последняя - демократическим. Несмотря на свои феодальные атрибуты, эти разнообразные элементы европейского общества постоянно стремились освободиться от формы, чуждой их природе, и принять то, что соответствовало их собственному жизненному принципу.

После демонстрации универсальности феодальной формы нам, следовательно, следует избегать вывода об универсальности феодального принципа и изучать эту систему без разбора везде, где ее внешний аспект попадает на глаза. Чтобы получить полное знание и осмысление этого, чтобы раскрыть и сформировать суждение о его воздействии на современную цивилизацию, мы должны искать его только там, где принцип и форма находятся в гармонии; мы должны созерцать его в иерархии завоевателей европейской территории. Там действительно находится феодальное общество, и я немедленно вступаю в него.

Я только что упомянул о важности моральных вопросов и необходимости их решения. Существует другой порядок соображений, совершенно противоположный тому, которым в целом слишком часто пренебрегали; я имею в виду физическое состояние общества, физические изменения, внесенные в способы существования людей новым событием, революцией в социальном государстве. Этому вопросу не всегда уделялось достаточное внимание; исследование не было в достаточной степени направлено на изменения, которые эти великие мировые кризисы произвели в материальном существовании людей и в их отношениях. Эти изменения оказывают большее влияние на общество в целом, чем обычно представляется. Всем известно, как много обсуждался вопрос о влиянии климата и какое большое значение придавал ему Монтескье. Если и обсуждать прямое влияние климата на людей, то, возможно, оно не столь обширно, как предполагается; во всяком случае, оценка расплывчата и трудна. Но косвенное влияние климата — то, которое проистекает, например, из того факта, что в жаркой стране люди живут под открытым небом, в то время как в странах с холодным климатом они запираются в жилищах и что в этих двух крайностях они поддерживают себя различными способами — приобретает чрезвычайное значение, поскольку простое изменение физической жизни оказывает мощное воздействие на цивилизацию. Теперь каждая великая революция влечет за собой изменения, о которых я упоминал, в социальном государстве, и мы обязаны уделять им большое внимание.

Установление феодальной системы привело к одному из таких серьезных изменений; оно полностью изменило распределение населения по лицу страны. Раньше хозяева территории, население-завоеватель, жили более или менее многочисленными массами, либо вели оседлый

образ жизни внутри городов, либо бродили группами по стране. Из-за феодальной системы эти люди стали жить изолированно, каждый в своем жилище, на большом расстоянии друг от друга. Это изменение курса оказало существенное влияние на характер и ход развития цивилизации. Социальное превосходство, управление обществом сразу же перешло от городов к деревне; частная собственность неизбежно приобрела большее значение, чем общественная собственность, и точно так же общественная жизнь была поглощена частной жизнью. Таков был первый эффект, чисто физический эффект триумфа феодального общества. Чем дальше мы будем исследовать это, тем больше будут раскрываться последствия этого единственного факта.

Чтобы яснее понять роль, которую играет эта система в истории цивилизации, давайте сначала рассмотрим ее в ее самой простой фазе, в ее примитивном и фундаментальном элементе; давайте рассмотрим владельца феода в его владениях и спросим, что происходит со всеми теми, кто составляет маленькое общество вокруг него.

Он обосновывается в уединенной и возвышенной местности, которую он заботится о том, чтобы сделать надежной и укрепленной; он строит там то, что мы назовем его замком. С кем он обосновывается? Со своей женой и детьми: возможно, некоторые свободные люди, которые не являются собственниками, привязаны к его персоне и продолжают жить с ним и часто бывают за его столом. Это обитатели внутренней части замка. Вокруг его основания группируется небольшая группа колонистов и крепостных, которые обрабатывают владения владельца поместья. Среди этого низшего населения религия возводит часовню, которая привлекает священника. В обычных случаях, в первый период феодального правления, этот священник был одновременно капелланом замка и викарием деревни; со временем эти два персонажа были разделены, и в каждой деревне был свой священник, который жил рядом со своей церковью. Таково было элементарное, атомарное состояние (так сказать) феодального общества. Это условие, которое мы должны исследовать в первую очередь; и мы подвергнем его двойному вопросу, который нам целесообразно адресовать ко всем фактам: что из этого привело к развитию, во—первых, *ст*, самого человека, во-вторых, *д*, общества?

Мы строго правы, подвергая это узкое общество двойному анализу и полагаясь на результат, поскольку оно является точным типом и изображением феодального общества в его полном объеме. Сеньор, жители его владений и священник представляют феодализм как в большом масштабе, так и в малом, когда он отделен от королевской власти и городов, которые были отдельными и чуждыми элементами.

Первый факт, который поражает нас при рассмотрении этого мелкого объединения, - это огромное значение, которое владелец поместья, должно быть, имел в своих собственных глазах и в глазах тех, кто его окружал. Чувство личности, индивидуальной свободы было преобладающим в жизни варваров. Но здесь дело было совершенно иным; речь шла не только о независимости мужчины или воина, но и о важности собственника, главы семьи, мастера. Из этой позиции должно было возникнуть впечатление огромного превосходства, превосходства совершенно своеобразного и сильно отличающегося от всего, что можно было заметить в ходе развития других цивилизаций. Я приведу иллюстрацию этого. Я беру за основу высокое аристократическое положение в древнем мире; например, римского патриция. Подобно феодалу, он был главой семьи, хозяином, настоятелем. Он был священником, понтификом

внутри своей семьи. Теперь его значимость как религиозного деятеля пришла к нему извне; это не было важностью чисто личной; он получил ее свыше, как представитель Божества, толкователь религиозных доктрин, связанных с этой идеей. Римский патриций был, кроме того, членом корпорации, которая была собрана в одном месте, в сенате, что придавало ему дополнительное значение, полученное извне, полученное и позаимствованное у его корпорации. Величие древних аристократов, связанное с религиозным и политическим характером, принадлежало положению, корпорации в целом, а не отдельному человеку. Статус владельца феода был чисто личным; он ни от кого ничего не получал; все его права и вся его власть исходили к нему только от него самого. Он не был религиозным судьей, он не входил ни в какой сенат; вся его важность заключалась в нем самом, в его индивидуальном "я", и всем, чем он был, он был сам по себе и в своем собственном праве. Какое огромное влияние, должно быть, оказывало такое положение на того, кто его занимал! Сколько индивидуального высокомерия, какая непомерная гордость — давайте не будем стесняться этого слова, — какая дерзость, должно быть, зародилась в его уме! Над ним не было начальника, представителем и толкователем которого он мог бы быть; рядом с ним не было равных; никакая могущественная и общая система законов не сдерживала его, никакой внешний контроль не сковывал его волю, и ничто не сдерживало его, кроме ограничения его силы и присутствия опасности. Таково было моральное воздействие ситуации на характер этого человека.

Я перехожу ко второму следствию, также имеющему важное значение и слишком мало замечаемому, — особому тону феодального семейного духа.

Давайте бросим взгляд на различные системы семьи, взяв в первую очередь патриархальную, образцом которой служат Библия и восточные летописи. Здесь семья была очень многочисленной; она образовывала целое племя. Вождь или патриарх жил сообща со своими детьми, своими ближайшими родственниками, разными поколениями, выросшими вокруг него; одним словом, со всей своей родней, вместе со своими слугами; и он не только жил с ними, но у него были те же интересы и занятия, и его существование во всем было таким же, как у них. Разве не таково было положение Авраама, всех патриархов и арабских вождей, которые до сих пор олицетворяют патриархальную жизнь?

Предлагает себя другая семейная система - *кланы*, своего рода мелкие объединения, тип которых можно найти в Шотландии и Ирландии, через которые, по всей вероятности, прошла большая часть европейского мира. Это сильно отличалось от патриархальной семьи. Существовало важное различие между положением вождя и остального населения: они не вели одинаковый образ жизни; большая часть пахала и служила, в то время как вождь был бездельником и воином. Но у них было общее происхождение, и все они носили одно и то же имя; в то время как родственные связи, старые традиции, идентичность воспоминаний и чувства привязанности устанавливали моральные узы, своего рода равенство, среди всех членов клана.

Это два основных типа семейных объединений, которые предлагает история. Но относятся ли они к феодальной семье? Конечно, нет. На первый взгляд, можно предположить некоторое сходство с кланом, но на самом деле была большая разница. Население, окружавшее владельца феода, было ему совершенно чуждо; оно не носило его имени, и между ним и ним не было никаких отношений, традиционных или моральных уз. И уж точно это была

непатриархальная семья. Владелец поместья вел не ту жизнь и не отдавался тем же трудам, что те, кто окружал его; он был пристрастен к праздности и войне, а их занятия были рабскими и тяжелыми. Феодалская семья была немногочисленна; она не образовывала племени; она включала просто семью, собственно так называемую, жену и детей, которые жили отдельно от остального населения в уединении замка. Крепостные не принимали в этом участия; их происхождение было особым, а неравенство условий - поразительным. Феодалская семья состояла из пяти или шести человек, занимавших положение одновременно превосходящее и враждебное. В таком состоянии он, несомненно, был наделен своеобразным характером. Таким образом, он был замкнутым и сосредоточенным, постоянно настороже, чтобы защитить себя, сомневаясь в самих своих слугах или, по крайней мере, изолируясь от них. Домашняя жизнь, или домашние манеры, несомненно, приобретали преобладающее влияние в этом изолированном государстве. Я хорошо понимаю, что развитие домашних манер встретило бы большие препятствия из-за жестоких пристрастий вождя и его привычки тратить время на войну и охоту. Но эти препятствия были бы преодолены; вождь, конечно, должен был бы обычно возвращаться к себе домой, и там он всегда находил бы свою жену и детей; только они должны были быть его постоянным обществом и уверенными сторонниками его интересов и проектов. При таких обстоятельствах было невозможно, чтобы домашнее существование не приобрело большого влияния. Этому есть многочисленные доказательства. Разве не в лоне феодалской семьи значение женщины получило свое грандиозное развитие! Во всех древних обществах, не считая тех, в которых дух семьи не преобладал, но даже в тех, где он был потенциальным, например, в патриархальной жизни, женщины были очень далеки от того положения, которое они приобрели в Европе при феодалской системе. Это изменение или продвижение в их положении было вызвано главным образом развитием, необходимым преобладанием домашних нравов в феодалском государстве. Причину этого искали в своеобразных манерах древних германцев, в своего рода национальном уважении, которое, как утверждается, они оказывали женщинам в своих первобытных лесах. Основываясь на фразе Тацита, немецкий патриотизм породил ткань такой высшей мягкости, такой естественной и невыразимой чистоты в отношениях двух полов среди старых немцев, что это поистине удивительно. Фразы, сходные с фразами Тацита, чувства и обычаи, аналогичные древнегерманским, встречаются в рассказах множества описателей диких или варварских народов. Результат не был обусловлен чем-то примитивным или свойственным определенной расе. Важность женщин в Европе изначально возникла из последствий ярко выраженной социальной ситуации, из прогресса и преобладания домашних манер, и само это преобладание очень рано стало существенной характеристикой феодалской системы.

Второй факт, служащий дополнительным доказательством силы семейных уз, также отличал феодалскую семью, а именно дух наследственности, стремление к вечности, которые явно преобладали в ней. Идея наследственного происхождения присуща духу семьи, но она никогда не получала такого большого развития, как в феодалской системе. Это было обусловлено характером собственности, с которой была связана семья. Феодал не был похож ни на какую другую собственность; он постоянно нуждался в владельце, который защищал бы его, оказывал ему услуги, выполнял обязательства, связанные с доменом, и таким образом поддерживал свое положение в общей ассоциации землевладельцев. Отсюда возникло своеобразное отождествление фактического владельца феодала с самим феодалом и рядом его будущих преемников.

Это обстоятельство в значительной степени способствовало укреплению и более тесным связям семейных уз, и без того столь могущественных от природы феодального государства.

Теперь я покину сеньориальную резиденцию и спущусь к тому немногочисленному населению, которое ее окружало. Здесь все выглядело совсем по-другому. Природа человека настолько счастлива, настолько открыта впечатлениям, что, когда социальная ситуация сохраняется сколь угодно долго, между теми, кого она сближает, неизбежно устанавливаются определенные моральные узы, чувства защиты, благожелательности и привязанности, какие бы условия ни препятствовали этому сближению. Так происходило в феодальной системе. Нет сомнения, что по прошествии определенного периода между крепостными и владельцем поместья сформировались определенные моральные отношения, некоторые привычки к нежному отношению, несмотря на их взаимное положение, и уж точно не вследствие этого; ибо, рассматриваемая сама по себе, ситуация была радикально порочной. С моральной точки зрения между господином и крепостными не было ничего общего; они составляли часть его владений и были его собственностью; под этим обозначением понимались все права, которые мы в настоящее время называем правами публичного суверенитета, а также привилегии частной собственности, при этом он имел право издавать законы, налагать налоги и налагать наказания, а также право распоряжаться и продавать. На самом деле, между господином и работниками в его владениях не существовало ни признанных законов, ни гарантий, ни общества, по крайней мере, в той мере, в какой это можно предположить по отношению к любому государству, в котором люди вступают в контакт.

Отсюда возникла, как я полагаю, та огромная неугасимая ненависть, которую деревенский люд во все времена питал к феодальной системе, к воспоминаниям о ней и к самому ее названию. Мы не лишены примеров того, что люди могут терпеть деспотизм, привыкать к нему и даже добровольно принимать его. Как теократический, так и монархический деспотизм не раз пользовался одобрением, почти любовью населения, которому они подчинялись. Феодальный деспотизм всегда был отталкивающим и одиозным; он тяжело влиял на судьбы, но никогда не господствовал над умами людей. Причина различия, очевидно, выводима из того факта, что власть в теократии или монархии осуществляется в силу принципов, общих для носителя и подданного; первый является представителем и распорядителем другой власти, превосходящей все человеческие силы; он говорит и действует во имя Божества или общей идеи, а не по праву самого человека и только человека. Феодальный деспотизм был полной противоположностью; он признавал власть одного индивида над другим, господство личной и капризной воли человека. Это, пожалуй, единственная тирания, которой человек, к его вечной чести, никогда бы не уступил. Всякий раз, когда он осознает, что его хозяин - всего лишь человек, как только воля, которая давит на него, оказывается всего лишь человеческой волей, подобной его собственной, он приходит в негодование и с гневом подчиняется ярму. Таков был истинный и отличительный характер феодального правления, и таково же было происхождение антипатии, которую оно никогда не переставало вызывать.

Религиозный элемент, который был связан с этим, был мало рассчитан на то, чтобы облегчить это бремя. Я не верю, что влияние священника было сколько-нибудь значительным в замкнутом обществе, которое я только что описал, и что ему в какой-либо степени удалось придать более

справедливый характер отношения между подневольным населением и господином. Церковь, несомненно, оказала важное влияние на европейскую цивилизацию, но она сделала это, действуя общим образом, воздействуя на общие настроения людей. Теперь, когда мы пристально изучаем мелкофеодальное общество, ограничивая обозначение, как я делал ранее, мы обнаруживаем, что влияние священника в отношениях между господином и крепостными почти равно нулю. В большинстве случаев он сам был таким же грубым и раболепным, как крепостной, и находился в очень плохом состоянии со слабой склонностью противостоять высокомерию вышестоящего. Мы легко можем представить, что он, единственный инструмент поддержания и развития любого рода нравственной жизни в низших слоях населения, был бы полезен им в этом отношении и привлек бы к себе некоторое внимание; он принес бы толику утешения и просвещения; но он не мог и не добился большого эффекта в своем служении.

Теперь я рассмотрел элементарное феодальное общество и выдвинул на первый план основные последствия, которые неизбежно вытекали из него, как влияющие на самого владельца феода, его семью и население, собравшееся вокруг него. Теперь мы выйдем из этого узкого круга. Население феода было не одиноко на земле; существовали и другие общества, аналогичные или отличные, с которыми оно поддерживало отношения. Таким образом, влияние этого общества в целом на цивилизацию становится нашим настоящим объектом исследования.

Прежде чем перейти к этому, я рискну сделать короткое замечание. Это правда, что владелец поместья и священник оба принадлежали к простому обществу; на расстоянии у них были многочисленные и частые связи. С крепостными было иначе: всякий раз, когда мы используем общее слово, как, например, слово "народ", для обозначения сельского населения в ту эпоху, которое передает идею общества, единого и неделимого, мы говорим неточно. Для этого населения не существовало общего общества; его существование было чисто локальным. За пределами территории, на которой они проживали, крепостные не поддерживали связей или интересов ни с одним человеком или вещью. У них не было ни общей судьбы, ни общей страны: они не составляли единого народа. Поэтому, когда мы говорим о феодальном объединении в целом, имеются в виду только владельцы феодальных владений.

Давайте посмотрим, каковы были отношения властителя изолированного общества с обществом в целом, в которое он был вовлечен, и какие последствия они оказали на развитие цивилизации.

Взаимные узы, объединявшие владельцев феодальных владений, обязанности, связанные с их пребыванием, обязательства службы с одной стороны, защиты - с другой, хорошо известны. Я не буду вдаваться в их подробности; для моей цели достаточно общего представления о них. От них неизбежно должно было исходить определенное количество идей и моральных чувств, представлений о долге и чувствах привязанности, запечатленных в уме каждого владельца. То, что принцип верности, самоотверженности, преданности обязательствам и все связанные с этим чувства развивались и поддерживались взаимными отношениями между владельцами феодальных владений, достаточно очевидно.

Была предпринята попытка преобразовать эти обязательства и чувства в права и институты. Каждому известно, что феодальная система стремилась сделать предметом правового регулирования услуги, которые владелец феода оказывал своему начальнику, и те, которые он

мог требовать взамен, случаи, в которых вассал мог быть призван своим сюзереном за военной или денежной помощью, и формы, в которых он мог получить согласие своих вассалов на услуги, к которым они не были связаны владением своими феодальными владениями. Они попытались поставить все эти права под гарантии институтов, призванных обеспечить уважение. Таким образом, сеньориальные юрисдикции были предназначены для отправления правосудия между владельцами феодальных владений после обращения к их общему сюзерену. Точно так же каждый значительный лорд собирал своих вассалов в парламент, чтобы обсуждать с ними дела, которые требовали их согласия или сотрудничества. Фактически, существовало сочетание политических, судебных и военных методов, с помощью которых они стремились организовать феодальную систему и преобразовать отношения владельцев феодальных владений в права и институты.

Но эти права и институты не имели никакой существенности или гарантий.

Когда нас спрашивают, в чем состоит политическая гарантия, мы вынуждены признать, что ее фундаментальный характер заключается в постоянном присутствии в обществе силы, склонной и обусловленной навязывать закон индивидуальной воле и власти и принуждать их соблюдать правила, установленные для всех, и уважать общие права.

Существуют только две возможные системы политических гарантий. Либо требуется какая-то особая воля или сила, настолько превосходящая все остальные, что никто не может ей противостоять, и которой все обязаны подчиняться, когда она вмешивается; либо общественная сила и воля, являющиеся результатом совпадения и демонстрации индивидуальных волей, должны быть в таком состоянии, когда они достаточно развиты, чтобы внушать страх и подчинение всем.

Следовательно, деспотизм отдельного человека или организации или свободное правительство - это единственно две возможные системы политических гарантий. Когда мы перейдем к рассмотрению различных форм правления, мы обнаружим, что все они могут быть распределены в рамках той или иной из этих систем.

Но ни того, ни другого не существовало и не могло существовать в феодальном государстве.

Однако не все владельцы феодальных владений были равны между собой, ибо многие из них были достаточно могущественны, чтобы угнетать более слабых. Но не было ни одного, даже если взять короля, первого из сюзеренов, который был в состоянии навязать закон всем остальным и добиться повиновения. Не хватало всех постоянных средств власти и действий; не существовало ни постоянных войск, ни сборов, ни трибуналов. Каждый раз, когда обращались за помощью к социальным силам и институтам, они требовали нового начала, так сказать, нового созидания. Трибуналы должны были создаваться на каждом процессе, армия - когда война была неизбежна, налоговый орган - когда потребность в деньгах была острой: все было случайным и просто приспособлено для особых нужд: все пружины центрального, стабильного и независимого правительства были недостаточны. В такой системе совершенно ясно, что ни один индивид не был в состоянии сделать свою волю правилом для других или добиться того, чтобы общий закон соблюдался всеми.

С другой стороны, сопротивление было столь же легким, сколь трудными были репрессии. Владелец феода мог защищаться с большой легкостью, запершись в своем жилище, имея лишь небольшое количество врагов, которым можно было противостоять, и множество средств для формирования коалиций и получения помощи от вассалов, оказавшихся в такой же ситуации, как и он сам.

Следовательно, первая система политических гарантий, а именно та, которая вверяла их вмешательству одной преобладающей силы, была явно невозможна в феодальном государстве.

О другой системе, системе свободного правления, общественной власти и принуждения, также не могло быть и речи; она никогда не смогла бы укорениться в условиях феодализма. Это произошло по очень простой причине. Когда мы говорим в наши дни о публичной власти и о том, что мы называем правами суверенитета, а именно правами на законодательство, налогообложение и наказание, мы знаем и чувствуем, что они не принадлежат какому-либо отдельному лицу и что ни одно лицо не имеет прерогативы, исходящей только от него самого, наказывать других или налагать на них бремя или закон. Это привилегии, которые даны только обществу как массе, осуществляются от его имени и удерживаются не от него самого, а передаются от более высокого влияния. Поэтому, когда человек предстает перед властью, облеченной этими правами, у него непреодолимо и, возможно, невольно возникает ощущение, что он находится перед общественным и законным судом, на который возложена миссия командовать им, которой он мысленно и немедленно подчиняется. Теперь, в феодальной системе, напротив, владелец феода был наделен всеми правами суверенитета в своем домене и над людьми, населяющими его; они были неотъемлемы от домена и являлись предметом частной собственности — настолько, что прерогативы, ныне признанные общественными, тогда были частными, и публичные полномочия присваивались в равной степени. Когда владелец феода, привыкший осуществлять суверенитет от своего имени и по праву собственности над всем населением, среди которого он жил, посещал собрание или парламент, созываемый своим сюзереном, — парламент, как правило, немногочисленный и состоящий из равных ему или тех, кто был близок к ним, — он не нес ни в себе, ни из себя идею общественной власти. Такая идея противоречила всему его существованию и всему тому, что он привык делать внутри своих владений. Он видел в этом собрании только людей, наделенных теми же правами, что и он, находящихся в том же положении, что и он, и действующих, как и он, в силу личной воли. Ничто не привело и не заставило его признать в самой высокопоставленной части правительства или в институтах, ныне известных как общественные, тот высший и всеобщий характер, который присущ идее, которую мы разделяем о политической власти. И если он был недоволен решением, он отказывался согласиться с ним или апеллировал к силе, чтобы противостоять ему.

На самом деле сила была истинной и привычной гарантией прав в феодальной системе, если можно назвать силу гарантией. Единственным средством добиться признания и уважения прав было постоянное применение силы. Ни один институт не помогал; и это ощущалось настолько отчетливо, что на институты перестали ссылаться. Если бы сеньориальные суды и феодальные парламенты были вынуждены действовать, они были бы гораздо более энергичными и частыми, чем это представляет история: их редкость доказывает их бесполезность.

Нам не нужно удивляться такому результату, поскольку он проистекал из причин еще более глубоких и решающих, чем те, которые я только что указал.

Из всех систем правления и политических гарантий, несомненно, наиболее трудной для установления и обеспечения стабильности является федеративная; эта система, которая заключается в том, чтобы оставить за каждой местностью и конкретным обществом всю ту часть управляющей власти, которая возможно может в нем сохраниться, и убрать только ту часть, которая необходима для поддержания общества в целом, чтобы сформировать на ее основе, в сердце этого общества, центральное правительство. На самом деле федеральная система, хотя и логически самая простая, на самом деле является самой сложной. Чтобы согласовать степень местной независимости и свободы, которую он оставляет в силе, со степенью общего порядка и подчинения, которых он требует и предполагает в определенных случаях, очевидно, требуется очень развитая цивилизация: абсолютно необходимо, чтобы склонности людей и индивидуальный выбор содействовали установлению и поддержанию системы гораздо больше, чем в любой другой, поскольку средства принуждения намного хуже.

Таким образом, федеральная система - это система, которая, безусловно, требует высочайшего развития разума, морали и цивилизации в обществе, для которого она предназначена. И все же именно такую систему пытался установить феодализм, поскольку в своих общих чертах это была настоящая федерация. Она основывалась на тех же принципах, что и те, на которых в настоящее время основана конфедерация Соединенных Штатов Америки. Предполагалось возложить на каждого лорда все управление и суверенитет, которыми он мог обладать, и наделить сюзерена или генеральную ассамблею баронов минимально возможной долей власти, и это только в тех случаях, когда это было абсолютно необходимо. Невозможность установления такой системы среди невежества, жестоких страстей и несовершенного морального состояния людей, существующих при феодальном режиме, не может вызывать сомнений. Сама природа такого правительства была совершенно противоположна нравам людей, к которым оно должно было применяться. Кого же тогда можно удивить провалом этих попыток организации!

Теперь мы рассмотрели феодальное общество, сначала в его наиболее простом и фундаментальном элементе, а затем во всей его полноте. В рамках этих двух аспектов мы попытались проследить, каким должно было быть его необходимое и естественное влияние на ход развития цивилизации. Как я понимаю, мы пришли к этому двойному результату:

1^{ст}, феодализм оказал значительное и, в целом, благотворное влияние на внутреннее развитие личности; он возбудил в умах людей энергичные идеи и чувства, моральные потребности и прекрасные проявления характера и страстей.

2^и, с социальной точки зрения, ей не удалось установить ни правовой порядок, ни политические гарантии. Это была система, необходимая для того, чтобы дать новое начало в Европе обществу, настолько разрушенному варварством, что оно было неспособно принять более регулярную или расширенную форму, а феодальная форма, радикально плохая сама по себе, не могла быть ни приведена к регулярности, ни расширена. Единственное политическое право, которому феодальная система придала преобладание в европейском обществе, - это право на сопротивление. Я не говорю о правовом сопротивлении, поскольку это не могло стать вопросом в столь малоразвитом обществе. Только общественный прогресс приводит к замене индивидуальной воли, с одной стороны, публичными полномочиями, а с другой - юридическим сопротивлением, оказываемым конкретными лицами. В этом великая цель и главное

совершенство социального порядка: личной свободе предоставлена значительная свобода действий, и когда эта свобода терпит крах и сводится к защите своей законности, можно апеллировать только к общественному разуму, чтобы разрешить процесс, возбужденный против индивидуальной свободы. Такова система правового порядка и правового сопротивления. При феодальной системе, конечно, не было ничего подобного. Право на сопротивление, поддерживаемое и практикуемое феодальным правом, было правом личного сопротивления — ужасным и антиобщественным правом, поскольку это призыв к силе, к войне, которая является разрушением самого общества; но, тем не менее, это право, которое никогда не может быть полностью уничтожено в человеческом сознании, поскольку его отмена была бы признанием рабства. Чувство права на сопротивление погибло во время разложения римского общества, и его нельзя было поднять из его пепла; как я полагаю, оно не могло возникнуть естественным образом из принципов христианского общества. Таким образом, феодализм привнес это в нравы Европы. К чести цивилизации - делать ее всегда активной или бездействующей, в то время как к чести феодальной системы - постоянно исповедовать и утверждать ее.

Таков, если я не ошибаюсь, результат исследования феодального общества, рассматриваемого само по себе и в его общих элементах, независимо от исторического развития. Если мы обратимся к фактам, к истории, мы обнаружим, что все произошло так, как было предначертано, что феодальный режим осуществил то, что он должен был сделать, и что его судьба соответствовала его природе. События могут быть приведены в подтверждение всех догадок и предположений, которые я вывел из самой природы этой системы.

Давайте бросим взгляд на общую историю феодализма с десятого по тринадцатый век. Невозможно закрывать глаза на тот факт, что это оказало огромное и благотворное влияние на индивидуальное развитие человека, на его чувства, характер и идеи. Мы не можем открыть историю того периода, не столкнувшись с множеством благородных чувств, великих деяний и приятных проявлений человечности, которые, очевидно, проистекали из внутреннего характера феодальных нравов. Это правда, рыцарство не похоже на феодализм, и все же оно его дочь. Именно из феодализма пришли первые представления об этих возвышенных, великодушных и верных чувствах.

Опять же, с другой точки зрения, первый всплеск европейского воображения, первые занятия поэзией и литературой, первые интеллектуальные удовольствия, которые вкусила Европа после избавления от варварства, поощрялись и лелеялись феодальным духом и были рождены в укромных уголках замков. Для такого рода развития человечества требуется движение в уме и в жизни, досуг - тысяча условий, которые не могут быть выполнены в тяжелом, унылом и грубом существовании простых людей. Следовательно, именно с феодальными временами во Франции, Англии и Германии связаны первые литературные воспоминания, первые интеллектуальные наслаждения Европы.

В свою очередь, если мы исследуем историю социального влияния феодализма, она покажет нам, согласно нашим предположениям, что ему повсюду противодействовали, как установлению общего порядка, так и распространению всеобщей свободы. В какой бы области мы ни рассматривали общественный прогресс, мы обнаружим, что феодальная система является препятствием. С первого периода его существования мы видим две силы, которые были великими рычагами в развитии порядка и свободы, монархическую власть, с одной

стороны, и народную власть, с другой, королевская власть и народ нападают на него и непрестанно борются с ним. В разные эпохи предпринимались некоторые попытки придать ему регулярность, привести его к некоторому юридическому и всеобщему состоянию; как, например, в Англии Вильгельмом Завоевателем и его сыновьями, во Франции Людовиком Святым и в Германии несколькими императорами. Но все испытания и попытки провалились, ибо сама природа феодального общества была противна порядку и законности. В наше время некоторые изобретательные люди попытались нарядить феодализм как социальную систему и придать ему законную, регулярную и прогрессивную форму: они превратили его в золотой век. Но если их попросить привести свои доказательства, указать место или время для этой Утопии, они не смогут этого сделать; ибо они представляли бы драму, для которой в прошлом не было ни театра, ни актеров. Причину этой ошибки легко обнаружить, и она в равной степени объясняет противоположную ошибку тех, кто не может принять идею феодальной системы без абсолютного отвращения. Обе стороны не смогли принять во внимание двойной аспект, в котором феодализм представляет себя: различать, с одной стороны, его влияние на индивидуальное развитие человека, на его характер, чувства и страсти; и, с другой стороны, его влияние на социальное государство. Первые не в состоянии представить, что социальная система должна быть так полна зла и так фатальна, как утверждается, в которой обнаруживаются такие возвышенные чувства и так много добродетелей, в которой, как они видят, литература пускает корни, а манеры приобретают определенную возвышенность и достоинство. Другие видят только зло, причиняемое феодализмом массе населения, и препятствия, создаваемые им для установления порядка и свободы, и не желают верить, что благородные характеристики, великие добродетели или какое-либо продвижение вообще произошли от него. Оба упустили из виду двойной элемент цивилизации и забыли, что она состоит из двух событий, одно из которых может произойти с течением времени независимо от другого; хотя по прошествии многих веков и длинной череды событий они должны взаимно вызывать и порождать друг друга.

В заключение, чем была феодальная система и что она осуществляла, необходимо было быть и осуществлять. Индивидуальность, личное существование в полной энергии, было преобладающей чертой среди завоевателей римского мира, и поэтому развитие индивидуальности неизбежно вытекало из основанной ими социальной системы. То, что сам человек несет с собой в социальную систему, когда он вступает в нее, его внутренние и моральные установки, сильно влияют на ситуацию, в которой он находится. Ситуация, в свою очередь, влияет на диспозиции, укрепляет и развивает их. В немецком обществе доминировал индивид; следовательно, феодальная система, порождение немецкой, оказывала свое влияние на развитие личности. Тот же факт замечен в различных элементах цивилизации. Они остались верны своим первоначальным принципам; они продвинулись вперед по тому пути, по которому они впервые вступили. В следующей лекции, которая будет охватывать историю церкви с пятого по двенадцатый век и ее влияние на европейскую цивилизацию, будет приведен новый и поразительный пример.

Лекция V.

Церковь с Пятого по двенадцатый век.

Рассмотрев природу и влияние феодальной системы, мы затем переходим к вопросу о христианской церкви с пятого по двенадцатый век; о *церкви*, как я уже однажды отмечал, потому что я намереваюсь говорить не о христианстве в собственном смысле этого слова, не о христианстве как религиозной системе, а о церкви, о христианском духовенстве как церковном обществе.

В пятом веке это общество было почти полностью организовано. Конечно, с тех пор она претерпела множество важных изменений, но можно утверждать, что церковь, рассматриваемая как корпорация и правительство христианского народа, обрела полное и независимое существование.

Достаточно одного взгляда, чтобы заметить огромную разницу между состоянием церкви в пятом веке и состоянием других элементов европейской цивилизации. В качестве фундаментальных элементов нашей цивилизации я выделил муниципальную и феодальную системы, королевскую власть и церковь. В ту эпоху муниципальная система была всего лишь пережитком Римской империи, безжизненной и бесформенной тенью. Феодальная система не возникла из хаоса. Королевская власть существовала, но номинально. Все гражданские элементы современного общества находились в упадке или находились в зачаточном состоянии. Только церковь была одновременно молодой и организованной; только она приобрела окончательную форму и сохранила всю силу своих первых веков; только она обладала принципом движения и порядка, энергией и системой - двумя великими инструментами влияния. Разве, спрашиваю я, не благодаря моральному действию, внутреннему движению, с одной стороны, и порядку и дисциплине, с другой, институты прививаются в обществах? Кроме того, церковь подняла все великие вопросы, которые интересуют людей; все проблемы, касающиеся человеческой природы, и все шансы человеческой судьбы были предметом ее обсуждения. Таким образом, его влияние на современную цивилизацию было очень велико, возможно, гораздо больше, чем это сделали его самые горячие противники или самые рьяные защитники. Они, занятые служением ему или противодействием, рассматривали его только с полемической точки зрения и были неспособны, как я полагаю, судить о нем беспристрастно или измерить его во всем его объеме.

Церковь пятого века представляет себя как независимое и организованное общество, стоящее между хозяевами и суверенами мира, обладателями мирской власти, с одной стороны, и людьми, с другой, служащее связующим звеном между ними и действующее на всех.

Следовательно, чтобы установить и в совершенстве понять его действие, мы должны рассматривать его в трех аспектах. Мы должны прежде всего рассмотреть его самого по себе и принять во внимание, что это было, его внутреннее устройство, принципы, которые преобладали в нем, его природу; затем исследовать его в его отношениях со светскими суверенами, королями, лордами или другими; и, наконец, в его отношениях с людьми. И когда из этого тройного исследования мы составим полное представление о церкви, о ее принципах, положении и влиянии, которое ей было суждено оказывать, мы проверим наши рассуждения

историей, или, другими словами, мы выясним, соответствуют ли факты, должным образом так называемые, результатам, к которым привело нас изучение церкви и ее различных отношений.

Итак, прежде всего о церкви самой по себе, о ее внутреннем состоянии, о ее природе.

Первым впечатляющим фактом и, возможно, самым важным является само его существование — существование правительства, основанного на религии, духовенства, церковной корпорации, жречества, религии в жреческом государстве.

Очень многим просветленным людям одни только эти слова - группа священников, жречество, правительство, основанное на религии, - кажутся решающими в этом вопросе. Они придерживаются мнения, что религия, которая подействовала на группу священников, на духовенство, придерживающееся правовой конституции, на религию, фактически находящуюся под управлением, оказывает влияние, взятое в целом, скорее вредное, чем благотворное. Согласно их идее, религия - это чисто индивидуальное дело между человеком и Богом; и всякий раз, когда она теряет этот характер и между индивидом и объектом его религиозного вероучения, то есть Всемогушим, устанавливается внешний авторитет, религия подвергается фальсификации, а общество подвергается опасности.

Изучение этого вопроса возложено на нас. Чтобы узнать о влиянии, оказываемом христианской церковью, необходимо иметь четкое представление о том, каким должно быть влияние церкви или группы духовенства, исходя из природы самого института. Чтобы достичь этой цели, нам надлежит приступить к предварительному исследованию того, является ли религия на самом деле чисто индивидуальной. провоцирует ли это и порождает ли не что иное, как внутреннюю связь между каждым человеком и Богом? или это по необходимости становится источником новых отношений между людьми, из которых неизбежно вытекают религиозное общество и правительство для этого общества?

Если религию свести к собственно религиозному чувству, к этому чувству, безусловно, вполне реальному, но все же несколько расплывчатому и неопределенному в своем объекте, которое мы не можем охарактеризовать иначе, как простым упоминанием; к тому чувству, которое обращается иногда к внешней природе, иногда к тончайшим эмоциям души, то к поэтическим излияниям, то к тайнам будущего, которое неповторимо колеблется, повсюду ищет удовлетворения и нигде не фиксируется; если религия ограничиться этим чувством, то, говоря я, оно должно, в моем понимании, оставаться чисто индивидуальным. Такое чувство действительно может вызвать мимолетное объединение среди людей; оно может и фактически должно получать удовольствие от сочувствия, питаться и укрепляться им. Но из-за своей неустойчивой природы оно неспособно стать принципом постоянной и расширенной ассоциации или приспособиться к какой-либо системе предписаний, обрядов и форм; одним словом, дать начало религиозному обществу и правительству.

Но я странным образом виноват, если это религиозное чувство дает полное выражение всей религиозной природе человека. Согласно моему представлению, религия - это гораздо больше.

В природе человека и в человеческой судьбе есть проблемы, решение которых находится за пределами этого мира, которые связаны с порядком вещей, неизвестным видимому творению, но которые неудержимо терзают умы людей и которые они абсолютно стремятся разрешить.

Решение этих проблем с помощью вероучений и догм, которые содержат их или, по крайней мере, заявляют, что содержат, является первой целью и первым источником религии.

К нему ведет человечество еще один путь. Тем, кто в какой-то степени изучал философию, я полагаю, достаточно ясно, что мораль существует независимо от религиозных идей; что различие между добром и злом в морали и обязанность избегать зла и творить добро - это законы, которые человек признает в своей собственной природе в той же степени, что и законы логики, поскольку их принцип присущ ему самому и они применяются в его реальной жизни. Но когда эти факты установлены, а мораль наделена независимостью, в человеческом понимании возникает вопрос— откуда берется мораль? — куда она ведет? Является ли это обязательство творить добро, существующее само по себе, изолированным фактом, не имеющим автора или цели? Разве это не скрывает или, скорее, не открывает человеку происхождение и предназначение, которые не от мира сего? Это спонтанный, неизбежный вопрос, и именно с его помощью мораль, в свою очередь, подводит человека к порогу религии и открывает ему сферу, из которой он изначально ее не получал.

Таким образом, с одной стороны, проблемы, касающиеся нашей природы, с другой - необходимость искать для морали санкцию, происхождение и цель - являются плодотворными и надежными источниками религии. Следовательно, оно предстает во многих других аспектах, отличных от чистого чувства, такого, как я описал: оно предстает как целое, объединяющее, 1*ст*, Доктрины, вызванные проблемами, которые окружают самого человека; 2*d*, Предписания, соответствующие этим доктринам и придающие смысл и санкцию естественной морали; и, 3*d*, Обещания, обращенные к надеждам человечества на будущее. Это то, что действительно составляет религию, и таковой она является в основе своей, а не простым выражением чувствительности, всплеском воображения или разнообразием поэтического вдохновения.

Таким образом, доведенная до своих истинных элементов, до своей сущности, религия больше не предстает как дело сугубо индивидуальное, но как мощный и плодотворный принцип объединения. Сначала примите это как систему вероучений и догм. Истина не принадлежит никому в отдельности; она универсальна и абсолютна; люди должны искать и исповедовать ее сообща. Затем, что касается предписаний, связанных с доктринами: обязательный закон для одного человека является обязательным для всех; он должен быть обнародован, и все люди должны быть подчинены его власти. Наконец, что касается обещаний, которые дает религия под эгидой своих вероучений и заповедей: они должны быть распространены повсюду, и все должны быть призваны насладиться их благословением. Следовательно, именно из существенных элементов религии возникает религиозное общество; и это настолько безошибочно вытекает из них, что слово "прозелитизм", которое особенно применяется к религиозным верованиям и, кажется, посвящено почти исключительно им, все еще является тем, что выражает самое сильное из социальных чувств, это непрекращающееся стремление распространять идеи и расширять возможности любого конкретного общества.

Когда однажды заложены зародыши религиозного общества, то есть когда определенное количество людей объединено общими религиозными догмами, законом общих религиозных предписаний и общими религиозными надеждами, для них необходимо правительство. Ни одно

общество не может просуществовать неделю, даже час, без правительства. В тот самый момент, когда формируется общество, и самим фактом своего формирования оно призывает правительство провозгласить общую истину, скрепляющую общество, и обнародовать и поддерживать предписания, которые эта истина может выявить. Необходимость власти или правления над религиозным обществом, как и над любым другим, подразумевается самим фактом существования общества. И правительство не только абсолютно необходимо, но и формируется естественным образом. Я не могу долго задерживаться на объяснении того, как создается и утверждается правительство в обществе в целом; я ограничусь замечанием, что, когда вещи следуют своим естественным законам, когда сила не играет никакой роли, власть переходит к наиболее способным, к лучшим, к тем, кто приведет общество к его цели. Планируется ли военная экспедиция? Власть возьмут в свои руки самые отважные. Имеет ли ассоциация в виду какое-то искусное расследование или предприятие? Наиболее квалифицированные достигнут мастерства. Во всех случаях, когда мир предоставлен своему естественному течению, естественное неравенство людей свободно проявляется, и каждый занимает то место, которое он способен занять. И в религиозном отношении люди не более равны по талантам, силам и способностям, чем в других отношениях: такой человек будет более способен, чем другой, пролить свет на религиозные доктрины и сделать их общепринятыми; другой получит от себя больше полномочий для обеспечения соблюдения религиозных предписаний; а кто-то другой преуспеет в поддержании и возвышении эмоций разума и религиозных надежд. Следовательно, то же неравенство в способностях и влиянии, которое порождает власть в гражданском обществе, в равной степени является ее причиной и в религиозном. Миссионеры выступают и заявляют о себе, подобно генералам. Таким образом, как, с одной стороны, религиозное правление неизбежно вытекает из природы религиозного общества, так и, с другой стороны, его развитие также совершенно естественно благодаря простому проявлению человеческих способностей и их неравномерному распределению. Следовательно, как только религия насаждается в человеке, формируется религиозное общество; и как только появляется религиозное общество, оно создает свое правительство.

Но здесь возникает фундаментальное возражение из-за отсутствия чего-либо, что можно предписывать и налагать, и из-за того, что ничто принудительное не является законным. Что на самом деле у правительства нет никаких возможностей, поскольку свобода должна существовать неограниченно.

Я полагаю, что представление о правительстве исключительно или даже в отношении силы, которую оно проявляет для обеспечения повиновения, заключается в его принудительном элементе.

Я оставляю религиозную точку зрения и принимаю гражданское правление, следуя простому ходу событий. Общество существует: есть что делать, несмотря ни на что, в его интересах или от его имени; есть закон, который нужно издать, мера, которую нужно принять, или приговор, который нужно вынести. Совершенно несомненно, что также существует хороший закон, который нужно принять, хорошее решение, которому нужно следовать, и хорошее суждение, которое нужно вынести. Каким бы ни был обсуждаемый предмет или затронутый интерес, во всех случаях необходимо знать истину, которая должна определять поведение.

Первым актом правительства является поиск этой истины и выяснение того, что справедливо и разумно, и что подходит обществу. Когда он находит это, он провозглашает это. Затем он

должен попытаться внушить умам тех, на кого он должен воздействовать, что это правильно, чтобы получить их одобрение и молчаливое согласие. Есть ли во всем этом что-то принудительное? Конечно, нет. Теперь предположим, что истина, которая должна решить дело, какой бы она ни была, обнаружена и провозглашена, что все понимания немедленно подтверждены, все склонности определены, что все повсеместно признают правоту правительства и добровольно подчиняются ему; по-прежнему нет принуждения, нет необходимости в применении силы. Но следует ли из этого делать вывод, что правительства не существовало, что, по сути, никакого правительства не было? Совершенно очевидно, что правительство было, и оно выполнило свою истинную задачу. Принуждение возникает только тогда, когда проявляется сопротивление индивидуальной воли, когда идея или мера, принятые правительством, не находят всеобщего одобрения или добровольного подчинения. Затем правительство применяет силу, чтобы заставить подчиняться себе, что является необходимым результатом человеческого несовершенства, несовершенства, присущего одновременно как руководящей власти, так и обществу. Никогда не будет никаких средств для того, чтобы полностью избежать этого; гражданские правительства всегда будут вынуждены прибегать к нему в определенной степени. Но, конечно, принуждение не составляет их сущности; всякий раз, когда они могут обойтись без него, они делают это к великой пользе для всех, и их высшее состояние совершенства - отказаться от него и полагаться на чисто моральные средства, на влияние, оказываемое на разум людей; настолько, что чем больше правительство отходит от принуждения, тем вернее оно своей истинной природе и тем лучше достигает своей цели. Следовательно, оно не занижено и не чрезмерно сужено, как принято вульгарно повторять; оно действует другим образом, и этот способ бесконечно более общий и мощный. Те правительства, которые применяют наибольшее принуждение, производят гораздо меньший эффект, чем те, которые его не применяют. Обращаясь к здравому смыслу, убеждая в свободе воли, действуя чисто интеллектуальными средствами, правительство, вместо того чтобы опускаться, расширяется и возвышается, и именно при таких обстоятельствах оно совершает свои величайшие поступки. Напротив, именно тогда, когда оно вынуждено постоянно применять принуждение, оно сжимается, производит очень мало эффекта, и это немного очень плохо.

Таким образом, сущность правительства далека от того, чтобы заключаться в принуждении или применении силы. То, что составляет ее наиболее конкретно, - это система средств и полномочий, основанная на принципе истинного поиска того, что следует делать в каждом конкретном случае, открытия истины, которая должна управлять обществом, чтобы впоследствии она могла проникнуть в умы людей и обеспечить их добровольное и свободное принятие. Таким образом, необходимость и существование правительства вполне мыслимы, даже когда нет никаких возможностей для принуждения или когда оно абсолютно запрещено.

Так вот, это именно правительство религиозного общества. Несомненно, что принуждение в нем запрещено, поскольку, поскольку его единственной территорией является человеческая совесть, применение силы, несомненно, незаконно, какова бы ни была поставленная цель; но от этого оно не перестает существовать и на нем не становится меньше обязанности выполнять все те вещи, о которых говорилось ранее. Надлежит усердно искать религиозные доктрины, которые решают проблемы, связанные с судьбой человека, или, если уже существует общая система догматов веры, в которой решаются эти проблемы, то в каждом конкретном случае раскрывать и выставлять в полном свете постановления системы; она должна провозглашать и обеспечивать соблюдение предписаний, соответствующих ее доктринам, и она должна проповедовать и разъяснять их, а когда общество отступит от них, отозвать его обратно. Но

ничего обязательного; просто исследование, проповедь и разъяснение религиозных истин; в случае необходимости - увещания и порицания. В этом заключается задача, а также долг религиозного правительства. Если полностью исключить из поля зрения принуждение, то, тем не менее, все существенные вопросы, касающиеся организации правительства, возникают и требуют решения. Например, вопрос о том, необходим ли орган религиозных магистратов или можно ли доверять религиозному вдохновению отдельных людей? — вопрос, который является спорным между большинством религиозных обществ и квакерами, — это вопрос, который всегда будет существовать и всегда должен требовать обсуждения. Точно так же возникает вопрос, следует ли, когда будет решено, что необходим орган религиозных магистратов, отдавать предпочтение системе равенства, при которой служители религии равны между собой и действуют сообща, или иерархическому устройству с различными степенями власти? Это тот, который никогда не прекратится просто из-за того, что церковным магистратам отказано во всякой принудительной власти, какой бы ни была их деноминация. Следовательно, вместо того, чтобы добиваться роспуска религиозного общества, чтобы получить право уничтожить религиозное правительство, мы обязаны помнить, что религиозное общество формируется в естественном порядке вещей, и что правительство столь же естественно вытекает из общества; и что реальная проблема, которую необходимо решить, состоит в том, чтобы определить, на каких условиях это правительство должно существовать, и каковы основы, принципы, условия его легитимности. Это истинное расследование, которого требует необходимое существование религиозного правительства, как и любого другого.

Теперь условия легитимности для правительства религиозного общества такие же, как и для любого другого. Их можно свести к двум: первое, что власть переходит и постоянно остается в руках лучших и наиболее способных, по крайней мере, настолько, насколько это практически возможно при несовершенстве человеческих дел; что люди, законно стоящие выше, рассеянные по всему обществу, разыскиваются, выдвигаются вперед и призваны устанавливать социальные законы и осуществлять власть; второе, что власть, законно учрежденная, уважает законные свободы тех, над кем она осуществляется. Хорошая система формирования и организации власти и хорошая система гарантий свободы - это два условия, которые подразумевают добротность правительства в целом, религиозного или гражданского. Обо всех них следует судить по этому двойственному критерию.

Следовательно, вместо того, чтобы настаивать на его существовании как на поношении церкви или правительства христианского мира, мы обязаны исследовать, как оно было создано и соответствовали ли его принципы двум основным условиям всякого хорошего правительства. Давайте рассмотрим церковь в этом двойном аспекте.

Что касается создания и передачи власти в церкви, то в отношении христианского духовенства часто используется слово, от которого я хочу отказаться, а именно, название *касты*. Церковных магистратов часто называли кастой. Это выражение далеко не справедливо, поскольку идея наследственного происхождения присуща идее касты. Если мы возьмем страны, в которых возникла система каст, Индию и Египет, мы обнаружим, что она была по существу наследственной, передача одного и того же положения и власти от отца к сыну. Там, где не преобладал наследственный принцип, не преобладала и каста, но существовала корпорация. Дух, зарождающийся в устоявшемся теле, имеет свои пагубные последствия, но он совершенно

отличается от духа, проистекающего из системы каст. Слово "каста" вообще не может быть применено к христианской церкви. Безбрачие священников не позволило христианскому духовенству превратиться в касту.

Последствия этого различия значительны. К кастовой системе, к факту наследственного происхождения неизбежно прилагается монополия. Само определение этого слова доказывает это. Когда одни и те же функции и полномочия становятся наследственными в одних и тех же семьях, ясно, что передается исключительная привилегия и что никто не может приобрести эти функции или полномочия независимо от своего происхождения. Таков, по сути, был результат; ибо там, где религиозное правление попадало в руки касты, оно становилось вопросом привилегий, и в него не входил никто, кроме тех, кто происходил из семей касты. Но ничего подобного в христианской церкви не встречается, и, действительно, до сих пор церковь придерживалась принципа равной допустимости всех людей, независимо от их происхождения, ко всем своим обвинениям и достоинствам. Церковная карьера, особенно с пятого по двенадцатый век, была открыта для всех. Церковь набиралась из всех слоев общества, как из низших, так и из высших, и чаще всего, действительно, из низших. Все рушилось вокруг нее под влиянием исключительной системы; она одна поддерживала принцип равенства и честной конкуренции и призывала обладателей законного превосходства к приходу к власти. Это было первым великим последствием, естественным образом возникшим из-за того, что это было тело, а не каста.

Опять же, кастам присущ дух неизменности или застоя. Это утверждение не нуждается в доказательствах. Вся история учит нас, что дух застоя овладел всеми обществами, политическими или религиозными, в которых преобладала кастовая система. Страх перемен или прогресса, безусловно, был привнесен в христианскую церковь в определенную эпоху и до определенного момента. Но мы не можем сказать, что она преобладала, как и не можем утверждать, что церковь оставалась непоколебимой и неподвижной: на протяжении многих веков она находилась в движении и прогрессировала, иногда стимулируемая нападками внешней оппозиции, иногда подталкиваемая изнутри необходимостью внутренней реформы и развития. В целом, это общество, которое постоянно менялось и прогрессировало, и история которого отмечена соответствующими характеристиками. В нем, без сомнения, признается, что огульное привлечение всех людей к церковным обязанностям и постоянное пополнение церкви на основе принципа равенства мощно помогали поддерживать и непрестанно возрождать ее активность и энергию, а также предотвращать торжество неизменного или косного духа.

Как церковь, таким образом, допуская всех людей к власти, была уверена в справедливости их притязаний? Как она обнаружила и извлекла из мрака масс тех законно высших духов, которые имели право участвовать в управлении государством?

В церкви были сильны два принципа: во-первых, избрание низших высшими, право выбора и выдвижения, осуществляемое последними; во-вторых, избрание высших подчиненными, собственно такое избрание, каким мы его считаем в наши дни.

Рукоположение в священники, например, способность делать человека священником, принадлежала только вышестоящему; выбор осуществлялся вышестоящим по отношению к нижестоящему. Точно так же в отношении предоставления определенных церковных льгот, среди других льгот, связанных с феодальными пожалованиями, именно настоятель, будь то король, папа или лорд, назначал должностное лицо. В других случаях действовал принцип

собственно выборов. Епископы долгое время и часто избирались в эпоху, которая сейчас привлекает наше внимание, духовенством, и конгрегации даже иногда вмешивались. В клуатрах монастырей настоятель избирался монахами. В Риме папа избирался коллегией кардиналов, а раньше в этом выдвижении принимало участие все римское духовенство. Таким образом, мы находим, что эти два принципа, выбор низшего вышестоящим и избрание вышестоящего подчиненными, признаны и действуют в церкви, особенно в рассматриваемую эпоху, и именно с помощью того или другого из этих средств она создавала людей, призванных осуществлять часть церковной власти.

Сосуществование двух столь существенно отличающихся принципов сопровождалось борьбой за господство. После многих веков и превратностей в христианской церкви возобладало назначение низших высшими. Но в целом это был другой принцип, выбор начальника подчиненными, который преобладал с пятого по двенадцатый век. Нет причин удивляться сосуществованию двух столь различных принципов; ибо, глядя на общество в целом, на естественный ход вещей и на то, каким образом власть передается в мире, бесспорно, что эта передача осуществляется иногда в соответствии с одним из этих способов, а иногда в соответствии с другим. Церковь не изобретала их; она нашла их в провиденциальном устройстве человеческих вещей и оттуда позаимствовала их. В каждом режиме есть много здравого смысла и полезности, и их сочетание часто может быть лучшим средством выявления действительно законного претендента на власть. На мой взгляд, это большое несчастье, что одно из двух - выбор низшего высшим - одержало победу в церкви. Но другой никогда полностью не исчезал, и под разными названиями он более или менее успешно воспроизводился в каждую эпоху, чтобы во всяком случае вызвать протесты и прервать действие предписания.

Возвращаясь к рассматриваемой непосредственно эпохе, отметим, что христианская церковь черпала тогда огромную силу в своем уважении к равенству и законно превосходящим умам. Это было общество в высшей степени популяризованное, безгранично доступное и открытое для всех способностей, для всех благородных устремлений человеческой природы. Отсюда проистекала его власть в гораздо большей степени, чем из его богатства и незаконных средств влияния, которые он слишком часто использовал.

Что касается второго условия хорошего правительства - уважения свободы, - то церковь испытывала большой недостаток.

В нем встретились два порочных принципа; один был признан и, так сказать, включен в его доктрины; другой был введен в него человеческой слабостью, а не как законное следствие его доктрин.

Первым было умаление прав индивидуального разума, претензия передавать символы веры от высших к низшим по всему религиозному обществу, не предоставляя никому права частного суждения. Гораздо легче возвести эту претензию в принцип, чем сделать так, чтобы она действительно возобладала. Убеждение не проникает в человеческий интеллект, если только сам интеллект не способствует его принятию; оно должно быть сделано приемлемым для разума. Каким бы образом оно ни проявлялось, к какой бы санкции оно ни призывало, разум взвешивает его, и если оно преобладает в человеческом понимании, то только благодаря своей рациональности. Таким образом, всегда существует, под какой бы формой это ни скрывалось, воздействие индивидуального разума на идеи, которые якобы навязываются ему. Тем не менее

верно, что разум может быть извращен; он может в определенной степени свести на нет или выхолостить сам себя; его можно заставить плохо использовать свои способности или не использовать их так, как он имеет на это право. Таково, по сути, было следствие этого злого принципа, допущенного в церковь, хотя он никогда не имел и никогда не мог иметь однозначного и неконтролируемого действия.

Вторым принципом зла было право принуждения, присвоенное себе церковью — право, противоречащее природе религиозного общества, происхождению самой церкви и ее примитивным принципам — право, оспариваемое несколькими прославленными отцами церкви, святыми Амвросием, Иларием и Мартином, — но которое, тем не менее, было поддержано и стало преобладающим утверждением. Претензия на принуждение к вере — если мы можем соединить эти два слова вместе — или на физическое наказание за веру, как преследование ереси, то есть презрение к законной свободе человеческой мысли, является ошибкой, которая была введена в церковь еще до пятого века и дорого ей обошлась.

Поэтому, если мы рассмотрим церковь в ее отношениях со свободой ее членов, мы увидим, что ее принципы в этом отношении были менее законными и благотворными, чем те, которые руководили формированием церковной власти. Однако мы не должны делать вывод о том, что какой-то один злой принцип радикально искажает институт, или даже о том, что он творит все зло, которым он чреват. Ничто так не фальсифицирует историю, как логика. Когда человеческий разум фиксируется на идее, он выводит из нее все возможные следствия; он заставляет ее породить все, что в чистой возможности она могла бы породить, и затем представляет ее в истории как сопровождающуюся всеми этими результатами. Но дела обстоят иначе; события развиваются не так быстро, как выводы человеческого разума. Во всех вещах присутствует смесь плохого и хорошего, настолько глубоко укоренившаяся и непобедимая, что когда вы погружаетесь в самые скрытые элементы общества или разума, какую бы часть вы ни открыли, вы обнаруживаете, что эти два порядка вещей сосуществуют, развиваются бок о бок и борются друг с другом, но не уничтожают друг друга. Человеческая природа никогда не доходит до последних пределов ни хорошего, ни дурного; она непрерывно переходит от одного к другому, восстанавливаясь, когда кажется, что она ближе всего к падению, и спотыкаясь в тот момент, когда ее шаг кажется наиболее твердым. Здесь мы еще раз обнаруживаем ту характеристику диссонанса, разнообразия и борьбы, которую я уже отмечал как фундаментальную характеристику европейской цивилизации.

Кроме того, существует общий факт, свидетельствующий об управлении церковью, на который необходимо обратить внимание. В наши дни, когда нам представляется идея правительства, какой бы ни была его природа, мы чувствуем, что больше нет никаких претензий на контроль над чем-либо иным, кроме внешних действий людей и их гражданских отношений между собой; правительства заявляют, что не идут дальше этого. Что касается человеческой мысли и совести, морали в собственном смысле этого слова, или индивидуальных мнений и частных манер, они не вмешиваются; эти вопросы относятся к сфере свободы.

Теперь христианская церковь сделала или хотела сделать прямо противоположное. Человеческая мысль, человеческая свобода, частные манеры и индивидуальные мнения были именно тем, чем оно пыталось управлять. Оно не составляло кодекса, как другие власти, для определения действий, одновременно морально преступных и общественно опасных, и

присуждения к ним наказания только в той мере, в какой они носили этот двойной характер; но оно устанавливало перечень всех действий, морально преступных, и под названием грехов наказывало и действовало с целью подавления их всех; одним словом, управление церковью не применялось, как современные правительства, к внешнему человеку и к чисто гражданским отношениям людей между собой; оно применялось к внутреннему человеку, к мысли и совести — то есть к иным словами, к тому, что считается человеком самым сокровенным для него, к тому, что наиболее свободно и не поддается принуждению. Таким образом, церковь по самой природе своей деятельности, в сочетании с тенденцией некоторых принципов, на которых было основано ее правительство, подвергалась опасности стать тиранической и прибегнуть к незаконному применению силы. Но в то же время сила столкнулась с противодействием, которое она не смогла преодолеть. Как бы мало движения или размаха им ни оставалось, человеческая мысль и свободолюбие энергично реагируют на каждую попытку низложить их и неоднократно вынуждают тот самый деспотизм, который они терпят, отступить и отречься от своего господства. Это то, что произошло в лоне христианской церкви. Мы перечислили запрещение ереси, анафему на право проведения экспертизы, презрение к индивидуальному разуму и принцип императивной передачи доктрин через власть имущих. И все же едва ли можно найти общество, в котором индивидуальный разум был бы развит более смело, чем в церкви. Что такое секты и ереси, как не плод индивидуальных мнений? И эти секты и ереси, а также все эти виды противодействия, с которыми сталкивается христианская церковь, представляют собой неоспоримое доказательство нравственной жизни и деятельности, которые царили в ней; беспокойной и болезненной жизни, полной опасностей, ошибок и преступлений, но при этом благородной и потенциальной, дающей простор для наилучшего развития интеллекта и мнений. Но, отбросив оппозицию и войдя в само церковное правление, мы обнаруживаем, что оно создано и действует совершенно иначе, чем, по-видимому, предписывали некоторые из его принципов. Оно отрицало право на экспертизу, оно хотело лишить индивидуальный разум его свободы; и все же именно к разуму оно всегда обращалось со своими призывами; свобода фактически была его главной движущей силой. Каковы были его институты и средства действия? Провинциальные советы, национальные советы, вселенские соборы, постоянная переписка и непрекращающаяся публикация писем, увещаний и других сочинений. Никогда ни одно правительство не доходило до такой степени на пути дискуссий и общего обсуждения. Мы могли бы представить себя в школах греческой философии. И все же речь шла не о простом обсуждении или исследовании истины; речь шла о полномочиях, о мерах, которые необходимо принять, о декретах, которые необходимо обнародовать, о самом правительстве. Но энергия интеллектуальной жизни в сердце этого правительства была такова, что оно стало преобладающим и универсальным стандартом, которому подчинялись все остальные, и главным фактом, демонстрируемым всеми сторонами, было проявление разума и свободы.

Я очень далек от заключения на этот счет, что порочные принципы, которые я пытался раскрыть как существующие, по моему мнению, в системе церкви, остались без действия. В эпоху, которая сейчас привлекает наше внимание, они уже привели к горьким последствиям, а впоследствии привели к гораздо более катастрофическим результатам; но я хочу утверждать, что они не причинили всего вреда, на который были способны, и что они не заглушили добро, произрастающее на той же почве.

Такова была церковь сама по себе, в ее внутреннем состоянии, в ее природе. Я перехожу к ее отношениям с суверенами, хозяевами мирской власти. Это вторая точка зрения, с которой я обещал это рассмотреть.

Когда Империя пала и вместо старой римской системы, вместо того правления, в среде которого она пустила корни, с которым у нее были общие чувства и давние узы, церковь оказалась беззащитной перед теми варварскими королями и вождями, которые скитались по стране или квартировали в своих замках, с которыми ее не связывали никакие узы, основанные на общности традиций, вероучений или чувств; опасность, нависшая над ней, была велика, и соответствующего масштаба был ее ужас.

Идея, которая тогда преобладающе овладела церковью, состояла в том, чтобы завладеть новоприбывшими, или, другими словами, обратить их. Отношения между церковью и варварами поначалу едва ли преследовали какую-либо другую цель.

Чтобы пленить варваров, было главным образом необходимо обратиться к их чувствам и воображению. Следовательно, мы обнаруживаем, что в эту эпоху количество, пышность и разнообразие церемониальных обрядов возросли. Хроники доказывают, что церковь действовала на варваров главным образом этими средствами. Она преобразила их с помощью внушительных очков.

Когда варвары окончательно утвердились и обратились в христианство, и между ними и церковью установились определенные связи, она не перестала подвергаться большой опасности с их стороны. Жестокость и безрассудство нравов варваров были таковы, что новая вера и чувства, которые она им внушила, оказали на них очень слабое влияние. Насилие вскоре вновь взяло верх, и церковь стала его жертвой наравне с остальным обществом. В качестве средства защиты он провозгласил принцип, ранее утверждавшийся, хотя и более неопределенно, при Империи, а именно отделение духовной власти от светской и их взаимную независимость. С помощью этого принципа церковь оставалась незатронутой варварами. Церковь утверждала, что сила не может возыметь действия на систему религиозных догматов, надежд и обещаний, и, следовательно, что бренный мир полностью отделен от духовного.

Благотворные последствия, вытекающие из этого принципа, видны с первого взгляда. Независимо от временной полезности этого закона для церкви, он обладал неоценимым преимуществом, заключавшимся в том, что он основывал на праве разделение двух властей и контролировал их друг с помощью друга. Более того, поддерживая независимость интеллектуального мира в целом, в его полном объеме, церковь подготовила путь для независимости индивидуального интеллекта и мышления. Церковь заявила, что система религиозных верований не может пасть под гнетом силы, поэтому у каждого человека возникло искушение использовать один и тот же язык по своему усмотрению. Принцип свободного обсуждения или исследования и свободы индивидуальной мысли в точности такой же, как принцип независимости общей духовной власти по отношению к светской власти.

К сожалению, от недостатка свободы легко перейти к жажде господства. Церковь продемонстрировала доказательство этого в тот период. В силу склонности, естественной для человеческого честолюбия и гордыни, церковь стремилась установить для духовной власти не только независимость, но и превосходство над властью мирской. И все же мы не должны

верить, что у этой претензии не было иного источника, кроме недостатков человечества; были и другие, еще более глубокие, которые нам надлежит исследовать.

Когда в интеллектуальном мире царит свобода, когда человеческая мысль и совесть не подчиняются власти, которая отказывает им в праве обсуждения и принятия решений и применяет силу, чтобы сокрушить их, — когда, по сути, нет видимого и оформленного духовного правительства, присваивающего и осуществляющего право диктовать мнения, — тогда идея господства духовного порядка над мирским невозможна. Такого почти что нынешнее состояние мира. Но когда существует, как это было в десятом веке, правительство духовного порядка; когда мысль и совесть подчиняются законам, институтам и силам, которые утверждают право командовать и принуждать их; одним словом, когда духовная власть учреждена, когда она фактически овладела, с санкции права и силы, человеческим разумом и совестью, естественно, что у нее возникнет искушение предъявить претензии на господство над мирским порядком и что она воскликнет: "Как! Я имею право и властвую над тем, что наиболее возвышенно и независимо в человеке — над его разумом, его внутренней волей, его совестью, — и разве я не имею права над его внешними, материальными и мимолетными интересами? Я, который являюсь истолкователем справедливости и истины, должен ли я быть отстранен от регулирования земных вопросов в соответствии со справедливостью и истиной?" Сама провокация этого рассуждения, несомненно, подтолкнула бы духовный орден к вторжению в мирской порядок. И это стало еще более очевидным, когда духовный порядок монополизировал все возможные тогда достижения человеческого разума: существовала только одна наука, теология; но один духовный порядок, теологический: все остальные науки, риторика, арифметика, даже музыка, все было заключено в теологии.

Духовная сила, оказавшаяся, таким образом, во главе всей деятельности человеческого мозга, естественно, взяла на себя общее управление миром.

Вторая причина была столь же могущественной, побуждая его к такому присвоению, а именно, ужасающее состояние временного порядка и насилие и беззаконие, царившие во временном правительстве всех сообществ.

Мы можем без труда говорить о правах светской власти; но в рассматриваемую эпоху власть, о которой идет речь, была просто грубой силой, несгибаемым хулиганством. Церковь, какими бы несовершенными ни были ее представления о морали и справедливости, была бесконечно выше такого правительства, и постоянно раздавался крик народа, умолявшего его занять ее место. Когда папа или несколько епископов объявляли суверена лишенным своих прав, а его подданных освобожденными от клятвы верности, такое вмешательство, хотя, несомненно, было чревато серьезными злоупотреблениями, часто в особых случаях было законным и благотворным. В общем, всякий раз, когда человечеству хотелось свободы, ее восстановление было делом религии. В десятом веке люди были не в состоянии защитить себя или защитить свои права от гражданского насилия, и религия пришла на помощь во имя Небес. Это одна из причин, которые в основном способствовали победам теократического принципа.

Есть третья причина высокомерия духовного ордена, на которую слишком мало обращали внимания, проистекающая из сложности положения руководителей церкви и разнообразия аспектов, под которыми они появлялись в обществе. С одной стороны, они были прелатами,

членами церковного ордена, неотъемлемой частью духовной власти и по праву от нее независимыми; с другой стороны, они были вассалами и, как таковые, были связаны узами гражданского феодализма. И, более того, они были не только вассалами, но и подданными: некоторая часть старых отношений римских императоров с епископами и духовенством перешла в те, которые сложились между духовенством и варварскими королями. Ряд причин, развивать которые было бы слишком утомительно, побудил епископов до известной степени рассматривать варварских монархов как преемников римских императоров и приписывать им все свои прерогативы. Таким образом, главы духовенства имели тройственный характер — церковный характер и, как таковой, независимый; феодальный характер и, как таковой, связанный определенными обязанностями и удерживаемый определенными услугами; и характер простого подданного и, как таковой, обязанного подчиняться абсолютному суверену. Итак, мирские монархи, которые были не менее жадными или амбициозными, чем епископы, часто пользовались своими правами лордов или суверенов, чтобы посягнуть на духовную независимость и завладеть дарованием бенефиций, назначением в епископства и т. Д. Со своей стороны, епископы часто прикрывались своей духовной независимостью, чтобы избавиться от своих обязательств вассалов или подданных. Таким образом, существовала почти неизбежная тенденция, ведущая монархов, с одной стороны, к уничтожению духовной независимости, а глав церкви, с другой, к превращению этой независимости в инструмент установления вселенского владычества.

Этот результат был проиллюстрирован общеизвестными фактами, такими как споры об инвеститурах и борьба между духовенством и империей. Различные позиции глав церкви и трудность их согласования были реальным источником неопределенности и разногласий в отношении этих притязаний.

Наконец, у церкви были третьи отношения с суверенами, наименее благоприятные и наиболее губительные для нее самой: она претендовала на принуждение, на право подавлять и наказывать ересь; но у нее не было средств осуществить это; в ее распоряжении не было физической силы; так что, когда она осудила ересь, она сама была неспособна привести свой приговор в исполнение. В этом затруднительном положении она использовала то, что называлось светским оружием; другими словами, она позаимствовала силу гражданской власти в качестве средства принуждения. В результате она поставила себя по отношению к гражданской власти в ситуацию зависимости и неполноценности. Такова была прискорбная необходимость, к которой привело принятие порочного принципа принуждения и гонений на церковь.

Остается рассмотреть отношения церкви с народом, к которым я перейду в следующей лекции, а также другие вопросы, возникающие в связи с этой ветвью нашего исследования.

Лекция VI.

Отношения Церкви с народом.

Я предварительно установил, что церковь следует рассматривать в трех основных аспектах: во-первых, саму по себе, в ее внутреннем устройстве, в ее природе и как отдельное и независимое общество; во-вторых, в ее отношениях с суверенами и светской властью; и, наконец, в ее отношениях с народом. Мы выполнили два первых этапа этой задачи, и теперь я приступаю к

последнему. Впоследствии я попытаюсь извлечь из этого тройного исследования общую оценку влияния церкви на европейскую цивилизацию пятого по двенадцатый век. Затем я проверю свои утверждения совокупностью фактов, историей церкви той эпохи.

Говоря об отношениях церкви с народом, я, конечно, вынужден ограничиться самыми общими терминами. Я не могу вдаваться в подробности церковных обычаев или повседневных отношений духовенства с верующими. Преобладающие принципы и великие результаты этой системы и поведения церкви по отношению к христианскому народу - вот что меня волнует.

Главной характеристикой и коренным пороком (ибо именно так это следует называть) отношений церкви с народом было разделение правящих и управляемых, невлияние управляемых на свое правительство, независимость христианского духовенства по отношению к массе верующих.

Можно было бы предположить, что это зло было спровоцировано состоянием человека и общества, поскольку оно было привнесено в христианскую церковь очень рано. Разделение не было полностью завершено в рассматриваемую нами эпоху, поскольку в определенных случаях, например, при выборах епископов, все еще время от времени имело место прямое вмешательство христианской паствы в свое управление. Но такие усилия были слабыми и редкими; и даже со второго века нашей эры это вмешательство начало заметно и быстро сокращаться. Тенденция к изоляции и независимости духовенства в какой-то степени является бременем церковной истории с самого ее зарождения.

Нельзя отрицать, что именно из этого обстоятельства происходила основная часть злоупотреблений, которые в этот период и еще в большей степени в более поздние времена так вредили церкви. Мы не должны, однако, полностью приписывать это им или рассматривать эту тенденцию к изоляции как присущую христианскому духовенству. В самой природе религиозного общества заложена сильная склонность ставить правительство намного выше управляемых и приписывать первым нечто особое и святое. Это происходит из самой миссии, которая на них возложена, и из характера, под которым они предстают взорам толпы. И все же этот результат более пагубен в религиозном обществе, чем в любом другом. Что поставлено на карту для управляемых? Их разум, их совесть, их бессмертная судьба — то есть такие соображения, которые являются наиболее строго внутренними, наиболее индивидуальными для каждого и наиболее неспособными к рабству. Мы можем, в определенной степени, представить себе, что, хотя в результате этого может произойти какое-то зло, человечество может доверить видимой власти управление своими материальными интересами и мирской судьбой. Мы можем понять философа, который, узнав, что его дом горит, ответил: "Пойди и скажи моей жене: я не имею никакого отношения к домашним делам". Но когда речь идет о совести, мысли, внутреннем нравственном существовании, для людей отречься от власти над собой и отдаться чужеземному влиянию - это настоящее моральное самоубийство, рабство, в сто раз более отвратительное, чем может выпасть на долю тела или чем то, что выносит связанный раб.

Таково, тем не менее, было зло, которое одолевало церковь в ее отношениях с верующими, хотя его тяжесть стала меньше, как я покажу ниже. Мы уже видели, что для самих священнослужителей и в сердце церкви свобода не была гарантирована. Для мирян и вне церкви дело обстояло гораздо хуже. Среди церковнослужителей, во всяком случае, имели место дискуссии, обдумывание и задействование индивидуальных способностей; у них

возбуждение споров в некотором роде компенсировало недостаток свободы. Но между духовенством и народом не было ничего подобного. Миряне помогали в управлении церковью в качестве простых зрителей. И таким образом, мы видим, что идея, которая так рано зародилась и распространилась, что теология, или религиозные вопросы и дела, являются привилегированной областью духовенства, что только духовенство имеет право принимать решения или даже опрашивать их, и что ни в коем случае и ни под каким предлогом миряне не должны вмешиваться. В рассматриваемую эпоху эта теория была уже в полном расцвете; и потребовались века и ужасные революции, чтобы подчинить ее и вернуть, хотя бы частично, религиозные вопросы и науку в общественное достояние.

Следовательно, как в принципе, так и фактически, юридическое разделение духовенства и христианского народа было почти завершено до XII века.

Однако, несмотря на это, христианский народ даже в ту эпоху не был лишен влияния на свое правительство. Ему требовалось юридическое вмешательство, но не влияние. На самом деле его исчезновение вряд ли возможно при каком-либо правительстве, тем более при таком, которое основано на принципах, общих для правящего и управляемых. Всякий раз, когда развивается реальное сообщество идей или в интеллектуальном движении того же порядка участвуют как правительство, так и люди, между ними обязательно существует связь, которую никакая порочность в организации не может полностью разорвать. Чтобы дать четкое объяснение тому, что я имею в виду, я возьму пример из нашей собственной истории политического состава. Никогда в истории Франции французский народ не имел меньшего юридического контроля над своим правительством посредством институтов, чем в семнадцатом и восемнадцатом веках, при Людовике XIV. и Людовике XV. Всем известно, что почти все прямое и официальное вмешательство страны в осуществление власти в те периоды прекратилось. И все же нет сомнений в том, что общественность и страна тогда оказывали гораздо большее влияние на правительство, чем в другие времена — например, в те, когда часто созывались Генеральные штаты, когда парламенты принимали значительное участие в политике и когда правовое участие людей, облеченных властью, было, несомненно, более значительным.

Это потому, что существует сила, которую законы не погребают под собой и которая при случае может сбросить с себя бремя институтов, силу идей, общественного разума и общественного мнения. Во Франции семнадцатого и восемнадцатого веков общественное мнение обладало гораздо большим потенциалом, чем в любую другую эпоху. Хотя оно было лишено законных средств воздействия на правительство, оно действовало косвенно, благодаря влиянию идей, общих для правящих и управляемых, и из-за невозможности, испытываемой правителями, свести на нет мнение общества. Аналогичный факт имел место в христианской церкви с пятого по двенадцатый века: христианскому народу, это правда, не хватало средств правовой защиты, но в религиозных вопросах наблюдалось большое умственное движение, которое воздействовало совместно на мирян и духовенство и давало людям средства воздействия на духовенство.

При изучении истории важно придавать большое значение косвенным влияниям во всех вещах, поскольку они гораздо более эффективны, а иногда и более благотворны, чем это обычно представляется. Для мужчин естественно желать, чтобы их действия были быстрыми и ощутимыми, и получать удовольствие от участия в собственном успехе, власти и триумфе. Но

это не всегда возможно и даже не полезно. Бывают времена и ситуации, в которых только косвенное и незаметное влияние выгодно и практически осуществимо. Я снова приведу пример политического порядка. Не раз, особенно в 1641 году, английский парламент заявлял, подобно многим другим ассамблеям в аналогичных случаях, о праве прямого выдвижения высших должностных лиц короны, министров и государственных советников и т.д. Рассматривая это прямое вмешательство в деятельность правительства как великую и драгоценную гарантию. Иногда оно пользовалось этой привилегией, и эксперимент всегда заканчивался неудачно. И все же, что происходит сейчас в Англии? Разве не влияние двух палат парламента определяет формирование министерства и назначение всех высших должностных лиц короны? Конечно, но это косвенное и общее влияние, а не специальное вмешательство. Результат, ради которого Англия так долго трудилась, достигнут, но другим путем; первый никогда не приносил пользы.

Для этого есть причина, на которой я ненадолго задержусь. Прямое действие требует от тех, кому оно доверено, необычной доли просвещенности, здравого смысла и осмотрительности: поскольку они стремятся достичь своей цели сразу и без промедления, им необходима осторожность, чтобы их предприятие не было несвоевременным и не провалилось. Косвенные влияния, напротив, сталкиваются с препятствиями, прежде чем они вступают в игру, и подвергаются испытаниям, которые проверяют и исправляют их: прежде чем добиться успеха, они подвергаются обсуждению, противодействию и ограничениям; их триумф происходит медленно и в определенной степени зависит от условий. Следовательно, когда умы людей недостаточно развиты и созрели, чтобы обеспечить безопасность прямого действия, предпочтительны косвенные и смягченные воздействия. Именно таким образом христианский народ воздействовал на свое правительство, очень неполно и, как мне известно, слишком ограничено, но они, безусловно, действовали.

Была также и другая причина примирения между церковью и мирянами, заключавшаяся в, так сказать, рассеянии христианского духовенства по всем слоям общества. Почти везде, когда церковь создавалась независимой от народа, которым она управляла, корпус священников формировался из людей, находящихся почти в таком же положении; не то чтобы среди них не преобладало заметного неравенства; но все же, в целом, власть была возложена на коллегии священников, живущих общиной и управляющих из недр храма людьми, склоняющимися под их ярмом. Христианская церковь была организована совершенно по-другому. От жалкой хижинки грубияна или крепостного у подножия феодального замка до королевского дворца во всем обществе был священник или член духовенства. Священнослужители были связаны со всеми состояниями людей. Это разнообразие в положении христианских священников, это разделение всех состояний было великим принципом союза между духовенством и мирянами, которого совершенно не хватало большинству церквей, облеченных властью. Более того, епископы и главы христианской церкви были, как упоминалось ранее, связаны с феодальной организацией и были членами как гражданской, так и церковной иерархии. Отсюда возникли общие интересы, обычаи и манеры между гражданским и религиозным орденами. Было признано скандальным и обоснованным, что епископы вели войну, а священники вели жизнь мирян. Несомненно, это было великое злоупотребление, и все же бесконечно менее пагубное, чем где бы то ни было, - существование тех священников, которые никогда не выходили из храма и которые были полностью отделены от народа на своем жизненном пути. Епископы, принимавшие до известной степени участие в гражданских беспорядках, были более полезны, чем священники, совершенно незнакомые с населением, его делами и нравами. В этом

отношении между духовенством и народом существовало равенство судьбы и положения, которое если и не исправляло, то, безусловно, уменьшало зло разделения между правителями и управляемыми.

Теперь, когда это разделение признано и определены его пределы и противодействующее влияние, давайте далее исследуем, как управляла церковь, каким образом она воздействовала на население, подвластное ее империи; что это дало, с одной стороны, для развития человека, для нравственного совершенствования личности, а с другой - для улучшения социального состояния.

По правде говоря, я не верю, что в ту эпоху, о которой идет речь, церковь сильно заботилась о развитии личности. Она стремилась внушить сильному миру сего более мягкие чувства и побудить их действовать более справедливо в своих отношениях со слабыми; и она учила угнетенных вести нравственную жизнь и потворствовать чувствам и надеждам более высокого порядка, чем те, к которым их обрекла непосредственная судьба. И все же для индивидуального развития, в собственном смысле этого слова, для придания ценности личной природе человека, я не верю, что церковь тогда много делала, по крайней мере, в том, что касалось мирян. То, что оно делало, ограничивалось самим церковным обществом; оно прилагало огромные усилия для развития духовенства, для обучения священников; для них у него были школы и все учреждения, которые допускало плачевное состояние общества. Но это были церковные школы, предназначенные для обучения только духовенства, и, за их исключением, церковь действовала косвенно и очень медленными средствами в направлении развития идей и нравов. Она, несомненно, стимулировала общую умственную деятельность, предлагая карьеру всем тем, кого считала способными служить ей; но это было почти все, что она делала в тот период для интеллектуального развития мирян.

Это имело большее влияние и действовало более эффективным образом в направлении улучшения социального государства. Оно решительно боролось против великих пороков социального государства — например, против рабства. Часто утверждалось, что отмена рабства в современной Европе произошла исключительно благодаря христианству. Я думаю, это говорит слишком много. Рабство долгое время существовало в сердце христианского общества, не вызывая в нем особого удивления и не снимая с него анафемы. Потребовалось множество причин и значительное развитие других идей цивилизации, чтобы искоренить это зло из зол, это беззаконие из беззаконий. Однако несомненно, что церковь использовала свое влияние для сдерживания этого. Существует неоспоримое доказательство этого факта. Большая часть формул предоставления избирательных прав, составленных в разные эпохи, основаны на религиозном мотиве; именно на призыве религиозных идей, надежд на вечное блаженство и равенство людей в глазах Небес почти неизменно производится это предоставление избирательных прав.

Церковь также трудилась над пресечением множества варварских обычаев и улучшением уголовного и гражданского законодательства. Хотя законы и содержали определенные принципы свободы, они были абсурдны и изобиловали несправедливостью; самые глупые судебные разбирательства и ничем не подкрепленные клятвы определенного числа людей считались единственным средством достижения истины. Церковь стремилась заменить их более рациональными и законными средствами. Я уже говорил о различии, наблюдаемом между законами вестготов, заимствованными главным образом из соборов в Толедо, и другими

законами варваров. Невозможно сравнивать их, не поразившись огромному превосходству идей церкви в области законодательства и отправления правосудия, во всем, что касается исследования истины и того, что подобает человеку. Несомненно, большинство этих идей были заимствованы из римского законодательства; но если бы церковь не сохранила и не утвердила их и не сделала все возможное для их распространения, они, несомненно, погибли бы. Например, применение присяги в процессе принятия мудро регулируется законом вестготов.

Пусть судья, чтобы полностью разобраться в причине, сначала допросит свидетелей, а затем изучит записи, чтобы истина была установлена с большей уверенностью, а присяга не была слишком легкомысленной. Определение в соответствии с истиной и справедливостью требует, чтобы труды обеих сторон были тщательно изучены и чтобы необходимость присяги, которую держали в напряжении из-за голов сторон, возникла у них неожиданно. Пусть присяга приводится только в случаях, когда судье не удастся обнаружить никаких письменных свидетельств или какого—либо определенного ключа к истине". (Для. Jud. 1. ii. tit. i. 1. 21.)

В уголовных делах отношение наказаний к преступлениям определяется в соответствии с философскими и моральными представлениями об исключительной справедливости. Усилия просвещенного законодателя, борющегося с насилием и иррациональностью варварских нравов, отчетливо различимы. Акты под названием "*CœDe et morte hominum*" — ["Об истреблении и смерти людей"], по сравнению с актами соответствующего характера, используемыми другими народами, являются весьма примечательным примером этих характеристик. В других кодексах преступлением считается почти исключительно ущерб, а наказание заключается в том материальном возмещении, которое вытекает из принципа состава преступления. Но здесь преступление сводится к его моральному и истинному элементу - намерению. Различные оттенки преступности, чисто непреднамеренное убийство, случайное убийство, оправданное убийство и убийство с умыслом или без него, различаются и определяются почти так же хорошо, как и в наших кодексах, и наказания варьируются в очень равной степени. Законодатель сделал правосудие более неразборчивым; он попытался если не уничтожить, то, по крайней мере, уменьшить то разнообразие в юридической ценности людей, которое было установлено другими варварскими законами. Единственное различие, которое он проводил, - это различие между свободным человеком и рабом. Что касается свободных людей, то наказание варьируется не в зависимости от национального происхождения или ранга умершего, а просто в зависимости от различной степени моральной вины убийцы. Что касается рабов, то они не решаются полностью лишить хозяев права на жизнь и смерть, во всяком случае, предпринимаются попытки ограничить его, подвергнув публичному и регулярному процессу. Текст закона заслуживает того, чтобы его процитировали.

"Если ни один преступник или соучастник преступления не должен оставаться безнаказанным, то тем более должен быть наказан тот, кто совершает жестокое и тривиальное убийство! Таким образом, поскольку хозяева в своей гордыне часто предадут смерти своих рабов без какой-либо вины с их стороны, целесообразно полностью отменить эту вольность и установить, что этот закон должен всегда соблюдаться всеми. Ни одному хозяину или госпоже не разрешается без общественного суда причинять смерть кому-либо из своих рабов, мужчин или женщин, или любому лицу, находящемуся от них в зависимости. Если раб или любой другой слуга совершает преступление, которое может повлечь за собой смертную казнь, его хозяин или обвинитель должны немедленно сообщить об этом судье места, где было совершено деяние, или графу, или герцогу. После расследования дела, если преступление доказано, пусть виновный претерпит,

либо через судью, либо через своего хозяина, смертный приговор, который он заслужил; при условии, что, если судья не приговорит преступника к смертной казни, он должен составить в письменной форме смертный приговор против него, и тогда на усмотрение хозяина будет казнить его или сохранить ему жизнь. В то же время, если раб, проявив смертельную дерзость, оказав сопротивление своему хозяину, ударил его или попытался ударить его оружием, камнем или любым другим предметом, и если хозяин, пытаясь защититься, убил раба в гневе, он вообще не должен считаться подлежащим наказанию за убийство. Но необходимо будет доказать, что этот факт имел место именно таким образом, и это будет подтверждено показаниями или клятвой присутствовавших рабов мужского или женского пола, а также клятвой самого виновного. Тот, кто из чистого нечестия, своей собственной рукой или рукой другого человека убьет своего раба без публичного суда, будет объявлен позорным и не сможет выступать в качестве свидетеля, приговоренный провести остаток своей жизни в изгнании и покаянии, а его имущество перейдет к его ближайшему родственнику, которому закон передает право наследования". (Ибо. Иудаизм. 1. vi. тит. ст. 1. 12.)

В церковных институтах существовала вещь, на которую до сих пор обращали очень мало внимания, а именно — ее покаянная система. Изучение этой системы в настоящее время становится гораздо более интересным, поскольку она почти полностью соответствует представлениям современной философии о принципах и объектах уголовного права. Если мы исследуем природу наказаний, используемых церковью, публичных покаяний, которые были ее основным способом наказания, мы обнаружим, что их главной целью было вызвать раскаяние в уме преступника и моральный ужас своим примером у зрителей. К этому примешивалась и другая идея — идея искупления. С общей точки зрения, я не знаю, возможно ли отделить идею искупления от идеи наказания, и не содержится ли в каждом наказании скрытого и настоятельного требования искупления совершенного зла, независимо от намерения привести виновного к раскаянию и напугать тех, кто может поддаться искушению совершить преступление. Но если оставить в стороне этот вопрос, то совершенно ясно, что покаяние и пример были целями, предложенными церковью в ее покаянной системе. Не являются ли они также целями истинно философского законодательства? Разве самые просвещенные юристы прошлого века и наших дней не выступали за реформу европейского уголовного законодательства, основываясь на этих самых принципах? Посмотрите на их работы — посмотрите, например, на работы Бенстама, — и вы будете удивлены многочисленными сходствами, которые вы обнаружите между предлагаемыми ими способами наказания и теми, которые используются церковью. Они, безусловно, не заимствовали их у нее, и она не могла предвидеть, что однажды ее пример может быть приведен в помощь планам, предложенным наименее набожным из философов.

Всевозможными методами церковь также стремилась подавить склонность общества к насилию и постоянным войнам. Каждому известно, что именно благодаря "Божьему перемирию" и многочисленным мерам того же характера церковь боролась против применения силы и посвятила себя тому, чтобы ввести в общество большую степень порядка и мягкости. Эти факты настолько хорошо известны, что я избавлен от необходимости вдаваться в какие-либо подробности. [Сноска 9]

[Примечание 9: Поскольку многие читатели этого издания, возможно, не являются такими совершенными знатоками этих фактов, как аудитория М. Гизо, переводчику может быть позволено упомянуть, что первый том "Истории Карла V" Робертсона будет признан лучшим толкователем этих и других ссылок, которые могут быть незнакомы читателю.]

Таковы основные моменты, которые я должен выдвинуть относительно отношений церкви с людьми. Теперь мы рассмотрели его в трех аспектах, которые я впервые озвучил, и получили представление о нем как внутри, так и снаружи, как о его внутреннем строении, так и о его двойственном внешнем положении. Теперь остается применить наши знания, чтобы определить с помощью индукции и догадок его общее влияние на европейскую цивилизацию. Это труд, который почти завершен или, по крайней мере, значительно продвинулся вперед, поскольку простое объявление преобладающих фактов и принципов в церкви раскрывает и объясняет его влияние; результаты в некотором роде уже прошли перед нами вместе с причинами. Однако, подводя их итог, мы приходим, я думаю, к двум общим выводам.

Первое заключается в том, что церковь обязательно должна была оказывать очень значительное влияние на моральный и интеллектуальный порядок в современной Европе, а также на общественные идеи, чувства и манеры. То, что этот факт неоспорим, доказывается тем, что моральное и интеллектуальное развитие Европы по своей сути является теологическим. Обзор истории с пятого по шестнадцатый век показывает, что теология владеет человеческим разумом и направляет его, а также накладывает свой отпечаток на все мнения: философские, политические и исторические вопросы рассматривались с теологической точки зрения. Церковь занимала настолько высокое положение в интеллектуальном плане, что даже математические и физические науки считались подчиненными ее доктринам. Теологический дух был, так сказать, кровью, которая текла в жилах европейского мира, пока Бэкон и Декарт — Бэкон в Англии и Декарт во Франции — не были первыми, кто вывел интеллект с проторенных путей теологии.

Один и тот же факт обнаруживается во всех областях литературы; теологические способы мышления, чувства и выражения проявляются на каждом шагу.

В целом это влияние было благотворным. Она не только поддерживала интеллектуальное движение в Европе и делала его продуктивным, но и система доктрин и предписаний, с санкции которой она распространяла движение, была намного выше всего, что знал древний мир. Движение и продвижение существовали в одно и то же время.

Более того, положение церкви расширило и разнообразило развитие человеческого разума, чего у нее никогда не было раньше. На Востоке интеллектуальный прогресс был всецело религиозным; в греческом обществе он был почти исключительно человеческим; в первом полностью исчезла так называемая человечность, ее действительная природа и предназначение; в другом всю сцену занимал сам человек, его непосредственные страсти, чувства и интересы. В современном мире религиозный дух проник во все, не исключая ничего. Современный разум поражен одновременно человечностью и божественностью. Человеческие чувства и интересы занимают существенное место в нашей литературе, и все же религиозный характер человека — та часть его существования, которая направлена в иной мир, — проявляется в ней на каждом шагу; настолько, что два великих источника развития человека,

человечность и религия, излились в изобилии и в одно и то же время; так что, несмотря на все зло и все злоупотребления, связанные с этим, несмотря на все акты тирании, с интеллектуальной точки зрения церковь оказывала влияние, более рассчитанное на развитие, чем на подавление, на расширение, чем на сжатие.

С политической точки зрения дело обстоит совсем иначе. Не может быть никаких сомнений в том, что, смягчая чувства и нравы, осуждая и подавляя большое количество варварских обычаев, церковь внесла мощный вклад в улучшение социального состояния; но в политическом порядке, как он правильно определен, в том, что влияет на отношения правительства с подданными, власти со свободой, я не верю, что в целом ее влияние было благотворным. Исходя из этого, церковь всегда выступала как интерпретатор и защитник двух систем — теократической и имперской, то есть деспотизма, иногда в религиозной форме, иногда в гражданской. Принимая во внимание все его институты, все его законодательство, принимая во внимание его каноны и способы процедуры, повсюду оказывается преобладающим принцип теократии, или старой империи. Когда церковь была слаба, она укрывалась под абсолютной властью императоров; когда она была сильна, она утверждала этот абсолютизм за свой счет, ссылаясь на свою духовную мощь. Нам не нужно задерживаться на приведении фактов или конкретных случаев. Нет сомнений в том, что церковь часто ссылалась на права народа против плохого правления монархов; она часто даже одобряла и поощряла восстания; и она также часто защищала в своих отношениях с монархами права и интересы народа. Но всякий раз, когда между властью и свободой вставал вопрос о политических гарантиях, всякий раз, когда предпринимались попытки установить систему постоянных институтов, которые могли бы действительно и действенно защитить свободу от посягательств власти, церковь обычно становилась на сторону деспотизма.

Нет причин сильно удивляться этому или обвинять духовенство в чрезмерной доле человеческой слабости или представлять это пороком, присущим христианской церкви. Оно имеет гораздо более глубокое и могущественное происхождение.

На что претендует каждая религия? Управление человеческими страстями и человеческой волей. Каждая религия - это ограничение, сила, правительство. Оно приходит во имя божественного закона, чтобы подчинить человеческую природу. Следовательно, человеческая свобода является его особым антагонистом, победить которого - его цель. К этой цели направлены его миссия и надежда.

Но хотя религии вынуждены бороться с человеческой свободой и хотя они стремятся придать воле человека новую форму, в то же время у них нет других моральных средств воздействия на человека, кроме тех, которые он сам предоставляет, кроме его собственной воли и свободы. Когда они действуют внешними средствами, например, силой или обольщением — другими словами, средствами, отличными от свободного согласия человека, — они обращаются с ним так, как мы относились бы к одному из элементов, воде или ветру, как к чисто физической или материальной силе; и они терпят неудачу в достижении своей цели, поскольку таким образом не достигают склонности и не влияют на нее. Для того чтобы религии действительно выполнили свою задачу, необходимо, чтобы человек подчинился им, но добровольно и по своей собственной воле, и чтобы он сохранил свою свободу, даже несмотря на свое подчинение. Таким образом, религии призваны решать двойную проблему.

Это они слишком часто упускали из виду. Они рассматривали свободу как препятствие, а не как средство; они забыли природу силы, к которой им предстояло обратиться, и поступали с человеческой душой как с материальным объектом. Именно вследствие этой ошибки они были вынуждены встать на сторону силы или деспотизма против человеческой свободы, рассматривая ее только как противника и прилагая гораздо больше усилий, чтобы подчинить ее, чем обеспечить ее гарантии. Если бы религии хорошо обдумали свои средства действия, если бы они не уступили естественной, но обманчивой тенденции, они бы обнаружили, что их задача - укреплять свободу, чтобы морально контролировать ее, что религия может и должна действовать только моральными влияниями; и они уважали бы свободную волю человечества, прилагая усилия, чтобы направлять ее. Этого они не сделали, и в конце концов само религиозное влияние пострадало так же сильно, как и свобода.

Я не буду углубляться в изучение общих последствий влияния церкви на европейскую цивилизацию. Я суммирую их в этом двояком результате — великом и благотворном влиянии на интеллектуальное и нравственное развитие; влиянии скорее пагубном, чем благотворном, на политический порядок вещей, так называемый в собственном смысле. Теперь мы должны проверить наши утверждения фактами и подтвердить историей то, что мы вывели из самой природы церковного общества и положения, занимаемого им. Давайте посмотрим, в каком состоянии находилась христианская церковь с пятого по двенадцатый век, и действительно ли принципы, которые я изложил, и результаты, которые я пытался извлечь из них, были таковы в своем развитии, как я осмелился предположить.

Мы не должны верить, что все эти принципы и следствия появились сразу и так связно, как я их представил. Это знаковая и в то же время очень распространенная ошибка при рассмотрении прошлого на расстоянии многих веков - с поразительной забывчивостью забывать о том, что история, по сути, последовательна. Отнимите жизнь у человека, у Кромвеля, Густава Адольфа или кардинала Ришелье. Он начинает свою карьеру и движется вперед; великие события влияют на него, он влияет на великие события; в конце концов он достигает цели. Тогда мы узнаем его, но целиком, таким, каким его сделали многолетний опыт и разнообразные события. [Сноска 10]

[Сноска 10: В этой фразе не совсем соблюден оригинал. Гизо высказывает следующее тщеславное предположение: "Ты хочешь чего—то в этом роде, после долгих мучений, от мастера Провидения".]

Итак, вначале он не был тем, кем стал таким образом, и ни в один отдельный период своей жизни он не был законченным и полностью сформированным: его развитие происходило путем последовательного процесса. Люди растут не только физически, но и морально: каждый день приносит свои изменения: их существо постоянно претерпевает изменения. Кромвель 1650 года не был Кромвелем 1640 года. Конечно, в основе всегда лежит определенная индивидуальность — это один и тот же человек, который идет своим путем; но как изменились его идеи, его чувства, его замыслы! Сколько всего было утрачено и приобретено! Одним словом, какой бы момент мы ни выбрали в жизни человека, нет ни одного, в который он был бы таким, каким мы видим его по истечении этого срока.

Тем не менее, большинство историков впали в ошибку на этот счет. Поскольку у них сложилось полное представление о человеке, они видят его таким на протяжении всей его карьеры: для них это тот же Кромвель, который вошел в парламент и умер тридцать лет спустя во дворце

Уайтхолл. И в отношении институтов и общих влияний постоянно совершается одна и та же ошибка. Давайте постараемся избежать этого. Я набросал их в целом, отражая принципы церкви и их последствия, но исторически картина неверна. Целое было частичным, последовательным, распределенным здесь и там по пространству и времени. Наша целостность, наше оперативное и систематическое объединение не будут найдены в изложении реальных фактов. Здесь проявляется один принцип, там другой; все неполно, непохоже и рассеяно; и только придя к современности, к концу карьеры, можно увидеть результат в целом.

Я продолжу описывать различные состояния, через которые прошла церковь с пятого по двенадцатый век. Таким образом, я подхожу к истоку; и если мне не удастся полностью продемонстрировать выдвинутые мной утверждения, все же, возможно, будет показано достаточно, чтобы доказать их обоснованность.

Первое состояние, в котором церковь обнаруживается в пятом веке, - это состояние имперской церкви, церкви Римской империи. В период падения Римской империи церковь тешила себя мыслью, что ее миссия выполнена, ее триумф обеспечен. Тогда она полностью победила язычество. Последним императором, занявшим должность *верховного понтифика*, языческого сана, был император Грациан, умерший в конце четвертого века. Она также считала, что завершила свою борьбу с еретиками, особенно с арианами, главными еретиками того времени. Император Феодосий в конце четвертого века составил против них своеобразный и строгий свод законов. Таким образом, церковь находилась во власти правительства и одержала победу над двумя своими злейшими врагами. Она была в этом процветающем состоянии, когда Римская империя внезапно подвела ее, и она оказалась в оппозиции к другим язычникам и еретикам в облике варваров, таких как готы, вандалы, бургунды и франки. Это было потрясающее падение. Нетрудно представить, что в лоне церкви должна была сохраниться теплая привязанность к Империи. Таким образом, мы видим, что она неуклонно придерживается того, что от нее осталось, - муниципальной системы и абсолютной власти; и когда варвары были обращены, церковь попыталась возродить Империю. Она обратилась к варварским царям и умоляла их объявить себя римскими императорами, принять на себя все права, которыми они прежде обладали, и вступить в те же отношения с церковью, какие у нее были с Римской империей. Именно над этим особенно потрудились епископы пятого и шестого веков, и они придали общую черту всей церкви.

Эта попытка не увенчалась успехом. У варваров не было средств для восстановления римского общества. Следовательно, как и окружающий ее цивилизованный мир, сама церковь впала в варварство. Таково было ее второе состояние. Когда проводится сравнение между писаниями церковных хронистов восьмого века и писаниями предшествующих эпох, обнаруживается огромная разница. Все следы римской цивилизации исчезли, даже язык, и варварство достигло своего апогея. Ибо, с одной стороны, варвары вступили в духовный сан и стали священниками и епископами; а с другой, епископы приняли варварский образ жизни и, не покидая своих епископств, стали главарями бандитов, бродивших по стране, грабя и сражаясь, подобно спутникам Хлодвига. Григорий Турский упоминает нескольких епископов, которые прожили свою жизнь подобным образом.

Тем не менее два важных факта получили свое развитие в недрах этой варварской церкви. Первым было разделение между духовной и мирской властью, принцип которого утвердился в

ту эпоху как естественное следствие положения вещей. Церковь, не преуспевшая в возрождении абсолютной власти Римской империи, чтобы получить ее долю для себя, была вынуждена искать спасения в независимости. Она была вынуждена защищаться со всех сторон, потому что ей постоянно угрожали. Епископы и священники видели, как их соседи-варвары ежеминутно вмешиваются в дела церкви, чтобы завладеть ее богатствами, землями и властью, и у них не было другого способа защитить себя, кроме как заявлять— "Духовный орден полностью отделен от мирского, и вы не имеете права вмешиваться в его дела". Этот принцип стал оборонительным оружием церкви против варварства во всех кругах.

Вторым важным фактом, относящимся к той же эпохе, является развитие монашеского ордена на Западе. Это было в начале шестого века, когда святой Бенедикт учредил свой орден среди монахов Запада, которых тогда было очень мало, но которые впоследствии чрезвычайно размножились. До того периода монахи не были членами духовенства, но все еще считались мирянами. Несомненно, среди них разыскивались священники и даже епископы; но только в конце пятого и начале шестого века монахи в целом стали рассматриваться как составляющая часть духовенства, собственно так называемого. После этого все изменилось; священники и епископы стали монахами, полагая, что тем самым они добились нового прогресса в религиозной жизни. Таким образом, монашеский орден внезапно получил чрезмерное развитие в Европе. Монахи поражали воображение варваров сильнее, чем светское духовенство; их многочисленность, а также необычность их жизни произвели на них сильное впечатление. Действительно, на светское духовенство — епископа и простого священника — варвары смотрели менее благоговейно, поскольку они привыкли видеть их, жестоко обращаться с ними и грабить. Нападение на монастырь, на стольких святых людей, собравшихся в одном святом месте, было гораздо более серьезным делом. Таким образом, монастыри в эпоху варваров были местами убежища для церкви, поскольку она сама была прибежищем для мирян. Благочестивые люди стекались к ним в поисках убежища, как на Востоке они бежали в Фиваиду, спасаясь от мирской жизни и осквернения Константинополя.

Таковы два важных факта, относящихся к варварской эпохе в истории церкви: с одной стороны, развитие принципа разделения духовной и мирской властей; а с другой - развитие монашеской системы на Западе.

Ближе к концу эпохи варваров Карлом Великим была предпринята новая попытка возродить Римскую империю. Церковь и гражданский суверен снова заключили строгий союз. Это был период большой покорности и, следовательно, большого продвижения к папству. Попытка возрождения снова провалилась; империя Карла Великого пала, но преимущества, которые церковь извлекла из своего союза, остались за ней. Папство было окончательно поставлено во главе христианства.

После смерти Карла Великого снова воцарился хаос; церковь погрузилась в него так же, как гражданское общество, и таким же образом вошла в рамки феодализма. Это было его третье состояние. Распад империи Карла Великого произвел в церковном порядке почти тот же эффект, что и в гражданском — полное исчезновение единства, распад на локальные, частичные и индивидуальные распределения. Таким образом, такое положение духовенства

породило борьбу, ранее не известную до того периода, а именно борьбу между чувствами и интересами феодала и интересами священника. Главы церкви находились между этими двумя искушениями, каждый из которых стремился к господству; церковный дух больше не был таким могущественным или универсальным, частные интересы имели больше очарования, в то время как вкус к независимости и привычки феодальной жизни ослабили узы церковной иерархии. В лоне церкви была предпринята попытка предотвратить последствия этого послабления и с помощью системы федерации, посредством общих собраний и обсуждений организовать в различных кругах национальные церкви. Именно в эту эпоху, при феодальной системе, мы наблюдаем наибольшее количество соборов и созывов, провинциальных и национальных церковных собраний. За этим эссе в unity, по-видимому, особенно следили во Франции. Хинкмар, архиепископ Реймский, может рассматриваться как главный проводник этой идеи; он постоянно был занят работой по организации французской церкви; он искал и использовал все средства общения и переписки, которые могли бы восстановить некоторую часть единства феодальной церкви. Хинкмар отстаивал, с одной стороны, независимость церкви по отношению к светской власти, а с другой - ее безответственность по отношению к папству. Именно он, зная, что папа желает приехать во Францию и угрожает отлучить от церкви некоторых епископов, сказал: "*Si excommunicaturus venerit, exclumunicatus abibit*" ("Если он приедет сюда отлучать от церкви, он вернется с анафемой на свою голову").

Но попытка таким образом организовать феодальную церковь имела не больший успех, чем предыдущая попытка восстановить организацию имперской церкви. Не было никаких доступных средств для восстановления единства в этой церкви. Ее дезорганизация постоянно возрастала. Каждый епископ, прелат и аббат все больше и больше изолировались в своей епархии или в своем монастыре. Расстройства множились по одной и той же причине. Этот период отличался величайшими злоупотреблениями симонией, совершенно произвольным распределением церковных пособий и самым прискорбным развращением нравов среди священников.

Эти беспорядки были крайне возмущены как народом, так и более благоразумной частью духовенства. Отсюда мы видим, что на раннем этапе в церкви возник дух реформы и желание найти какую-нибудь власть, компетентную объединить заблудшие элементы и дать им закон. Клод, епископ Туринский, и Агобард, архиепископ Лионский, предприняли несколько попыток подобного рода в своих соответствующих епархиях, но они были не в состоянии выполнить столь великую работу. Внутри самой церкви была только одна сила, которая могла преуспеть в достижении такой цели, и это был римский двор, папство. Вследствие этого, ей не потребовалось много времени, чтобы стать преобладающей. В течение одиннадцатого века церковь перешла к своему четвертому состоянию - состоянию теократической и монашеской церкви. Создателем этой новой формы, принятой церковью, поскольку творить подобает человеку, был Григорий VII.

Мы привыкли считать Григория VII. как человек, который стремился привести все к застою, как противник интеллектуального развития и социального прогресса, как человек, фактически, стремившийся удержать мир в стационарной или ретроградной системе. Никакая идея не может быть менее правильной; Григорий VII. был реформатором посредством деспотизма, подобно Карлу Великому и Петру Великому. Он был в церковном строе почти таким же, каким были Карл Великий во Франции и Петр Великий в России в гражданском строе. Его целью было реформировать церковь, а через нее и гражданское общество — привести в них большую

степень морали, справедливости и регулярности; и это он хотел осуществить через Святой Престол и в его интересах.

В то же самое время, когда он пытался подчинить гражданский мир церкви, а церковь папству, в духе реформ и прогресса, а не застоя или регресса, была предпринята попытка того же характера, возникло аналогичное движение в уединенных помещениях монастырей. Ревностно проявлялось стремление к порядку, дисциплине и жесткой морали. Это был период, когда Робер де Моле ввел суровые порядки в Сито, это была эпоха святого Норберта и реформы пребендариев, реформы Ключни и, наконец, великой реформы святого Бернара. В монастырях царил всеобщее брожение; старые монахи встали на свою защиту, объявили нововведения злом, объявили свою свободу ущемленной, утверждали, что люди должны довольствоваться нравами эпохи, что не может быть и речи о возвращении к первоначальной строгости церкви, и относились ко всем этим реформаторам как к безумцам, мечтателям и тиранам. Загляните в "Историю Нормандии" Ордерика Витала, и вы обнаружите, что эти жалобы не утихают.

Таким образом, казалось, что все идет на пользу церкви, на пользу ее единству и могуществу. Но в то время как папство стремилось захватить власть над миром, а монастыри реформировали себя с моральной точки зрения, несколько энергичных, хотя и изолированных людей отстаивали право человеческого разума считаться ценностью и принимать участие в формировании мнений. Большинство из них не нападали на общепринятые доктрины, на статьи религиозных верований; они просто говорили, что разум имеет право исследовать их и что недостаточно того, что они подтверждаются авторитетом. Иоанн Эригена (Скот), Росцелин и Абельяр — вот защитники, благодаря которым индивидуальный разум возобновил свои права наследования; это были первые авторы движения за свободу, которое было одновременно с движением за реформы, начатым Гильдебрандом и Святым Бернаром. Когда мы исследуем преобладающий характер этого движения, мы видим, что это была не смена мнения или бунт против общепринятых догматов веры, а просто утверждение права разума осуществлять свои функции. Ученые Абельяра просили его, как он сам рассказывает нам в своем "Введении в теологию", "привести философские доводы, соответствующие разуму, умоляя его научить их не только повторять наизусть то, что он им сообщил, но и понимать его; ибо никто не может верить, не постигнув сначала, и абсурдно проповедовать другим то, чего не может понять ни тот, кто исповедует, ни те, кого он учит". Какую цель может иметь изучение философии, если не привести к познанию Бога, к которому все должно быть отнесено? С какой целью верующим разрешается читать писания, повествующие о событиях эпохи, и книги язычников, если не для того, чтобы подготовить их к пониманию истин Священного Писания и дать им необходимую способность защищать их? Особенно необходимо быть укрепленным всеми силами разума, чтобы в вопросах столь трудных и запутанных, как те, которые являются объектами христианской веры, не допустить, чтобы коварство ее врагов слишком легко преуспело в искажении чистоты нашей веры".

Важность этой первой попытки обрести свободу, этого воспроизведения духа экзамена вскоре была ощутима. Хотя церковь была занята реформированием самой себя, она тем не менее встревожилась не меньше: она немедленно объявила войну этим новым реформаторам, чье появление угрожало ей гораздо больше, чем их доктрины. Взгляните на великий факт, который иллюстрирует конец одиннадцатого и начало двенадцатого века, когда церковь представляла себя в теократическом и монашеском состоянии! Впервые между духовенством и вольнодумцами возникло серьезное соперничество. Ссоры Абельяра и Святого Бернара, соборы

в Суассоне и Сане, на которых Абеляр был осужден, являются лишь свидетельствами того факта, который занимал столь важное место в истории современной цивилизации. Это было главное обстоятельство в состоянии церкви в двенадцатом веке, момент времени, на котором мы сейчас остановимся.

В тот же период произошло движение иного характера, направленное на предоставление избирательных прав местным жителям. Это сопровождалось исключительным доказательством непоследовательности варварских и грубых умов. Если бы тем гражданам, которые с таким рвением отстаивали свою свободу, сказали, что есть люди, отстаивающие права человеческого разума, на свободное исследование, и которые были осуждены церковью как еретики, они бы побили их камнями или сожгли на месте. Абеляр и его друзья не раз подвергались этой опасности. С другой стороны, те самые писатели, которые были защитниками прав человеческого разума, говорили об усилиях по предоставлению избирательных прав местным жителям как о производящих отвратительный беспорядок и ниспровергающих общество. Таким образом, казалось, что война объявлена между философским и муниципальным движением, между интеллектуальным и политическим предоставлением избирательных прав. Чтобы примирить эти два великих действия и привести их к пониманию общности их интересов, потребовались века. В двенадцатом веке они были полностью разделены, как мы увидим в нашем последующем исследовании предоставления избирательных прав местным жителям.

Лекция VII.

Районы и их влияние.

Феодальная система и церковь, два первых великих фундаментальных элемента современной цивилизации, были сведены к двенадцатому веку, и нашей настоящей целью будет проследить третий из этих элементов, районы, до той же эпохи, ограничиваясь рамками, которые мы наблюдали в отношении двух других.

Наше исследование районов начинается с ситуации, отличной от той, которая существовала в церкви или феодальной системе. С пятого по двенадцатый век эти последние, хотя впоследствии и претерпели новые изменения, проявили себя как почти завершенные и находящиеся в окончательном состоянии; их рождение, рост и зрелость произошли в течение этого промежутка времени. С районами все было совсем по-другому. Только в конце эпохи, на которой сосредоточено наше внимание, в одиннадцатом и двенадцатом веках, они заняли какое-либо место в истории; это не означает, что их предыдущая история не требует изучения или что следы их существования задолго до этого периода невозможно обнаружить, но что только в одиннадцатом веке они отчетливо проявились на великой мировой сцене и стали важным элементом современной цивилизации. Таким образом, исследуя феодальную систему и церковь с пятого по двенадцатый век, мы обнаружили, что следствия развиваются и производятся из причин, или, другими словами, всякий раз, когда путем индукции или догадки мы выводили результаты из определенных принципов, мы были в состоянии проверить их, ссылаясь на факты. Это средство, которым мы не располагаем в наших районах. В настоящий момент я буду говорить только о причинах и истоках; и то, что я могу сказать о следствиях их

существования и об их влиянии на прогресс европейской цивилизации, будет в некотором роде предсказанием, поскольку приведение современных и известных фактов будет невозможно. Только позднее, в период, простирающийся с двенадцатого по пятнадцатый век, мы увидим, как корпорации начинают свое развитие, как институт приносит плоды, а история подтверждает наши предсказания. Я подчеркиваю это различие ситуаций более подчеркнуто, чтобы избежать возражений против неполноты и преждевременности картины, которую я собираюсь дать.

Я предположу, что бюргер двенадцатого века внезапно появился среди нас в 1789 году, в тот момент, когда началось ужасное возрождение Франции, и что ему дали прочитать (ибо мы должны наделить его способностью читать) одну из тех брошюр, которые тогда так сильно волновали умы людей; например, брошюру М. Сийеса "Что такое третье сословие?" Давайте представим, что его взгляд упал на эту фразу — главный смысл публикации: "Третье сословие — это французская нация, за вычетом дворянства и духовенства." Я спрашиваю, какое впечатление такая фраза произвела бы на этого человека? Понял бы он ее? Слова "*французская нация*" были бы за пределами его понимания, поскольку они не передавали бы никакой идеи о чем—либо известном ему или существовавшем в его дни; но если бы он понял эту фразу - если бы у него было четкое представление о суверенитете, приписываемом третьему сословию над всем обществом, - это, несомненно, показалось бы ему почти безумным и нечестивым предложением, настолько это противоречило бы тому, что он видел, и всему складу его идей и чувств.

Теперь попросите этого сбитого с толку бюргера следовать за вами и проведите его в некоторые из тогдашних районов Франции, в Реймс, Бове, Лан или Нуайон. Здесь его ожидал сюрприз иного характера. Войдя в город, он не увидел бы ни башен, ни крепостных валов, ни городской стражи, ни средств обороны - все было открыто первому же враждебному жителю. Безопасность такого муниципалитета показалась бы ему очень неопределенной и слабо гарантированной. Проникнув во внутренние районы и расспросив о том, что там происходит, о способах управления и о положении жителей, он узнал бы, что снаружи есть власть, которая взимает с них налоги по своему усмотрению, созывает их ополчение и отправляет его на дальние войны, независимо от их согласия; что есть магистраты, мэры и шерифы, в назначении которых горожане не участвуют, и что дела округа решаются не в самом округе, но что человек, назначенный королем, интендант, один и издалека, назначает их на дальние войны. вводил их. Более того, ему сказали бы, что жители не имели права собираться и совместно обсуждать то, что их касалось, — что колокол их церкви не созывал их на общественную площадь. Горожанин двенадцатого века был бы совершенно не в состоянии разобраться в этих вопросах. Сначала он был сбит с толку и встревожен величию и важностью, которые приписывало себе бюргерское сообщество, третье сословие, а теперь он обнаруживает его у своего собственного очага в состоянии рабства, слабости и ничтожества, худшем, чем все, что он считал самым катастрофическим. Переходя от одного размышления к другому — от идеи суверенного содружества к осознанию его бессилия, — как он мог понять и примирить разницу или вывести свой разум из замешательства?

С другой стороны, давайте перенесем гражданина девятнадцатого века обратно в двенадцатый, и он обнаружит, что все предстает в том же двойном аспекте, но ситуация изменилась.

Размышляя об общих делах эпохи, государства, управлении страной и общества в целом, мы ничего не видим и не слышим о гражданах; они совершенно не имеют значения в государстве. И не только это, но и то, что они говорят или думают о себе и своем положении по отношению к генеральному правительству Франции, их язык до крайности робок и скромнен. Их старые хозяева, лорды феодалов, у которых они вырвали свои привилегии, относятся к ним, по крайней мере на словах, с гордостью, которая удивляет нас, но отнюдь не удивляет или раздражает их.

Но, войдя в сам район и осмотрев то, что там происходит, мы обнаруживаем, что обстановка изменилась. Мы находимся в своего рода укрепленном месте, защищаемом вооруженными гражданами, которые сами взимают налоги, избирают своих собственных магистратов, заседают в суде, наносят наказания и собираются для обсуждения своих собственных дел; воюют даже против своего господина и имеют свое собственное ополчение. Одним словом, они управляют сами собой и превосходят контроль.

Здесь контраст того же порядка, что и тот, который так сильно удивил горожан двенадцатого века во Франции восемнадцатого, только части поменялись местами. В последнем случае бюргерский орден или нация - это все, район - ничто; в первом степени важности диаметрально противоположны.

Несомненно, между двенадцатым и восемнадцатым веками должно было произойти много вещей и экстраординарных событий, и было совершено много революций, чтобы произвести столь поразительные изменения в состоянии одного социального класса. И все же, несмотря на это изменение, нет никаких сомнений в том, что третье сословие 1789 года было, с политической точки зрения, потомком и наследником бюргеров двенадцатого века. Эта надменная и амбициозная "французская нация", которая так высоко подняла свои притязания, с такой помпезностью провозгласила свой суверенитет и претендовала не только на возрождение и управление самой собой, но и на управление и возрождение мира, несомненно, произошла от тех городских сообществ, которые заняли свои незаметные, хотя и мужественные позиции в двенадцатом веке с единственной целью сбросить тираническое иго безымянных лордов в своих изолированных уголках.

Итак, хотя нет сомнений в том, что объяснение столь значительной метаморфозы можно найти не в состоянии районов в двенадцатом веке, а в том, что она была произведена и имеет свои причины в событиях, произошедших между двенадцатым и восемнадцатым веками, все же происхождение третьего сословия имело большое значение в его истории; и хотя мы не раскроем в нем полную тайну его судьбы, мы можем, по крайней мере, различить ее зародыш; ибо то, чем оно было вначале, обнаруживается снова в том, чем оно стало, в гораздо большей степени, чем можно было бы предположить по внешнему виду. заставь нас предполагать. Я думаю, что решающим в этом факте будет обзор, хотя и неполный, состояния окрестностей в XII веке.

Приступая к исследованию этого штата, чтобы полностью понять его, мы должны рассмотреть районы с двух основных точек зрения. Необходимо решить два важных вопроса: первый, касающийся предоставления избирательных прав самим районам, исследование того, как произошла революция и по каким причинам, какие изменения она произвела в положении бюргеров и каково было ее влияние на общество в целом, на другие классы и на государство.

Второй вопрос касается управления районами, внутреннего состояния городов, получивших избирательные права, отношений горожан между собой, а также принципов, форм и манер, распространенных в сообществах.

Из этих двух источников — с одной стороны, из изменений, внесенных в социальное положение бюргеров, а с другой, из их внутреннего или районного управления — проистекало все их влияние на современную цивилизацию. Это влияние не привело ни к одному факту, который не мог бы быть отнесен к той или иной из этих двух причин. Следовательно, когда мы тщательно проанализируем их и получим представление об обстоятельствах их предоставления избирательных прав, с одной стороны, и их правления - с другой, мы будем обладать, так сказать, двумя ключами к их истории.

Сначала я скажу несколько слов о разнообразии штатов по всей Европе. Факты, которые я приведу, не будут безразличны ко всем районам Италии, Испании, Англии и Франции; некоторые из них применимы ко всем; но есть большие и важные различия. На них я укажу по ходу дела: впоследствии мы обнаружим их в ходе развития цивилизации и затем исследуем их более узко.

Чтобы иметь правильное представление о предоставлении избирательных прав городкам, необходимо вернуться к состоянию городов с пятого по десятый век, от падения Римской империи до того времени, когда началась городская революция. Различия были, повторяю, очень велики; состояние городов сильно различалось в разных странах Европы, но есть некоторые общие факты, которые можно подтвердить почти обо всех городах, которыми я постараюсь ограничиться. Когда я закончу с ними, более особый вопрос будет касаться районов Франции, и особенно тех, что расположены на севере Франции, выше по течению Роны и Луары. Это будут заметные точки на картинке, которую я собираюсь нарисовать.

После падения Римской империи, с пятого по десятый век, города не находились ни в состоянии свободы, ни в состоянии рабства. При использовании слов мы допускаем ту же вероятность ошибки, которая, как я уже отмечал ранее, имела место при описании людей и событий. Когда общество существует в течение длительного периода, а также его язык, слова приобретают полное, определенное и точное значение, так сказать, юридический и официальный смысл. Время привнесло в значение каждого термина множество идей, которые пробуждаются, как только он произносится, но которые, поскольку не все относятся к одной и той же дате, не все применимы к одному периоду. Например, слова *рабство* и *свобода* пробуждают в наших умах идеи в наши дни бесконечно более точные и совершенные, чем те, которые соответствовали фактам, существовавшим в восьмом, девятом или десятом веках. Если мы скажем, что в восьмом веке города были в состоянии свободы, мы скажем слишком много, поскольку в настоящее время мы придаем слову "свобода" значение, которое не отражает положения вещей в том столетии. Мы впадем в ту же ошибку, если скажем, что города находились в рабстве, поскольку это слово подразумевает нечто совершенно отличное от муниципальных условий того периода. Таким образом, я повторяю, города не были тогда ни в состоянии рабства, ни в состоянии свободы; они страдали от всех зол, которые выпадают на долю слабости, и были жертвой постоянного насилия и грабежей сильных; но, несмотря на такое количество и такие ужасные беспорядки, несмотря на их обнищание и обезлюдение, они никогда не теряли определенной степени важности. В большинстве своем это было духовенство

или епископ, которые обладали значительной властью, имели влияние на жителей и служили связующим звеном между ними и их завоевателями, поддерживая таким образом своего рода независимость города и прикрывая его щитом религии.

Значительные остатки римских институтов также сохранились в городах. В эту эпоху часто встречаются случаи созыва сената и курии, и многие факты такого рода были собраны господами де Савиньи и Хульманом, мадемуазель де Лезардьер и др. Существуют некоторые сомнения относительно общественных собраний и муниципальных магистратов. Но дела гражданской жизни, завещания, пожертвования и множество других действий легализуются в курии ее должностными лицами, как это имело место в римских муниципалитетах. Однако варварство и постоянно нарастающий беспорядок ускорили обезлюдение городов и постепенно подорвали все, что еще оставалось от городской активности и свободы. Установление хозяев земли в сельских районах и растущее преобладание сельской жизни были дополнительными причинами упадка городов. Сами епископы, когда они вошли в феодальные рамки, придавали гораздо меньшее значение своим муниципальным связям. Наконец, когда феодализм полностью восторжествовал, города, не попав в рабство к крепостным, оказались под властью сеньоров и вошли в состав феодальных владений, вследствие чего они утратили ту долю независимости, которая была оставлена им во времена еще более варварские, в первые века нашествия. Таким образом, с пятого века до периода полной организации феодализма состояние городов постоянно ухудшалось.

Когда феодализм окончательно утвердился, когда каждый человек занял свое место и обосновался в поместье, а бродячая жизнь наконец прекратилась, города после определенного промежутка времени снова начали приобретать некоторое значение и с новой силой разворачивать деятельность. Человеческая деятельность подобна плодородию земли; как только буря прекращается, она появляется снова, прорастает и приносит плоды. Всякий раз, когда появляется хоть малейший проблеск порядка и мира, человечество вновь обретает надежду и с надеждой трудится. Так случилось и в городах: как только феодальная система прочно утвердилась, среди владельцев феодальных владений возникли новые потребности и определенная тяга к прогрессу и благоустройству, для удовлетворения которых в городах их владений немного укоренились торговля и промышленность, и богатство и население вернулись к ним; медленно, я признаю, но все же они вернулись. Среди обстоятельств, ускоривших этот результат, можно назвать одно, которое до сих пор не придавало особого значения, а именно, право на убежище в церквях. Еще до образования городских округов и до того, как их сила и крепостные стены позволили им предоставить убежище несчастному населению полей, защиты, которую можно было найти только в церкви, было достаточно, чтобы привлечь в города огромное количество беглецов. Они находили убежище либо в самой церкви, либо вокруг церкви; и они не ограничивались людьми низшего класса, крепостными и хамами, но часто были уважаемыми и богатыми людьми, которые были объявлены вне закона. Хроники той эпохи полны таких примеров. Мы видим людей, некогда могущественных, преследуемых еще более могущественным соседом или самим королем, которые покидают свои владения, забирают все свое движимое имущество и бегут в город, чтобы укрыться под защитой церкви. Эти люди стали горожанами; и такие беженцы, по моему мнению, оказали некоторое влияние на развитие городов, поскольку они принесли в них как богатство, так и элементы населения, превосходящие основную массу прежних жителей. Кроме того, разве не вероятно, что, когда в

каком-либо районе было сформировано что-либо подобное значительному объединению, люди устремлялись в него не только из-за большей безопасности, обеспечиваемой им, но и из простого духа общительности, который так естествен для них?

Благодаря всем этим причинам города приобрели определенную степень силы после того, как феодальная система стала несколько упорядоченной. Но безопасность не была достигнута в той же пропорции. Это правда, что бродячая жизнь прекратилась, но все же эта бродячая жизнь была для завоевателей и новых хозяев земли великим средством удовлетворения своих страстей. Побуждаемые жадой грабежа, они совершали набеги или уходили вдаль в поисках нового состояния или новых владений. Но когда каждый привел себя в порядок и стало необходимо отказаться от всепобеждающей бродячей жизни, вкус к ней отнюдь не исчез, а звериные аппетиты или неистовые желания не утихли. Их вес пал на ту часть населения, которая больше всего зависела от милости власть имущих, на города. Вместо того, чтобы идти грабить на расстояние, они грабили вблизи своих собственных домов. Побои лордов с горожан удвоились с начала десятого века. Каждый раз, когда владелец владения, в состав которого входил город, испытывал какую-либо жажду наживы, горожане обязательно ощущали ее наихудшие последствия. Именно в эту эпоху, больше, чем в какую-либо другую, жалобы городских округов были громкими и повторяющимися из-за абсолютного отсутствия безопасности в торговле. Торговцы, совершив свой обход, не могли с миром вернуться в свои города; дороги и проспекты были постоянно перекрыты господом и его последователями. Таким образом, период, в который промышленность возобновила свою деятельность, был именно тем периодом, когда безопасность была наиболее недостаточной. Ничто так не огорчает людей, как то, что они были таким образом нарушены в своих трудах и лишены плодов, которых они от этого ожидали. Таким образом, они испытывают гораздо большее раздражение и ярость, чем когда они подвергаются страданиям в течение длительного времени, когда их образ жизни постоянен и монотонен, или когда то, чего они лишены, не является результатом их собственной деятельности, осуществляемой в разумной надежде получить уверенную отдачу. В прогрессивном движении, которое поднимает человека или популяцию к новому богатству, принцип отвращения к беззаконию и насилию действует гораздо энергичнее, чем в любой другой ситуации.

Таким, таким образом, было состояние городов в течение десятого века. Их сила, значение и богатство возросли; и эти приобретения с каждым днем делали их объектами все большей зависти лордов, и уметь защищать их стало более чем когда-либо необходимо. Опасность и зло увеличивались в размерах вместе со средствами противодействия им. Действительно, феодальная система являла всем своим участникам постоянный пример сопротивления; она представляла уму, без каких-либо изменений, идею организованного правительства, способного регулировать и контролировать все одним своим вмешательством. Напротив, непрестанно демонстрировалось зрелище индивидуальной воли, отказывающейся подчиняться каким-либо ограничениям. Больше число феодалов находилось в таком положении по отношению к своим верховным лордам, а мелкие лорды - по отношению к великим; так что в то самое время, когда города были угнетены и измучены, и у них появились новые и важные интересы, которые нужно было отстаивать, у них перед глазами постоянно был урок восстания. Феодализм, несомненно, оказал человечеству такую услугу, что обеспечил постоянную демонстрацию индивидуальной воли, действующей со всей своей энергией. Урок не был забыт, ибо, несмотря на их слабость и чудовищное неравенство условий между ними и их лордами, города взбунтовались со всех сторон.

Трудно назначить точную дату этого события. Обычно говорят, что предоставление избирательных прав городкам началось в одиннадцатом веке; но во всех великих событиях сколько неизвестных и безуспешных усилий предпринимается до того, как то, что в конце концов восторжествует! Во всем Провидение, чтобы осуществить свои замыслы, расточает мужество, добродетели, жертвует самым человеком; и только после бесчисленного множества неизвестных трудов, которые кажутся совершенно напрасными, после того, как бесчисленные благородные сердца впали в уныние и мучительное убеждение в безнадежности своего дела, достигается триумф. Несомненно, так было и в случае с районами. Вряд ли можно сомневаться в том, что в восьмом, девятом и десятом веках было предпринято очень много попыток сопротивления и борьбы за предоставление избирательных прав, которые не только не увенчались успехом, но и память о которых осталась безвестной из-за неудач. Но эти усилия, несомненно, оказали влияние на последующие события; они придали воодушевление и преобладание духу свободы и подготовили почву для великого восстания одиннадцатого века.

Я намеренно называю это восстанием. Предоставление избирательных прав городкам в XI веке было результатом настоящего восстания, настоящей войны, объявленной жителями городов своим лордам. Первый факт, который всегда встречается в подобных историях, - это набор бюргеров, которые вооружаются любым оружием, какое им удастся поймать, изгнание офицеров настоятеля, пришедших с целью поборов, или предприятие против его замка; признаки войны всегда присутствуют. Если восстание подавлено, каково первое действие завоевателя? Он приказывает разрушить укрепления, возведенные бюргерами, не только вокруг их города, но и вокруг каждого дома. Мы находим, что при образовании конфедерации, после обязательства действовать сообща и приведения к присяге *района* в целом, первым делом каждого горожанина было привести свой дом к состоянию обороны. Некоторые районы, названия которых в наши дни похоронены в безвестности — например, небольшой городок Везелаи в Ниверне - вели продолжительное и энергичное соперничество со своими лордами. В случае с Везелаем победа досталась его настоятелю, и он немедленно приказал снести укрепленные дома горожан. Сохранились имена нескольких из тех, чьи дома были таким образом разрушены.

Если мы войдем внутрь этих домов наших предков и изучим способ строительства и образ жизни, который он раскрывает, мы обнаружим, что все приспособлено для войны и обладает воинственным характером.

Ниже приводится постройка бюргерского дома двенадцатого века, насколько мы можем судить на сегодняшний день. Обычно здесь было три этажа, с одной комнатой на каждом. Первый этаж представлял собой низкую комнату, в которой кормилась семья; второй этаж был очень приподнят в целях безопасности, что являлось самой замечательной особенностью конструкции. На этом этаже находилась комната, в которой жил хозяин дома со своей женой. Здание почти всегда было обрамлено башнями по углам, обычно квадратной формы, еще одним приспособлением для ведения войны и средством сопротивления. На втором и последнем этаже находилась комната, назначение которой неизвестно, но которая, вероятно, служила для

детей и остальных членов семьи. Наверху очень часто располагалась небольшая платформа, очевидно, предназначенная для обсерватории. Таким образом, вся конструкция дома наводит на мысль о войне. На самом деле, таков был действительный характер и истинное обозначение движения, которое привело к расширению избирательных прав в районах.

Теперь, когда война продолжается определенное время, кем бы ни были воюющие стороны, она обязательно заканчивается миром. Мирными договорами между районами и их противниками были хартии. Хартии районов были простыми мирными договорами между бюргерами и их начальством.

Восстание носило всеобщий характер. Когда я использую термин "*общий*", я не имею в виду, что между всеми бюргерами страны существовало какое-либо согласие или коалиция; отнюдь. Положение районов было почти везде одинаковым, они подвергались одной и той же опасности и претерпевали одни и те же несчастья. Овладев почти одинаковыми средствами сопротивления и нападения, они применили их почти в один и тот же момент. Возможно также, что этот пример возымел некоторый эффект и что успех одного или двух районов оказался заразительным. Иногда кажется, что хартии составлены по одному и тому же образцу; хартия Нуайона, например, послужила образцом для хартий Бове, Сен-Кантена и других. И все же я очень сомневаюсь, что example сработал в такой степени, как принято предполагать. Сообщения были сложными и редкими, отчеты расплывчатыми и неподтвержденными. Есть больше оснований полагать, что восстание было следствием аналогичной ситуации и стихийного общего движения. Опять же, я использую слово "*общий*" просто для того, чтобы выразить, что это произошло почти в каждом округе, поскольку это не было результатом единодушного и согласованного движения. Напротив, все было индивидуальным и локальным; каждый район восстал против своего начальника по своей особой причине, и все происходило в отдельных населенных пунктах.

Велики были превратности этой борьбы. Мало того, что успехи чередовались, но даже после того, как казалось, что мир заключен, и обе стороны поклялись соблюдать хартии, они нарушались или ускользали от выполнения всеми возможными способами. Королевская власть сыграла важную роль в чередовании этих раздоров, о которых я расскажу более подробно, когда перейду к рассмотрению самой королевской власти. Его влияние на движение за предоставление избирательных прав в районах было, возможно, слишком сильно преувеличено; иногда его вообще отрицали или слишком сильно недооценивали. В настоящее время я ограничиваюсь заявлением о том, что оно часто вмешивалось, на что ссылались иногда районы, иногда лорды; что оно часто играло противоположные роли, действуя то по одному принципу, то по другому и непрестанно меняя свои планы и поведение; но что в целом его действия сопровождались скорее хорошими, чем плохими последствиями.

Несмотря на все эти превратности и постоянные нарушения хартий, предоставление избирательных прав городкам было завершено в двенадцатом веке. Европа, и особенно Франция, которая была охвачена восстаниями, теперь была наполнена хартиями более или менее благоприятного направления. Степень безопасности, с которой жители районов пользовались ими, была разной, но все же они ими пользовались. Факт был установлен, и право было признано.

Теперь мы рассмотрим непосредственные последствия этого важного факта и изменения, которые он произвел в положении бюргеров в обществе.

Во-первых, это ничего не изменило, по крайней мере вначале, в отношениях бюргеров с общим управлением страной, с тем, что мы теперь называем государством; они вмешивались в это дело не в большей степени, чем раньше. Все оставалось местным и ограничивалось пределами феода.

Однако необходимо учитывать одно обстоятельство, чтобы изменить это утверждение. В то время между бюргерами и королем начала формироваться связь. Во многих случаях жители округов ссылались на поддержку короля против своего начальника или на его гарантии, когда была обещана хартия или дана присяга. В других случаях лорды призывали короля к суду между ними самими и бюргерами. По требованию той или иной из сторон, в силу стечения различных причин, королевская власть вмешивалась в ссоры, в результате чего между бюргерами и королем возникали довольно постоянные отношения, которые иногда становились очень интимными. Благодаря этим средствам простолюдины стали связаны с центром государства и начали поддерживать связи с правительством в целом.

Хотя все оставалось локальным, тем не менее результатом предоставления избирательных прав стало создание нового общего класса. Среди бюргеров не существовало никакой коалиции, и они, как класс, не имели никакого общественного и коллективного существования. Но земля была покрыта людьми, занимавшими одинаковое положение, с общими интересами и манерами, среди которых постепенно не могли не образоваться определенные узы и единство, которые, несомненно, породили класс бюргеров. Таким образом, необходимым результатом предоставления избирательных прав местным районам стало формирование крупного социального порядка - класса граждан, или бюргеров.

Мы не должны воображать, что этот класс был тогда тем, чем он стал с тех пор. Не только его ситуация сильно изменилась, но и его элементы или составные части были совершенно иными. В двенадцатом веке она состояла только из перекупщиков, ведущих мелкую коммерцию, и мелких собственников домов или земли, которые обосновались в городах. Три столетия спустя класс бюргеров включал, кроме того, юристов, врачей, местных судей и лиц, занимающихся различными литературными занятиями. Таким образом, он формировался последовательно и из очень различных элементов; но ни преемственности, ни разнообразию в его истории не уделялось должного внимания. Всякий раз, когда говорится о сословии бюргеров, оно, по-видимому, рассматривалось как состоящее из одних и тех же элементов во все эпохи. Такой вывод абсурден. Возможно, больше всего следует искать тайну его судьбы в разнообразии его состава в различные исторические эпохи. До тех пор, пока в ней не было ни магистратов, ни образованных людей — фактически до тех пор, пока она не стала тем, чем стала в шестнадцатом веке, — она не обладала ни таким высоким положением, ни таким большим влиянием в государстве. Необходимо проследить последовательный рост внутри нее новых профессий и относительных моральных позиций, нового интеллектуального развития, чтобы понять превратности ее судьбы и ее могущества. В двенадцатом веке она состояла, повторяю, из мелких торговцев, которые удалялись в города после совершения покупок и продаж, и владельцев домов или небольших поместий, которые обосновались в них. Таков был европейский бюргерский класс в его первых элементах.

Следующим великим результатом предоставления избирательных прав городкам стало соперничество классов, которое неизбежно вытекало из самого факта, соперничество,

занимающее всю современную историю. Европа в ее нынешнем виде возникла в результате борьбы между различными слоями общества. В других регионах, как я уже говорил ранее, соперничество привело к совершенно противоположным последствиям. В Азии, например, один класс полностью восторжествовал; система каст сменила систему классов, и общество впало в стагнацию. Слава Богу, в Европе ничего подобного не произошло. Ни один орден не был в состоянии победить или поработить другие; соперничество, вместо того чтобы стать принципом неподвижности, было причиной прогресса. Отношения различных классов между собой и необходимость, в которой они оказались, бороться и поочередно уступать, разнообразие их интересов и страстей, стремление к завоеваниям, не будучи в состоянии осуществить их, — из всего этого проистекал, возможно, самый энергичный и плодотворный принцип развития европейской цивилизации. Ордена были вовлечены в постоянную войну: они ненавидели друг друга; глубоко укоренившееся различие в положении, интересах и манерах породило среди них глубокую моральную неприязнь или антагонизм, и все же они постепенно сближались, объединяли и сливали свои различия. Каждая страна Европы была свидетелем того, как определенный общий дух, определенная общность интересов, идей и чувств укоренились и получили развитие в ее собственных пределах, которые восторжествовали над разногласиями. Например, во Франции в семнадцатом и восемнадцатом веках социальное и моральное разделение сословий все еще было глубоко укоренившимся; однако нет сомнения, что слияние уже тогда далеко продвинулось вперед и что существовала настоящая французская нация, не состоящая исключительно из одного класса, но включающая все классы, одушевленная определенным общим чувством, ведущая общее социальное существование и сильно привязанная к национальности.

Таким образом, из нашего разнообразия, вражды и воинственности возникло в современной Европе то национальное единство, которое стало столь блестящей чертой нынешнего времени и которое день ото дня стремится к развитию, еще более славному и благотворному.

Таковы огромные внешние, ощутимые и социальные последствия рассматриваемой революции. Теперь мы перейдем к выяснению, каковы были его моральные последствия или какие изменения оно произвело в умах самих бюргеров, кем, по сути, они стали в моральном смысле в своем новом положении.

Есть один факт, на который невозможно не обратить внимания, когда мы изучаем отношения бюргеров не только в XII веке, но и в последующие века с государством или правительством государства, с общими интересами страны. Я говорю о необычайной робости и смирении бюргеров, о чрезмерной скромности их притязаний по отношению к правительству своей страны и о легкости, с которой они проявляют самодовольство. Они не выдают того, что обладают тем истинным политическим духом, который стремится влиять, реформировать и управлять; они совершенно лишены смелости мысли и величия честолюбия. Они больше похожи на благоразумных и трудолюбивых вольноотпущенников.

Есть только два источника, из которых могут проистекать величие амбиций и смелость мысли в политической сфере. Должны присутствовать либо чувство и сознание осуществления важного влияния и огромной власти над судьбами других людей и на обширной сцене, либо энергичная убежденность в полной личной независимости, абсолютная уверенность в индивидуальной свободе и внутреннее убеждение в том, что судьба не зависит ни от какой другой воли, кроме воли самого человека. От того или иного из этих условий, по-видимому, зависят твердость ума,

возвышенность амбиций и желание действовать в более широкой сфере и способствовать достижению результатов высокой важности.

Ни то, ни другое не входило в положение средневековых бюргеров. Их значимость ограничивалась ими самими: за пределами их собственных городов или государства в целом их влияние было незначительным. У них также не было сильного чувства личной независимости. То, что они победили и получили хартеры, не имело особого значения. Городской житель, сравнивая себя с мелким лордом, который жил рядом с ним и который только что был побежден, чувствовал, несмотря на последний инцидент, свою крайнюю неполноценность; ему было чуждо то надменное чувство независимости, которое переполняло грудь владельца феода; его доля свободы была заключена не в нем самом, а в его общении с другими, основанном на помощи, трудной и ненадежной. Отсюда проистекали та сдержанность, робость духа, скромный трепет и раболепная покорность речи даже среди суровой решимости, которые так глубоко запечатлелись в жизни бюргеров двенадцатого века и которые дошли до их позднейших потомков. У них никогда не было вкуса к великим предприятиям; и когда судьба втягивала их в них, они испытывали беспокойство и смущение; груз ответственности слишком сильно давил на них; они чувствовали себя не в своей тарелке и страстно желали вернуться к более привычным привычкам; таким образом, они всегда были готовы вести дела на умеренных условиях. Таким образом, в ходе европейской истории, и особенно во Франции, мы обнаруживаем, что класс бюргеров уважали, им льстили, с ними даже советовались, но очень редко их боялись; они редко внушали своим противникам мысль о том, что они являются великой или высокодуховной силой, имеющей реальный политический вес. Эта слабость сравнительно современного бюргерского класса не вызывает удивления, поскольку ее основная причина явно связана с ее происхождением и теми обстоятельствами ее предоставления избирательных прав, которые я незадолго до этого отметил. Высокие амбиции, проявляемые независимо от социального положения, экспансия и смелость в политической мысли, стремление к вмешательству в дела государства, полное сознание достоинства человека как человеческого существа и масштабов его власти, если у него есть способность ее осуществлять, — это чувства и склонности совершенно современные, плоды современной цивилизации и той славной и гибкой общности, которая характеризует ее и которая никогда не может не обеспечить народу влияние и вес в правительстве страны, которых всегда не хватало и по необходимости должно было не хватать народу. бюргеры, наши предки.

Но, с другой стороны, они приобрели и проявили такую степень энергии, преданности, настойчивости и терпеливого рвения в напряженном отстаивании вверенных им местных интересов на их узком поприще, которая никогда не была превзойдена. Трудность выполнения этой задачи была так велика, и им приходилось бороться со столькими опасностями, что требовалось беспримерное проявление мужества. В наши дни существует очень ложное представление о жизни бюргера двенадцатого и тринадцатого веков. Сэр Вальтер Скотт дал в одном из своих романов "Квентин Дорвард" описание бургомистра Льежа, которого он изобразил как настоящего комедийного бюргера, толстого, вялого, невежественного и трусливого, занятого исключительно тем, чтобы безбедно проводить свою жизнь. Но бюргеры тех времен всегда носили кольчуги на груди и пики в руках; их образ жизни был почти таким же беспокойным, воинственным и грубым, как у лордов, с которыми они сражались. Именно в условиях постоянной опасности и стойкости ко всем тяготам военной жизни они приобрели ту

сильную решимость и упрямую энергию, которые несколько поубавились в более мягкой деятельности нашего времени.

Ни одно из этих социальных или моральных последствий предоставления избирательных прав местечкам не получило своего полного развития в двенадцатом веке; именно в последующие века они бесспорно проявляются и дают возможность их ясного различия. И все же столь же несомненно, что их семена были посеяны в первоначальном положении районов, в способе их предоставления избирательных прав и в том месте, которое бюргеры впоследствии заняли в обществе в целом. Поэтому я имею полное право предвосхищать их в настоящее время. Вследствие этого мы проникнем в самую глубь городка XII века и увидим, как им управляли и какие принципы и факты преобладали во взаимоотношениях горожан между собой.

Следует помнить, что, говоря о муниципальной системе, завещанной Римской империей современному миру, я утверждал, что Римская империя представляла собой великую коалицию муниципалитетов, которые ранее были суверенными державами, подобными самому Риму. Каждый из этих городов изначально существовал так же, как Рим, и был маленькой независимой республикой, заключавшей мир и войны и правившей по своему усмотрению. По мере того, как они включались в состав Римской империи, права, составляющие суверенитет, права на мир и войну, на законодательство, налогообложение и т. Д., Были отняты у каждого города и сосредоточены в Риме. Тогда оставался только один суверенный муниципалитет, Рим, господствовавший над огромным количеством муниципалитетов, которые больше не сохраняли ничего, кроме гражданского существования. Муниципальная система изменила свой характер, и вместо того, чтобы быть политическим правительством, наделенным суверенитетом, она стала простым способом управления делами. Это была великая революция, завершившаяся при Римской империи. Муниципальная система, став способом управления, была сведена к управлению местными делами и гражданским интересам города. Падение Римской империи оставило города и их учреждения в таком состоянии. Посреди варварского хаоса идеи перемешались в такой же путанице, как и факты; атрибуты суверенитета и атрибуты простого управления были смешаны. На эти различия больше не обращали внимания, и дела были предоставлены ходу необходимости. У каждой местности был свой суверен или администратор, в зависимости от событий или насущных потребностей. Когда города поднимали мятеж, чтобы обезопасить себя от произвольного разграбления, они присвоили себе суверенитет. Это ни в малейшей степени не было вызвано каким-либо уважением к политической теории или каким-либо чувством собственного достоинства. Но для того, чтобы иметь наилучшие средства сопротивления сеньорам, против которых они восстали, они присвоили себе право взимать сборы в ополчение, самообложение для поддержки войны, назначать своих собственных вождей и магистратов — одним словом, управлять самостоятельно. Управление внутри городов имело важное значение для обороны и безопасности. Таким образом, суверенитет вернулся к муниципальной системе, от которой он отказался в результате римских завоеваний. Районы снова стали независимыми и самоуправляющимися. Такова политическая характеристика их предоставления избирательных прав.

Конечно, не следует делать вывод, что этот суверенитет был полным. Всегда сохранялись какие-то следы внешней суверенности; иногда лорд сохранял за собой право посылать в город чиновника, который назначал местных магистратов своими ассессорами; иногда он имел право собирать определенные доходы, или в некоторых случаях ему была закреплена дань. Время от времени внешняя власть над районом переходила в руки короля.

Сами районы, войдя в лоно феодализма, имели вассалов и стали сюзеренами, или верховными лордами, и под этим титулом они обладали всей той частью суверенитета, которая по своей сути принадлежала феодальной власти. Возникла путаница между правами, которыми они были наделены своим феодальным положением, и теми, которые они завоевали своим восстанием; но под этим двойным титулом им принадлежал суверенитет.

Описание того, что происходило и как осуществлялось управление внутри района в первые века, может быть составлено следующим образом из очень неполных памятников, оставшихся для нашего ознакомления. Все жители образовали городские собрания; все те, кто был приведен к присяге в качестве граждан (и кто бы ни жил в пределах городских стен, был обязан принести присягу), были созваны на общее собрание по звуку часов. Там были назначены магистраты. Количество и форма судебных должностей были весьма разнообразными. После назначения магистратов собрание было распущено. Они правили почти единолично, со значительной степенью произвола и без какого-либо другого контроля или ответственности, кроме той, которая могла возникнуть в результате новых выборов или, скорее, народных восстаний, которые были распространенным методом привлечения к ответственности в те дни.

Таким образом, внутренняя организация районов была сведена к двум простым элементам — общему собранию жителей и правительству, облеченному почти произвольной властью, сдерживаемой восстаниями. Установить регулярное правительство и подлинные гарантии порядка и стабильности было невозможно, главным образом из-за состояния нравов. Большая часть населения городка находилась в таком состоянии невежества, жестокости и свирепости, что было очень трудно управлять им. За короткое время внутри района стало почти так же мало безопасности, как раньше было в отношениях горожан с верховным лордом. Тем не менее, довольно быстро сформировался высший класс бюргеров, причину которого можно легко угадать. Состояние идей и социальных отношений привело к созданию и юридическому оформлению промышленных профессий в компании или корпорации. Таким образом, в глубь районов была внедрена система привилегий или монополий и, как следствие, огромное неравенство. Вскоре во всех них появилось определенное количество важных и богатых бюргеров и более или менее многочисленное рабочее население, которое, несмотря на свою неполноценность, имело значительную долю влияния на дела района. Поэтому районы были разделены на два класса — высшее бюргерство и население, подверженное всем ошибкам и порокам толпы. Высокопоставленные бюргеры были загнаны в тупик огромными трудностями управления этим низшим населением, с одной стороны, и постоянными усилиями старого лорда городка вновь узурпировать свою власть — с другой. Таково было их положение не только во Франции, но и во всей Европе вплоть до шестнадцатого века, и это, возможно, было главной причиной, не позволившей городкам приобрести все то политическое значение, которое они могли бы в противном случае иметь в нескольких странах Европы, и особенно во Франции. В них постоянно боролись два принципа: среди низшего населения — слепой, безрассудный и свирепый демократический дух; и, следовательно, среди высшего населения — дух робости и управления, побуждавший с чрезвычайной легкостью идти на компромиссы либо с королем, либо с древними лордами, чтобы восстановить порядок и покорность внутри сообщества. Эти две тенденции своим раздельным действием фактически помешали районам занять важное место в общем государстве.

Все эти последствия не проявились в XII веке; однако мы можем предвидеть их исходя из самого характера восстания, из того, как оно началось, и из состояния различных составляющих частей населения городка.

Таковы, если я не ошибаюсь, основные характеристики и общие результаты как предоставления избирательных прав жителям районов, так и их внутреннего управления. Я уже говорил, что они не были такими единообразными и универсальными, какими я их представлял. Напротив, в истории европейских городов наблюдается большое разнообразие. Например, в Италии и на юге Франции преобладала римская муниципальная система; население не было так сильно разделено или неравноправно, как на севере. Организация района также была намного лучше, либо из-за сохранившихся римских традиций, либо из-за более высокого положения населения. На севере именно феодальная система повлияла на существование городка. Там все было подчинено успешной борьбе с лордами. Южные районы были гораздо больше заняты своей внутренней организацией, улучшениями и средствами продвижения. Они прокладывали путь к тому, чтобы стать независимыми республиками. Судьба северных районов, особенно французских, приобрела более грубый незавершенный вид; судьба гораздо более низкого развития. Если мы обследуем районы Германии, Испании и Англии, мы обнаружим в них различия другого рода. В мои намерения не входит вдаваться в эти подробности; у нас будет возможность отметить некоторые из них по мере продвижения в истории цивилизации. При их первоначальном формировании все вещи были смешаны почти по одному подобию, и только в результате последовательного развития возникло это разнообразие. Последующие события подтолкнули общества к тому великому и одновременному единству, которое является славной целью усилий и надежд человеческой расы.

Лекция VIII.

Двенадцатый и тринадцатый века.

Крестовые походы.

До сих пор я не изложил всего плана моего расследования. Я начал с указания его цели, а затем продолжил, не рассматривая европейскую цивилизацию в целом или не выделяя в одно и то же время пункт отправления, курс и порт; то есть начало, середину и конец. Однако сейчас мы вступили в эпоху, когда этот обзор целого, этот общий набросок региона, который мы пересекаем, становится необходимым. Периоды, которые мы исследовали до сих пор, в какой-то мере иллюстрируются сами по себе или непосредственными и отчетливыми результатами. Те из них, к которым мы собираемся перейти, не были бы поняты и действительно не вызвали бы живого интереса, если бы они не были связаны со своими самыми косвенными и отдаленными последствиями. В столь обширном исследовании случаются моменты, когда разум стремится прояснить конечную цель и чувствует нежелание продолжать путь в тумане и темноте перед собой; он стремится узнать не только то, откуда мы пришли и где находимся, но и то, куда мы направляемся. Это то, что мы чувствуем в настоящее время. Эпоха, в которую мы сейчас вступаем, понятна, и ее важность можно оценить только по отношениям, которые связывают ее с современностью. Его истинная тенденция была выявлена только в очень поздний период.

Сейчас мы обладаем почти всеми существенными элементами европейской цивилизации. Я говорю "почти", потому что я еще не вступил в королевские права. Эпоха решающего развития королевской власти наступила только в двенадцатом или даже тринадцатом веке; только тогда этот институт был по-настоящему создан и начал занимать свое окончательное место в современном обществе. По этой причине я не касался этого ранее, но это станет темой моей следующей лекции. За этим исключением, однако, мы постигаем все великие элементы европейской цивилизации: феодальная аристократия, церковь и районы - все они были прослежены до их происхождения; были открыты институты, соответствующие каждому из этих вопросов, и не только институты, но также принципы и идеи, которые они должны были возбуждать в умах людей. Таким образом, рассматривая феодализм, мы обратились к колыбели современного домашнего хозяйства, к святилищу домашней жизни; и мы полностью поняли преобладающее чувство индивидуальной независимости во всей его энергии и то влияние, которое ему было суждено оказать на нашу цивилизацию. Что касается вопроса о церкви, то мы были свидетелями возникновения чисто религиозного общества, его отношений с гражданским обществом, теократического принципа, отделения духовной власти от светской, первых объектов преследований и первых призывов к свободе совести. Рассмотрение зарождающихся районов показало ассоциацию, основанную на принципах, совершенно противоположных принципам феодализма или церкви, разнообразие социальных классов, их соперничество, первые и глубоко укоренившиеся черты современных бюргерских нравов, робость духа рядом с твердой решимостью и распущенность толпы, сопровождаемая принципами законности, Одним словом, все элементы, которые сочетались в устройстве европейского общества, и все, чем это общество было, теперь были полностью изучены.

Теперь давайте перенесемся в самую гущу современной Европы; я имею в виду не нынешнюю Европу после поразительных перемен, свидетелями которых мы стали, а Европу семнадцатого и восемнадцатого веков. Узнаем ли мы общество, которое мы только что видели в двенадцатом? Какая поразительная разница! Я уже подробно останавливался на этом различии, когда обсуждал районы; затем я попытался показать, насколько мало третье сословие восемнадцатого века походило на сословие двенадцатого? Рассматривая феодализм и церковь таким же образом, мы поражаемся подобной метаморфозе. Между знатью двора Людовика XIV и феодальной аристократией или между церковью кардинала де Берниса и церковью аббата Сугера было не больше сходства, чем между третьим сословием восемнадцатого века и бюргерами двенадцатого. В промежутке между этими двумя эпохами общество (хотя и обладало всеми своими элементами) полностью трансформировалось.

Я попытаюсь ясно объяснить общий и существенный характер этой трансформации.

С пятого по двенадцатый век общество содержало все, что я описал, — королей, светскую аристократию, духовенство, бюргеров, крепостных, религиозные и гражданские власти, фактически зародыши всего, что составляет нацию и правительство, и все же ни правительства, ни нации не было. Что же касается народа, собственно так называемого, или настоящего правительства в том смысле, в каком эти слова применяются сейчас, то ничего подобного за весь упомянутый период не было. Мы столкнулись со множеством особых сил, особых фактов и местных институтов, но ничего общего или публичного, никакой политической системы в строгом смысле этого слова; короче говоря, никакой реальной национальности.

Давайте, напротив, посмотрим на Европу семнадцатого и восемнадцатого веков. Мы видим, что повсюду на мировой сцене появляются две великие формы - правительство и нация. Общество формируется, и история рассматривается в связи с действием общей власти на всю страну и влиянием этой страны на власть, которая ею управляет; взаимные связи этих двух великих сил, их союз и их борьба являются особыми объектами истории. Дворяне, духовенство, бюргеры, все эти особые классы и силы больше не имеют выдающегося облика, но слиты и стерты этими двумя великими органами, правительством и нацией.

Это, если я не ошибаюсь, существенная черта, отличающая современную Европу от первобытной, и метаморфоза произошла между тринадцатым и шестнадцатым веками.

Следовательно, именно между этими двумя эпохами раскрывается тайна, и отличительный характер эпохи, в которую мы вступаем, заключается в том, что она использовалась для превращения первобытной Европы в современную; отсюда ее важность и высокий исторический интерес. Пока мы не рассмотрим это с этой точки зрения и не попытаемся узнать, что из этого вышло, мы не только не сможем понять эпоху, но и почувствуем усталость от ее преследования. Фактически, рассматриваемый сам по себе и независимо от его последствий, это был период без характера, время, в течение которого беспорядок продолжал нарастать, а причины не были очевидны, эпоха движения без направления, волнений без результата; члены королевской семьи, дворянство, духовенство, бюргерство, все элементы общественного порядка продолжали вращаться по одному и тому же кругу, все в равной степени неспособные к прогрессу и покою. Проводились всевозможные эксперименты, и все они терпели неудачу; предпринимались попытки придать стабильность правительству, основу общественной свободе, даже провести религиозные реформы, но ничего не было достигнуто, ничто не достигло апогея. Если человеческая раса когда-либо была обречена на судьбу одновременно беспокойную и неподвижную, на труд, одновременно неустанный и бесплодный, то таковы, несомненно, были черты ее состояния с тринадцатого по пятнадцатый век.

Я знаю только одно произведение, в котором правдиво изображена эта черта характера, а именно "Историю герцогов Бургундских" г-на де Баранте. Я имею в виду не правду, которая сверкает в его описаниях нравов или мельчайших подробностей событий, а ту общую правдивость, которая делает все его произведение верным изображением, прозрачным зеркалом целой эпохи, беспокойство и монотонность которой оно так хорошо раскрывает.

Рассматриваемая, напротив, в ее связи с тем, что последовало за ней, как период перехода от первобытного к современному состоянию Европы, рассматриваемая эпоха приобретает ясность и оживление; единообразие в целом, направление и прогресс обнаруживаются мгновенно; ее единство действий и ее интерес заключаются в самом тяжелом и непонятном труде, который привел к достижению цели.

Таким образом, историю европейской цивилизации можно разделить на три великих периода. Во-первых, период, который я назову периодом происхождения, становления, в который различные элементы нашего общества вышли из хаоса, обрели бытие и проявили себя в своих естественных формах со своими оживляющими принципами. Этот период затянулся почти до двенадцатого века. Во-вторых, второй период был периодом проб, экспериментов, нащупывания; различные элементы социального порядка тянулись друг к другу, соприкасались и, если можно так выразиться, ощущали друг друга, но не могли выделить ничего общего, регулярного и прочного. Это состояние прекратилось только в шестнадцатом веке. В-третьих,

последний - это период развития, собственно так называемый, в течение которого человеческое общество приняло окончательную форму в Европе, преследовало определенное направление и быстро продвигалось в целом к ясной и точной цели. Это началось в шестнадцатом веке и продолжается до сих пор.

Таков, по моему общему мнению, аспект европейской цивилизации, и в таком свете я попытаюсь представить его. В настоящий момент мы вступаем во второй период. Мы должны исследовать в нем великие кризисы и определяющие причины социальных преобразований, которые к ним привели.

Первое великое событие, которое стоит перед нами и как бы открывает эпоху, о которой мы говорим, - это феномен крестовых походов. Они начались в конце одиннадцатого и заполнили двенадцатое и тринадцатое столетия. Они, несомненно, представляют собой великое событие, которое с момента своего свершения постоянно занимало историков-философов, все из которых, еще до того, как приступить к конкретному анализу, чувствовали, что это было одно из тех влияний, которые меняют состояние населения, и которое было настоятельно необходимо тщательно изучить, чтобы получить ясное представление об общем ходе вещей.

Главной характеристикой крестовых походов является их универсальность. В них участвовала вся Европа; это было первое европейское событие. До крестовых походов Европа никогда не была движима одинаковыми чувствами и не действовала по одному и тому же делу; фактически Европы не существовало. Крестовые походы создали христианскую Европу. Французы составляли основную часть первой армии крестоносцев, но были также немцы, итальянцы, испанцы и англичане. Возьмем второй или третий крестовый поход; в каждом участвовали все христианские нации. Ничего подобного никогда не было засвидетельствовано.

Это было еще не все. Точно так же, как крестовые походы были европейским событием, в каждой стране они были национальным событием. В каждой нации все классы общества были одушевлены одним и тем же убеждением, подчинялись одной и той же идее и отдавались одному и тому же восторженному порыву. Короли, лорды, священники, бюргеры, земледельцы - все проявляли одинаковый интерес и принимали одинаковое участие в крестовых походах. Возникло моральное единство между нациями — факт столь же новый, как и европейское единство.

Когда такие события происходят в молодости наций, в те времена, когда они происходят спонтанно, под влиянием свободного импульса, без преднамеренности, политических намерений или правительственных комбинаций, мы признаем их тем, что история называет героическими событиями, и свидетельствующими о героическом возрасте наций. Крестовые походы были, по сути, героической эпохой современной Европы — движением одновременно индивидуальным и всеобщим, национальным и все же неуправляемым.

Все документы подтверждают, а все факты доказывают, что на самом деле таков был их примитивный характер. Кто были первые крестоносцы, которые пришли в движение? Группы населения, которые ушли под предводительством Петра Отшельника, без подготовки, без проводников или вождей, скорее за ними, чем во главе, следовали какие-то неизвестные рыцари, и которые, пройдя Германию и греческую империю, рассеялись или погибли в Малой Азии.

Высший класс, феодальная знать, в свою очередь, жаждала крестового похода. Под командованием Готфрида Бульонского лорды и их сторонники отправились в путь, полные энтузиазма. Когда они пересекли Малую Азию, вожди стали вялыми и утомленными, не были расположены продолжать путь и почувствовали склонность отбросить все соображения, кроме самих себя, совершать завоевания и завоевывать авторитет. Рядовой состав армии возмутился; они были полны решимости идти на Иерусалим; освобождение Иерусалима было целью крестового похода, а не завоевание княжеств для Раймонда Тулузского, Боэмунда или каких-либо других. Народный, национальный, европейский импульс возобладал над всеми индивидуальными планами; вожди не имели достаточного влияния на массы, чтобы подчинить их своим эгоистичным интересам.

Монархи, которые оставались в стороне от первого крестового похода, наконец были вовлечены в движение наравне с народом. Великими крестовыми походами двенадцатого века командовали короли.

Я сразу перехожу к концу тринадцатого века. О крестовых походах все еще говорили в Европе, их все еще проповедовали с рвением. Папы призывали государей и народ; проводились соборы в честь Святой Земли; но все медлило и было безразлично к поездке. Что-то произошло в европейском сознании и обществе, что положило конец крестовым походам. Все еще были отдельные экспедиции; несколько лордов и групп людей все еще отправлялись в Иерусалим, но общее движение, очевидно, было остановлено. И все же не похоже, что исчезла необходимость продолжать это занятие или легкость в этом. Мусульмане все больше и больше торжествовали в Азии. Христианское королевство, основанное в Иерусалиме, попало в их власть. Необходимо было отвоевать его; для обеспечения успеха требовались средства гораздо большие, чем в то время, когда начались крестовые походы; огромное количество христиан утвердилось и все еще оставалось могущественным в Малой Азии, Сирии и Палестине. Лучшие способы путешествовать туда и действовать эффективно были гораздо лучше известны, чем в более ранний период. Но, однако, все это было бесполезно для возрождения духа крестоносцев. Ясно, что две великие силы общества — монархи, с одной стороны, и нации, с другой, — не желали больше крестовых походов.

Неоднократно говорилось, что это произошло от усталости; что Европа устала от такого излияния на Азию. Уместно, чтобы это слово *усталость*, которое так часто используется в подобных случаях, было понято, поскольку оно на редкость неуместно. Неправда, что человеческие поколения устали от того, чего они не сделали, устали от трудов своих отцов. Усталость носит личный характер и не передается по наследству. Люди тринадцатого века не были утомлены крестовыми походами двенадцатого; на них действовала другая причина. В идеях, чувствах и общественном положении произошли большие перемены. Прежние желания больше не ощущались. В одни и те же вещи больше не верили и не желали их. Такие политические или моральные метаморфозы, а не усталость, объясняют различное поведение сменяющих друг друга поколений. Усталость, которую им приписывают, — это метафора, лишенная истины.

Две великие причины, одна моральная, другая социальная, толкнули Европу в крестовые походы.

Моральной причиной был импульс, проистекающий из религиозных чувств и вероучения. С конца VII века христианство боролось с магометанством и победило его в Европе после того, как оно подверглось страшной угрозе; ему удалось ограничить его распространение Испанией. Оттуда также постоянно прилагались усилия, чтобы изгнать его. Крестовые походы были представлены как своего рода случайность, как непредвиденное и непреднамеренное событие, вызванное выступлениями паломников по возвращении из Иерусалима и проповедями Петра Отшельника. Ничего подобного. Крестовые походы были продолжением и апогеем великого противостояния, продолжавшегося четыре столетия между христианством и магометанством. Театр этого конкурса ранее находился в Европе, затем его перенесли в Азию. Если бы я придавал какое-то значение тем сравнениям и параллелям, с помощью которых люди иногда с удовольствием выдвигают, уместно или неподходяще, исторические факты, я мог бы представить христианство как идущее в Азии точно таким же путем и претерпевающее ту же судьбу, что и магометанство в Европе. Мусульманство утвердилось в Испании, где оно завоевало и основало королевство и княжества. Христиане поступали так же и в Азии, и они оказались по отношению к мусульманам в том же положении, что и последние в Испании по отношению к христианам. Иерусалимское королевство и королевство Гренада точно соответствовали друг другу. Однако подобные сходства не имеют большого значения. Важным фактом было соперничество двух религиозных и социальных систем. Крестовые походы были его главным и кульминационным кризисом. В этом их исторический характер, связь, которая объединяет их во всей полноте событий.

Другая причина, социальное состояние Европы в XI веке, в равной степени способствовала их появлению. Я подробно объяснил, почему ничто общего характера не могло утвердиться в Европе с пятого по одиннадцатый век, и я попытался показать, насколько полно преобладала местная система и в каких узких рамках были ограничены государства, существование и умы. Феодалная система добилась этого. Через некоторое время столь узкие рамки перестали устраивать; человеческая мысль и деятельность стремились выйти за пределы, которыми они были ограничены. Бродячая жизнь прекратилась, но вкус к ее волнениям и приключениям остался. Население устремилось в крестовые походы как к новому существованию, более широкому и разнообразному, чем их собственное, доставляющему им удовольствие, поскольку одновременно напоминало о древней свободе варварства и открывало широкие перспективы на будущее.

Таковы были, на мой взгляд, определяющие причины крестовых походов в двенадцатом веке. В конце тринадцатого века ни того, ни другого больше не существовало. Человечество и общество изменились настолько, что ни моральный импульс, ни социальные нужды, которые толкнули Европу в Азию, больше не ощущались. Любопытно сравнить современных летописцев первых крестовых походов с летописцами конца двенадцатого и тринадцатого веков; например, Альберта из Экса, Роберта монаха и Раймона из Агилеса, которые присутствовали в первом крестовом походе, с Вильгельмом из Тира и Джеймсом из Витри. Когда мы сводим вместе эти два класса писателей, нас сразу поражает дистанция, которая их разделяет. Первые - это живые хроникеры с возбужденным воображением, которые с большой теплотой рассказывают о событиях крестового похода. Но их умы были чрезвычайно узки, не имея представления о той мелкой сфере, в которой они жили, они были чужды всякой науке, полны предрассудков и неспособны составить какое-либо суждение о том, что происходило вокруг них, или о событиях,

о которых они рассказывают. Напротив, открывая историю Вильгельма Тирского, мы с удивлением обнаруживаем в нем почти историка нового времени, развитый, экспансивный и непредубежденный ум, редкое политическое понимание событий, всесторонние взгляды и суждения, основанные на причинах и следствиях. Иаков Витрийский представляет пример другого уровня развития; это образованный человек, который выводит свои исследования за рамки того, что имеет непосредственное отношение к крестовым походам, и распространяется на состояние нравов, географию, язычество и естественную историю; фактически, это тот, кто наблюдает и описывает мир. В конце концов, между летописцами первых крестовых походов и историками последних существует огромный промежуток времени, достаточный, чтобы убедить нас в подлинной революции в состоянии человеческого разума.

Эта революция особенно заметна в чувстве, с которым эти два класса упоминают мусульман. Для первых хронистов и, следовательно, для первых крестоносцев, выражением которых они являются, мусульмане являются объектами только ненависти; очевидно, что те, кто говорит о них, не знают их и не судят о них на основании доказательств, но рассматривают их только в слепоте религиозной вражды, которая существует между ними: мы не обнаруживаем никаких следов какой-либо взаимной социальной связи; они ненавидят их и борются с ними, не более того. Вильгельм Тирский, Джеймс Витрийский и Бернард казначей говорят о мусульманах совершенно иначе; хотя они и борются с ними, ясно, что они больше не смотрят на них как на чудовищ, что они в определенной степени прониклись их идеями, что они жили с ними, и что между ними установились отношения, и даже своего рода симпатия. Вильгельм Тирский произносит прекрасную хвалебную речь Нуреддину, а Бернард казначей - Саладину. Иногда они даже заходят так далеко, что противопоставляют манеры и поведение мусульман манерам и поведению христиан, и восхваляют мусульман, чтобы высмеять христиан, подобно тому, как Тацит описывал манеры германцев как противоположность манерам Рима. Итак, перемена, должно быть, была огромной, произошедшая между двумя эпохами, поскольку в последней мы находим свободу и беспристрастие духа по отношению к самим врагам христиан, тем, против кого были направлены сами крестовые походы, которые наполнили бы первых крестоносцев изумлением и яростью.

Таков был первый и главный результат крестовых походов, большой шаг к освобождению избирательных прав разума и значительный прогресс в направлении более широких и непредвзятых идей. Начатые во имя и под влиянием религиозных принципов, крестовые походы отняли у религиозных идей, я не скажу, что их законную долю влияния, но исключительное и деспотическое владение человеческим разумом. Это последствие, несомненно, совершенно непредвиденное, было вызвано различными причинами. Первая, безусловно, была вызвана новизной, масштабом и разнообразием сцен, которые были предложены взору крестоносцев. С ними случилось то, что обычно случается с путешественниками. Просто банально говорить, что ум путешественника становится свободным и что обычай сравнивать различные нации, нравы и мнения расширяет представления и очищает суждения от древних предрассудков. Теперь тот же факт произошел с этими странствующими народами, которых называли крестоносцами; их умы открылись и возвысились благодаря простому обстоятельству наблюдения множества различных вещей и знакомства с нравами, отличными от их собственных. Кроме того, они

вступили в отношения с двумя цивилизациями, не только разными, но и более развитыми, а именно с греческим обществом, с одной стороны, и мусульманским - с другой. Не может быть никаких сомнений в том, что греческое общество, хотя его цивилизация была выхолощенной, коррумпированной и умирающей, оказало на крестоносцев влияние общества более развитого состояния, более отточенного и просвещенного, чем у них. Мусульманское общество предложило им зрелище того же характера. Любопытно проследить в хрониках впечатление, которое крестоносцы произвели на мусульман; последние при их первом приближении рассматривали их как варваров, как самых жестоких, свирепых и глупых смертных, которых им приходилось видеть. Крестоносцы, со своей стороны, были поражены демонстрацией богатства и утонченностью манер мусульман. Частые отношения между двумя людьми вскоре сменили это первое впечатление. Они расширились и стали гораздо более важными, чем принято считать. Не только христиане Востока поддерживали обычные отношения с мусульманами, но Восток и Запад познакомились друг с другом, стали посещать друг друга и общаться. Не так давно один из тех ученых людей, которые сделали Францию почетной в глазах Европы, г-н Абель Ремюза, пролил свет на сношения между монгольскими императорами и христианскими королями. Монгольские послы были отправлены к франкским королям, в том числе к Людовику Святому, чтобы склонить их к заключению союза и возобновлению крестовых походов во имя общих интересов монголов и христиан против турок. И таким образом были установлены не только дипломатические или официальные отношения между монархами, но они распространялись на частые и разнообразные отношения между населением. Я процитирую дословно г-на Ремюза. [Сноска 11]

[Сноска 11: "Воспоминания о политических отношениях христианских князей с монгольскими императорами". — Вторые мемуары, стр. 145-157.]

- Очень многим итальянским, французским и фламандским монахам были поручены дипломатические миссии при великом хане. Выдающиеся монголы приезжали в Рим, Барселону, Валентию, Лион, Париж, Лондон и Нортгемптон, а францисканец Неаполитанского королевства был архиепископом Пекина. Его преемником стал профессор теологии парижского факультета. Но сколько других менее известных людей были привлечены вслед за ними, либо в качестве рабов, либо привлеченные жаждой наживы, либо побуждаемые любопытством, в страны, до того неизвестные! Случай сохранил имена некоторых. Первым послом, прибывшим со стороны татар с визитом к королю Венгрии, был англичанин, изгнанный из своей страны за определенные преступления и который, объездив всю Азию, в конце концов поступил на службу к монголам. Фламандский сапожник встретил в глубинах Татарии женщину из Меца по имени *Пакетт*, которую увезли в Венгрию; парижского ювелира, чей брат обосновался в Париже на большом мосту; и молодого человека из окрестностей Руана, который участвовал во взятии Белграда. Он увидел также нескольких русских, венгров и фламандцев. Певчий по имени *Робер*, после путешествия по Восточной Азии, вернулся, чтобы закончить свои дни в Шартрском соборе. Татарин был поставщиком шлемов в армии Филиппа Красивого. Джон де Планкарпен встретился близ Гаюка с русским дворянином, которого он называет *Темером*, который исполнял обязанности переводчика; несколько купцов из Бреслау, Польши и Австрии сопровождали его в путешествии в Татарию. Другие вернулись вместе с ним через Россию; это были генуэзцы, пизанцы и венецианцы. Два венецианских купца, которых Хазард проводил в Бухару, согласились следовать за монгольским послом из Хулагу, отправленным в Хубалай. Они прожили несколько лет в Китае и Татарии, вернулись с письмами от великого хана для папы римского, вернулись к великому хану, взяв с собой сына одного из них, знаменитого Марко

Поло, и снова покинули двор Хубалаи, чтобы вернуться в Венецию. Путешествия такого рода были не менее частыми и в последующую эпоху. В их числе имена сэра Джона МанDEVИЛЛЯ, английского врача, Ордерики Фриульского, Пеголетти, Уильяма Бульдеселя и нескольких других. Мы можем легко понять, что те, память о ком сохранилась, составляют лишь очень малую часть тех, что были предприняты, и что в рассматриваемый период было больше людей, способных совершать дальние путешествия, чем писать о них отчеты. Очень многие из этих авантюристов, должно быть, осели и умерли в странах, которые они собирались посетить. Другие вернулись на родину такими же безвестными, как и уехали, но с воображением, наполненным увиденным, и подарили своим семьям отношения, несомненно, весьма окрашенные, но тем самым оставившие вокруг себя, среди смешных басен, полезные воспоминания и традиции, способные принести хорошие плоды. Таким образом, в Германии, Италии и Франции в монастырях, в замках феодалов и даже в низших слоях общества хранились драгоценные сувениры, которым несколько позже суждено было быть обращенными в счет. Все эти неизвестные путешественники, увозя искусства своих стран в далекие страны, привозили оттуда другие, не менее ценные, и производили, сами того не подозревая, более выгодные обмены, чем все виды торговли. Благодаря этим средствам не только торговля шелками, фарфором и индийскими товарами стала расширяться и становиться более практичной, открывая новые пути для коммерческой промышленности и деятельности, но и, что имело еще большее значение, иностранные нравы, неизвестные народы и необычные производства овладели умами европейцев, вытесненных со времени падения Римской империи в слишком узкий круг. Они начали должным образом оценивать самую прекрасную, наиболее населенную и древнецивилизованную из четырех четвертей земного шара. Они приступили к изучению искусств, верований и идиом народов, населявших его, и даже был разработан проект создания кафедры татарского языка в Парижском университете. Романтические рассказы, которые вскоре были изучены и оценены по заслугам, распространили со всех сторон более справедливые и всеобъемлющие идеи. Казалось, мир открылся с Восточной стороны; география сделала огромный шаг вперед; и жажда открытий стала новым направлением, в которое устремился дух приключений европейцев. Когда наше собственное полушарие стало лучше известно, идея существования другого перестала представляться разуму парадоксом, лишенным всякого правдоподобия; и именно во время экспедиции в поисках Зипанго Марко Поло Христофор Колумб открыл Новый Свет".

Здесь мы видим, какой обширный и новый мир открылся европейскому сознанию благодаря обстоятельствам, вызванным импульсом крестовых походов в тринадцатом и четырнадцатом веках. Мы не можем сомневаться, что это была одна из самых мощных причин умственного развития и свободы, которые вырвались наружу в конце той великой эпохи.

Заслуживает упоминания еще одно обстоятельство. До крестовых походов римский двор — центр церкви — поддерживал связь с мирянами только через духовенство, либо через легатов, посланных Римом, либо через епископов и все духовенство в целом. Конечно, всегда были какие-то миряне, имевшие прямые отношения с Римом; но, в целом, именно через священнослужителей он общался с населением. Напротив, во время крестовых походов Рим стал перевалочным пунктом для значительной части крестоносцев, как при отправлении, так и при возвращении. Таким образом, множество мирян получили возможность более внимательно изучить политику и нравы папского двора и определить, насколько личный интерес был примешан к религиозным дискуссиям. Едва ли можно сомневаться в том, что этот новый вид знаний вдохновил многочисленные умы на стойкость, о которой раньше и не мечтали.

Когда мы размышляем о состоянии общественного мнения в целом, и особенно в том, что касается церковных вопросов, по окончании крестовых походов, нас не может не поражать один необычный факт. Мы не находим, что религиозные идеи изменились или что они были вытеснены противоположными или просто разными мнениями, и все же мнение стало бесконечно более свободным, религиозные догмы больше не были единственной сферой, в которой человеческий разум давал себе простор; но, не отказываясь полностью от них, он начал избавляться от них и переносить свои исследования в другие сферы. Таким образом, к концу XIII века моральная причина, которая спровоцировала крестовые походы или которая была, по крайней мере, их наиболее энергичным принципом, исчезла; моральное состояние Европы претерпело глубокие изменения.

Социальное государство также претерпело изменения аналогичного характера. Много труда было потрачено на изучение влияния крестовых походов в социальном отношении; было показано, что большое число владельцев феодальных владений были вынуждены продавать их королям или выдавать хартии городам с целью сбора денег и участия в крестовых походах; а также что из-за простого их отсутствия многие лорды потеряли значительную часть власти. Не вдаваясь в подробности, я думаю, что влияние крестовых походов на социальное государство можно свести к нескольким общим фактам.

Они значительно сократили количество мелких феодалов, мелких владений и мелких собственников и сосредоточили собственность и власть в меньшем количестве рук. Именно после крестовых походов мы обнаруживаем, что великие феодальные владения распространились по всей стране.

Я часто сожалел, что нет карты Франции, разделенной на феоды таким же образом, как у нас карта разделена на департаменты, округа (окружности), кантоны и боро, на которой были бы обозначены все феоды с их протяженностью, отношениями и последовательными изменениями. Если бы с помощью такой карты мы могли сравнить состояние Франции до и после крестовых походов, мы бы с первого взгляда поняли, сколько феодальных владений исчезло и до какой степени увеличились большие и средние феоды. Это был один из самых важных результатов крестовых походов.

И даже когда мелкие собственники сохранили свои поместья, они перестали жить так изолированно, как раньше. Владельцы крупных поместий становились центрами, вокруг которых собирались мелкие и проводили свою жизнь. Во время крестовых походов они сочли необходимым встать под знамена самого богатого и могущественного и получить от него помощь. С этим вождем они жили, разделяли его судьбу и разделяли его приключения. Когда они вернулись домой, эта общительность и привычка общаться с начальником закрепились в их манерах. Итак, хотя мы видим, что крупные феоды расширились после крестовых походов, мы также обнаруживаем, что их владельцы держали в своих замках гораздо более значительный двор, чем раньше, и имели при себе большое количество дворян, которые сохранили свои небольшие владения, но больше не запирались в них.

Расширение крупных феодальных владений и создание различных центров общества вместо существовавших ранее рассеяния и изоляции были двумя величайшими результатами крестовых походов в условиях феодализма.

Что касается бюргеров, то результат той же природы сразу заметен. Крестовые походы были средством создания больших городов. Мелкой внутренней торговли и промышленности было недостаточно для образования таких районов, как крупные города Италии и Фландрии. Их возвышение было обусловлено торговлей в широких масштабах, морской торговлей, и особенно торговлей между Востоком и Западом. Таким образом, именно крестовые походы придали морской торговле самый сильный импульс, который она когда-либо получала.

В целом, когда мы смотрим на состояние общества по окончании крестовых походов, мы обнаруживаем, что та тенденция к рассеянию и распаду, то движение к всеобщей локализации, если мне будет позволено так выразиться, которое предшествовало той эпохе, прекратилось и было заменено тенденцией противоположного характера, движением к централизации. Все было готово к соединению и слиянию. Меньшие существа были поглощены большими или группировались вокруг них. В этом направлении двигалось общество, к этой цели были направлены его достижения.

Теперь мы ясно понимаем, почему нации и монархи в конце тринадцатого и в четырнадцатом веках были безразличны к крестовым походам. У них больше не было для них ни повода, ни склонности; они были брошены на них импульсом религиозного духа и исключительным господством религиозных идей над всем их существованием; это господство было на исходе, его энергия иссякла. Крестовые походы были рекомендованы им также новизной, масштабом и разнообразием открывшихся им сцен, и они начали находить в самой Европе, в развитии социальных отношений, жизнь, обладающую всеми этими характеристиками. Именно в эту эпоху перед королями открылась карьера политического возвышения. Зачем отправляться на поиски королевств в Азии, когда им предстояло завоевывать их у их порогов? Филипп Август отправился в крестовый поход во многом против своего желания; его нежелание было вполне естественным, поскольку ему еще предстояло провозгласить себя королем Франции. На людей это повлияло таким же образом. Перед ними был открыт путь к богатству, и они отказались от романтики ради труда. Монархи заменили политические дела приключениями, а народ расширил промышленность. Только один класс общества продолжал поддерживать вкус к приключениям, а именно та часть феодальной знати, которая, находясь на слишком низком уровне, чтобы претендовать на политическое возвышение, и презирая труд, сохранила свое старое положение и свои древние манеры. Поэтому она продолжала участвовать в крестовых походах и прилагать усилия к их возрождению.

Таковы, согласно моей концепции, были великие и подлинные последствия крестовых походов: с одной стороны, распространение идей, предоставление избирательных прав; с другой - усиление отдельных сил и более широкая сфера, открытая для всех видов деятельности. Они привели, в одно и то же время, к росту индивидуальной свободы и политическому единству. Они способствовали независимости человека и централизации общества.

Было направлено множество запросов, чтобы выяснить, какие средства цивилизации были непосредственно импортированы с Востока. Было сказано, что большинство великих открытий, которые в течение четырнадцатого и пятнадцатого веков так сильно стимулировали развитие европейской цивилизации, — компас, книгопечатание и порох — были известны на Востоке и, возможно, были привезены оттуда крестоносцами. В определенной степени это верно. Однако некоторые из этих утверждений оспариваемы. Но что не так, так это то влияние, тот общий

эффект крестовых походов на умы людей, с одной стороны, и на общество - с другой; они вытащили европейское общество из узкой канализации и направили его вперед по новым и широким путям; они положили начало тому переселению различных элементов или частей европейского общества в правительства и нации, которое является характерным для современной цивилизации. В тот же период была создана королевская семья, один из институтов, внесших наиболее весомый вклад в достижение этого великого результата. Его история от зарождения современных государств до тринадцатого века будет предметом моей следующей лекции.

Лекция IX.

Возвышение и прогресс членов королевской семьи.

В своей последней лекции я попытался определить сущностный и отличительный характер современного общества по сравнению с первобытным европейским обществом; и моей целью было показать, что это проявляется в том факте, что все элементы социального государства, поначалу многочисленные и отчетливые, были сведены к двум - правительству, с одной стороны, и народу или нации, с другой. Вместо того чтобы сталкиваться с феодальной знатью, духовенством, королями, бюргерами, ханами и крепостными в качестве доминирующих сил и главных действующих лиц в истории, мы находим в современной Европе лишь две великие формы, занимающие историческую сцену, — правительство и страну.

Если такова цель, ради которой собралась европейская цивилизация, то таковой же должна быть цель, к которой мы должны направить наши шаги, которой должны быть подчинены наши исследования. Мы обязаны проследить великий результат на всех его этапах, его происхождение, развитие и постепенную консолидацию. Мы уже вступили в эпоху, к которой можно отнести его происхождение; и, как мы видели, между двенадцатым и шестнадцатым веками в Европе происходила медленная и скрытая работа, которая привела наше общество к этой новой и окончательной конфигурации. Точно так же мы исследовали первое великое событие, которое, на мой взгляд, ощутимо и непреодолимо подтолкнуло Европу в этом направлении, а именно крестовые походы.

В ту же эпоху, почти в тот момент, когда начались крестовые походы, институт, который в основном способствовал формированию современного общества и слиянию всех социальных элементов в двух упомянутых державах, королевская власть начала свое возвышение.

Королевская семья, несомненно, сыграла огромную роль в истории европейской цивилизации, в чем нас убедит взгляд на факты. Мы видим, как развитие королевской семьи прогрессирует шаг за шагом, если можно так выразиться, вместе с развитием самого общества; по крайней мере, в течение длительного времени это развитие является взаимным. И не только это, но всякий раз, когда общество приближается к своему окончательному и современному характеру, королевская власть, по-видимому, расширяется и процветает; так что, когда работа завершена и ни в одном или почти ни в одном из великих государств Европы не остается другого важного и решающего влияния, кроме влияния правительства и всей нации, именно королевская власть формирует правительство.

Таким образом, это произошло не только во Франции, где факт очевиден, но и в подавляющем большинстве стран Европы; немного раньше или немного позже и в несколько иначе измененных формах история общества в Англии, Испании и Германии предлагает нам тот же результат. В Англии, например, именно при Тюдорах старые частные и локальные элементы английского общества были вытеснены, расколоты и вытеснены системой государственных властей; это был также период, когда королевская власть пользовалась наибольшим влиянием. Такие же обстоятельства сложились в Германии, Испании и во всех великих европейских государствах.

Если мы выйдем за пределы Европы и донесем наши взгляды до остального мира, то столкнемся с аналогичным фактом. Мы повсюду находим королевскую власть, занимающую важное положение и проявляющуюся как институт, возможно, самый общий, самый постоянный, и его труднее всего предотвратить там, где его ранее не существовало, и искоренить там, где он существовал. С незапамятных времен она владела Азией. При открытии Америки там были обнаружены все великие государства, в различных сочетаниях подчиненные монархической системе. Даже во внутренних районах Африки, везде, где встречаются государства любого масштаба, это преобладающий режим. И королевская власть не только проникла во все слои общества, но и приспособилась к самым разнообразным ситуациям, к цивилизации и варварству, к самым миролюбивым нравам — как, например, в Китае — и к тем, в которых преобладали война или воинский дух; она утвердилась в одно время в центре кастовой системы, в обществах с наиболее строгой классификацией, а в другое - посреди системы равенства, и в обществах, наиболее чуждых какой-либо узаконенной и постоянной классификации. Часто деспотичный и угнетающий, а в других местах благоприятствующий прогрессу цивилизации и свободы, он кажется головой, приспособленной для множества различных тел — плодом, который может вырасти из самых разнообразных зародышей.

Из этого факта мы могли бы вывести множество важных и любопытных следствий. Я возьму только два; первое, что невозможно, чтобы такой результат был результатом простого риска или одной только силы и узурпации, и что должна существовать глубокая и убедительная аналогия между гением королевской власти, рассматриваемой как институт, и природой отдельного человека или человеческого общества. Несомненно, сила стояла у истоков этого института и сыграла большую роль в его развитии; но когда мы сталкиваемся с подобным результатом, когда мы обнаруживаем, что великий факт постоянно развивается или воспроизводит себя в течение долгого ряда эпох и среди стольких разнообразных разветвлений, мы никогда не сможем приписать это исключительно силе. Сила - великий инструмент, повседневный инструмент в делах людей, но это не их движущая сила или высшие принципы; над силой и той частью, которую она выполняет, всегда витает моральная причина, которая определяет ход дел. Сила в истории обществ подобна телу в истории человека. Тело, несомненно, занимает важное место в жизни человека, однако оно не является принципом жизни. Жизнь циркулирует внутри него, но не исходит из него. То же самое относится и к человеческим обществам; какую бы роль ни играла сила, она не управляет ими и не оказывает суверенного влияния на их судьбу; это область идей и моральных влияний, которые скрыты под воздействием силы и которые, скрываясь, регулируют ход развития обществ. Несомненно, именно такая причина, а не сила, сделала королевскую семью такой процветающей.

Второй факт едва ли менее важен. Он заключается в гибкости учреждения, его способности к модификации и адаптации ко множеству разнообразных обстоятельств. В этом он представляет

собой сильный контраст; его форма сама по себе постоянна и проста, не предлагая того большого разнообразия комбинаций, которое наблюдается в других институтах, и все же он приспособливается к обществам, которые имеют наименьшее сходство с ним. Следовательно, очевидно, что оно состоит из большого разнообразия и связано либо через самого человека, либо через общество со многими различными элементами и принципами.

Из-за того, что мы не рассмотрели институт королевской власти во всех его масштабах; из-за того, что мы, с одной стороны, не проникли в его особый и неизменный принцип, в то, что составляет его сущность и все еще существует, какими бы ни были обстоятельства, к которым он применим; и из-за того, что мы, с другой стороны, не оценили все вариации, которым он поддается, все принципы, с которыми он может вступать в союз; из-за того, что мы не рассматривали королевскую власть с этой двоякой и расширительной точки зрения, ее роль в мировой истории часто была ошибочной, и ошибочные концепции формировались как к его природе и последствиям.

Охватить эти моменты - вот задача, которую я возлагаю на себя, чтобы представить полный и точный отчет о последствиях этого института в современной Европе, вытекающих либо из его особого принципа, либо из изменений, которым он подвергся.

Не может быть никаких сомнений в том, что сила королевской власти, та моральная мощь, которая является ее истинным характером, не основывается на личной или своевольной воле человека, который в данный момент является королем, или что нации, принимая ее как институт, а философы, поддерживая ее как систему, не намеревались и не желали подчиняться воле одного человека, которая по своей сути узка, деспотична, своенравна и невежественна.

Королевская власть - это нечто совершенно отличное от воли одного человека, хотя и проявляется именно в такой форме. Это олицетворение верховенства права и той воли, которая по своей сути разумна, просвещенна, справедлива и беспристрастна, чужда и превосходит все индивидуальные желания и имеет, в силу этих притязаний, право управлять ими. Такого значения, придаваемое королевской власти в умах народов, и таков мотив их приверженности к ней.

Значит ли это, что существует верховенство права, воля, которая имеет право управлять людьми? Несомненно, что они так считают, ибо они стремятся, и постоянно стремились, и они не могут не стремиться попасть под его власть. Давайте представим себе, я бы не сказал, нацию, но наименьшее собрание людей, подчиненных суверену, который является таковым только *de facto*, власти, чье единственное право - это право на силу, правящую вопреки разуму, справедливости и истине. Человеческая природа немедленно восстает против такого предположения; она уступит только некоторым притязаниям на справедливость. Следовательно, цель, которой оно желает достичь, состоит в том, чтобы воцарилось право, и только ему одному оно согласится подчиняться. Что такое история, как не демонстрация универсальности этого факта! Что вызвало большинство тех распрей, которые волновали жизнь наций, как не неустанные усилия возвести право на высший уровень, чтобы подчинить себя его империи? И не только народы, но и философы твердо верят в его существование и постоянно находятся в его поисках. Что такое все системы политической философии, как не исследования с целью открытия права, придания ему суверенитета! О чем они говорят, если не о том, чтобы

решить, кто имеет право управлять обществом? Возьмем теократическую, монархическую, аристократическую и демократическую системы, разве все они не хвастаются тем, что выяснили, кому принадлежит суверенитет по праву, и разве все они не заявляют, что ставят общество под власть его законного хозяина? Я снова утверждаю, что это является объектом всех спекуляций философов, а также всех усилий наций.

Как могло быть иначе, если не то, что и философы, и нации должны верить в истинное существование суверенного права? или что они не должны постоянно находиться в его поиске? Возьмем для пояснения одно из самых простых положений; пусть есть какое-то действие, которое нужно разработать, или какое-то влияние, которое нужно оказать на общество в целом, или на некоторых его членов, или даже на одного человека; совершенно определенно и необходимо существует правило для этого действия или влияния, законная воля, которой нужно следовать и применять. Опускаемся ли мы до второстепенных деталей социальной жизни или поднимаемся к ее величайшим событиям, мы находим во всем истину, которую нужно открыть, рациональный закон, который нужно внедрить в реальность. В этом состоит верховенство права, к которому народы и философы никогда не переставали и, по природе вещей, никогда не смогут перестать искренне стремиться.

И теперь возникает вопрос о том, в какой степени суверенитет права может быть представлен в общей и постоянной форме земной властью, человеческой волей. Нет ли ничего обязательно ложного или опасного в допущении, что оно таким образом представлено адекватно? Что следует думать, в частности, о персонификации суверенитета права под образом королевской власти? На каких условиях и с какими ограничениями допустима такая персонификация? Это важные вопросы, которые я не призван здесь обсуждать, но на которые я не могу не сослаться или не сказать несколько слов по ходу своего выступления.

Я утверждаю, и простейший здравый смысл должен совпадать с этим, что суверенитет права, полный и постоянный, не может принадлежать ни одному человеку и что любое приписывание его какой бы то ни было человеческой силе ложно и опасно. Отсюда вытекает необходимость ограничения всех полномочий, каковы бы ни были их названия и формы; и отсюда также вытекает радикальная незаконность всякой абсолютной власти, независимо от того, основано ли ее происхождение на завоевании, наследственных притязаниях или избрании. Могут существовать различия относительно наилучших средств, которые следует использовать для установления верховенства права; действительно, они должны варьироваться в зависимости от времени и места; но ни в какое время, ни в каком месте никакая власть не может быть законно независимым обладателем этого верховенства.

Поскольку этот принцип установлен, тем не менее несомненно, что королевская власть, в какой бы системе она ни рассматривалась, выступает как олицетворение суверенного права. Вот теократическая система; она говорит нам, что короли - это образ Бога на земле, что означает не что иное, как то, что они являются олицетворением суверенной справедливости, истины и добра. Вот юристы; они говорят нам, что король - это живой закон; что опять же означает, что король - это олицетворение суверенного права и справедливого закона, который имеет прерогативу управлять обществом. Вот сама королевская власть в системе чистой монархии; она утверждает себя олицетворением государства, общих интересов. В какой бы связи или ситуации это ни наблюдалось, оно всегда проявляется в утверждении, что оно представляет и

воплощает то суверенное право, которое единственное имеет законное право управлять обществом.

В этом нет повода для удивления. Каковы характеристики высшего права, вытекающие из самой его природы? Во-первых, оно существует само по себе; поскольку существует только одна истина и одна справедливость, может быть только одно высшее право. Более того, оно неизменно, всегда одно и то же: истина не меняется. Он поставлен в ситуацию, превосходящую и неведомую всем превратностям, всем опасностям этого мира: в какой-то степени он принадлежит этому миру только как судья и зритель — такова его роль. Теперь именно королевская власть по существу проявляет эти рациональные и естественные характеристики права в наиболее осмысленной внешней форме и кажется их наиболее верным представителем. М. Бенджамин Констант остроумно сравнил королевскую власть с нейтральной сдерживающей силой, возвышающейся над случайностями и соперничеством общества и вмешивающейся только в большие кризисы. Это, так сказать, сама позиция высшего права в управлении человеческими делами. В этой идее, должно быть, было что-то рассчитанное на то, чтобы убедить суд, поскольку она с удивительной быстротой перешла из книг в факты. Один суверен сделал это основой своего трона в конституции Бразилии, в которой члены королевской семьи выступают в качестве модераторов, возвышающихся над активными властями в качестве зрителей и судей.

С какой бы точки зрения ни рассматривался этот институт, при проверке в сравнении с суверенным правом обнаружится, что он обладает большим внешним сходством, естественно рассчитанным на то, чтобы поразить умы людей. Таким образом, всякий раз, когда их размышления или воображение были обращены к созерцанию или изучению природы суверенитета права и его существенных характеристик, они склонялись к королевской власти. Как, например, в те периоды, когда преобладали религиозные идеи, привычное созерцание атрибутов Бога привело человечество к монархической системе. Точно так же, когда юристы оказали влияние на общество, привычка изучать природу верховенства права под именем закона способствовала утверждению догмы о его персонификации в королевской семье. Внимательное применение человеческого интеллекта к исследованию природы и качеств законного суверенитета, когда другие причины не помешали разрушить его действие, неизменно придавало силу и авторитет королевской власти, поскольку она отражает ее подобие.

Более того, бывают времена, особенно благоприятные для этой персонификации, времена, когда индивидуальные силы распространяются по миру со всеми их случайностями и капризами, и когда эгоизм преобладает над отдельными людьми из-за невежества и жестокости или из-за испорченности нравов. Тогда общество, предоставленное конфликту личных волей и неспособное сформировать путем их свободного согласия общую волю, способную объединить их и контролировать, страстно стремится к начальнику, которому все индивиды могли бы быть вынуждены подчиняться; и как только появляется какое-либо учреждение, обладающее некоторыми характеристиками законного превосходства и протягивающее обществу свою законную империю, все цепляются за него с нетерпеливой поспешностью, как беглецы бегут в убежище. Это наблюдается в период неорганизованной молодежи наций, в такие времена, как те, которые мы рассматривали. Королевская власть

превосходно приспособлена к тем эпохам анархии, когда общество жаждет конституции и упорядоченности и не может осуществить свои устремления путем свободного согласия индивидуальных склонностей.

Бывают и другие случаи, когда по совершенно другой причине оно обладает таким же хорошим качеством. Каким образом римский мир, оказавшийся на грани распада в конце республики, все еще существовал в течение почти пятнадцати столетий под названием этой империи, которая, в конце концов, была всего лишь непрерывным упадком, длительной агонией! Только Королевская власть могла произвести такой эффект, только она могла подавить общество, которое коррупция постоянно стремилась разрушить. Таким образом, императорская власть в течение пятнадцати столетий противостояла крушению римского мира.

Следовательно, бывают периоды, когда только королевская власть способна замедлить распад общества, а также периоды, когда она одна может ускорить его формирование. И в обоих случаях оно осуществляет эту власть над событиями, потому что оно более ярко и энергично олицетворяет суверенитет права, чем любая другая форма правления.

Таким образом, в целом мы можем заключить, что в каждом аспекте, с которым рассматривается институт, и в каждую эпоху, в которую он берется, его сущностный характер, его моральный принцип, его реальный и неотъемлемый дух и то, что составляет его силу, состоит в том, что он является образом, персонификацией, предполагаемым толкователем той единственной, высшей и по существу законной воли, которая единственная имеет право управлять обществом.

Давайте теперь рассмотрим королевскую власть со второй точки зрения, то есть с точки зрения ее гибкости в огромном разнообразии ролей, которые она играла, и произведенных ею эффектов. На нас лежит обязанность найти причину для этого и определить ее причины.

Здесь у нас есть преимущество, поскольку мы можем сразу окунуться в историю, причем в нашу собственную историю тоже. По странному стечению обстоятельств случилось так, что королевская власть приобрела в современной Европе все те черты, под которыми она проявляла себя в мировой истории. Если мне будет позволено воспользоваться арифметическим выражением, европейская королевская семья была в какой-то степени кратным числом всех возможных видов королевской власти.

Мое намерение состоит в том, чтобы проследить его историю с пятого по двенадцатый век, в ходе которой станет очевидным, во скольких различных фазах он проявляется и в какой степени проявляется тот характер разнообразия, сложности и конфликта, который присущ всей европейской цивилизации.

В пятом веке, в период великого нашествия германцев, перед нами предстают две королевские власти — варварская королевская власть и императорская королевская власть; власть Хлодвиг и власть Константина — каждая из которых очень отличается по принципам и последствиям.

Правление варваров было по существу выборным: германские короли избирались, хотя их избрание не сопровождалось теми формами, которым мы привыкли придавать это представление; фактически они были военными вождями, обязанными сделать свою власть

свободно приемлемой для большого числа товарищей, которые подчинялись им как самым храбрым и способным. Таким образом, избранность была истинным источником варварской королевской власти, ее примитивной и существенной характеристикой.

Я не хочу сказать, что даже в пятом веке это качество не было несколько изменено или что в королевскую власть не были введены другие элементы. У разных племен в течение определенного времени были свои вожди; некоторые семьи добились большего уважения, доверия и богатства, чем другие. Это положило начало наследственному принципу; вождь больше не избирался из отдельных семей. Это было первое обстоятельство иного порядка, которое стало ассоциироваться с преобладающим принципом избрания.

Другая идея или элемент также ранее были привнесены в королевскую семью варваров, проистекая из религиозных чувств. Мы находим у некоторых варварских народов — например, у готов — убеждение, что семьи их королей произошли от их богов или от героев, которых они сделали богами, — например, от Одина. Таково положение гомеровских царей, которые произошли от богов или полубогов и под этим титулом были объектами своего рода религиозного почитания, несмотря на узкие пределы своей власти.

Такова была варварская королевская семья в пятом веке, уже проявлявшая различные и изменчивые характеристики, хотя ее первобытные принципы все еще преобладали.

Теперь я беру римскую, или императорскую, королевскую власть и нахожу ее совершенно отчетливой. Это было олицетворение государства, наследника суверенитета и величия римского народа. В царствование Августа и Тиберия император был представителем сената, комиций, всей республики; он наследовал им и объединил их в своем собственном лице. Скромные притязания первых императоров, по крайней мере тех, кто был разумными людьми и понимал свое положение, служат доказательством этого факта. Они чувствовали себя верховными перед народом, который еще так недавно отрекался в их пользу; они обращались к нему как к своим представителям и министрам. Но на самом деле они осуществляли всю власть народа, причем с самой устрашающей интенсивностью. Нам легко понять такое явление, поскольку мы сами были его свидетелями: в истории Наполеона мы видели, как суверенитет перешел от народа в руки одного человека. Он также был олицетворением суверенного народа, как он постоянно говорил. "Которого когда-либо избирали, подобно мне, восемнадцать миллионов человек! Кто такой совершенный представитель народа, как я?" - имел обыкновение восклицать он. И когда мы читаем на его монетах "Французская республика" с одной стороны и "Наполеон, император" с другой, разве это не доказывает тот факт, что, как я его описываю, народ объединился в короля?

В этом проявился фундаментальный характер императорской власти, который она сохраняла на протяжении трех первых столетий существования империи, поскольку только при Диоклетиане она приняла свою окончательную и завершенную форму. В то время, однако, он был на грани того, чтобы претерпеть большие изменения; вот-вот должен был появиться новый вид королевской семьи. Христианство в течение трех столетий трудилось над тем, чтобы привнести религиозный элемент в Империю; и при Константине оно преуспело, не сделав его первостепенным, но позволив ему выполнять важную роль. Тогда королевская власть предстала в совершенно ином аспекте; ее происхождение перестало быть земным; князь был не

представителем государственной власти, а образом Божьим, делегатом и представительницей Небес. Власть пришла к нему сверху, в то время как в царской семье она пришла снизу. Эти два положения были совершенно разными и имели аналогичные результаты. Права на свободу и политические гарантии было трудно сочетать с принципом религиозной королевской власти; но сам принцип был возвышенным, моральным и благотворным. Давайте посмотрим, как представление о принце сформировалось в седьмом веке в системе религиозной королевской власти. Я беру это из канонов Толедского собора.

"Короля называют королем (*rex*), потому что он правит справедливо (*прямо*). Если он действует справедливо (*recte*), он законно носит имя короля; если он действует несправедливо, он погибает жалкой смертью. Поэтому наши отцы справедливо говорили: "Ты будешь царем, если будешь совершать справедливые поступки; но если ты будешь поступать иначе, царем ты не будешь". [Примечание 12] Две главные царские добродетели - это справедливость и истина (наука об истине, разум).

[Footnote 12: *Rex ejus eris si recta facis; si autem non facis, non eris.* (Преподобные отцы Толедо позволили себе здесь своего рода игру словами *rex* и *recta*.)]

- Королевская власть, как и весь народ, обязана уважать законы. Повинуясь воле Небес, мы даем мудрые законы как самим себе, так и нашим подданным, которым обязаны подчиняться наше собственное величество и наши преемники, а также все население нашего королевства.

"Бог, творец всего сущего, распоряжаясь строением человеческого тела, высоко поднял голову и пожелал, чтобы оттуда исходили нервы всех его членов. И он поместил в голову факел глаз, чтобы оттуда можно было различить все, что может быть вредным. И он учредил там резиденцию разведки, возложив на нее обязанность управлять всеми членами и незаметно регулировать их действия. Следовательно, необходимо, во-первых, навести порядок в том, что касается принцев, обеспечить их безопасность и защитить их жизни, а затем предписать то, что затрагивает народ; так что, гарантируя, как подобает, безопасность королей, безопасность народа может быть в то же время обеспечена более эффективно". [Сноска 13]

[Сноска 13: Судебный форум, тит. i. 1. 2; тит. i. 1. 2. 1. 4.]

Но другой элемент, помимо самой королевской власти, почти всегда вторгнулся в систему религиозной королевской власти. Рядом с ним восседала новая сила, сила, более связанная с Богом и, следовательно, с источником, из которого исходила королевская власть, чем сама королевская власть. Это была церковная власть, которая выступила вперед, чтобы вмешаться между Богом и царями, а также между царями и народом, так что королевская власть, образ Божества, имела шанс превратиться в простой инструмент человеческих толкователей Божественной воли. Это была новая причина разнообразия в судьбах и последствиях этого учреждения.

Таковы были различные категории королевской власти, которые проявили себя во время крушения Римской империи в пятом веке, а именно: варварская королевская власть, императорская королевская власть и растущая религиозная королевская власть. Их судьбы были столь же разнообразны, как и их принципы.

Во Франции при первой расе преобладала варварская королевская власть. Со стороны духовенства было предпринято несколько попыток придать ему императорский или религиозный характер; но избрание в королевской семье с некоторой смесью наследственных прав и религиозных идей оставалось преобладающим.

В Италии, среди остготов, королевская власть преодолела варварские нравы. Теодорих провозгласил себя преемником императоров. Страницы Кассиодория содержат достаточно доказательств такого характера его правления.

В Испании члены королевской семьи казались более религиозными, чем где бы то ни было. Поскольку толедские соборы были, я не скажу, властителями, но влияющей силой, религиозный характер господствовал, если не в так называемом правительстве вестготских королей, по крайней мере, в законах, которые им внушало духовенство, и в языке, которого оно заставляло их придерживаться.

В Англии, среди саксов, варварские нравы сохранились почти полностью. Королевства гептархии были не более чем владениями различных групп, каждая из которых имела своего вождя. Военные выборы были здесь представлены более четко, чем где-либо еще. Англосаксонская королевская семья была самым верным типом варваров.

Таким образом, с пятого по седьмой век, в то время как три типа королевской власти проявляли себя в общих делах, какой-то один из них преобладал, в зависимости от обстоятельств, в каждом из различных государств Европы.

В ту эпоху царила такая неразбериха, что ничего общего или постоянного установить было невозможно; и, пробираясь сквозь лабиринт превратностей, мы приходим к восьмому веку, не обнаруживая, чтобы королевская власть где-либо приобрела определенный характер.

К середине VIII века, после триумфа второй расы франкских королей, события становятся более обобщенными и поддающимися объяснению. Поскольку события совершались в большем масштабе, их результаты пропорционально возрастали, и их самих было легче понять. Тогда мы отчетливо осознаем, что различные гонорары преуспевают и сочетаются друг с другом за короткий промежуток времени.

В период, когда карловинги вытеснили Меровингов, наблюдается возврат к варварской королевской власти; вновь появляется система выборов. Пепин добился своего избрания в Суассоне. Когда первые карловинги раздавали королевства своим сыновьям, они заботились о том, чтобы их приняли великие люди тех стран, которые они им передали; и всякий раз, когда они производили раздел, они стремились утвердить его в национальных собраниях. Одним словом, выборный принцип в форме всеобщего признания вновь обрел некоторую реальность. Следует иметь в виду, что эта смена династии была подобна новому вторжению немцев на запад Европы, вернувшему определенную часть их древних институтов и нравов.

В тот же период религиозный принцип был более недвусмысленно внедрен в королевскую власть и оказал на нее большее влияние. Пипин был признан и коронован папой римским. Он нуждался в религиозной санкции; это уже была опора, и он воспользовался ею. Карл Великий

предпринял ту же предосторожность; религиозная монархия набирала обороты. Но при Карле Великом этот характер не стал преобладающим, поскольку императорская власть былатам, что он пытался возродить. Хотя он был тесно связан с духовенством, он использовал их, а не был их орудием. Идея универсального государства, единого грандиозного политического единства — фактически, возрождения Римской империи — была любимым размышлением и мечтой Карла Великого.

Ему наследовал Луи ле Дебоннер (добросердечный). Всем известен характер, который королевская власть на мгновение приняла в его правление. Он попал в руки духовенства, которое осудило, низложило, восстановило его и управляло им. Подчиненная религиозная власть, казалось, была на грани организации.

Таким образом, с середины восьмого по середину девятого века разнообразие трех королевских систем проявилось в значительных, взаимосвязанных и ощутимых событиях.

После смерти Луи ле Дебоннера три рода королевской власти почти в равной степени исчезли среди анархии, в которую погрузилась Европа; все смешалось воедино. Через определенный промежуток времени, когда возобладала феодальная система, появилась четвертая королевская семья, отличная от всех тех, которые мы до сих пор рассматривали, а именно, феодальная королевская семья. Этот вид очень запутан, и его трудно определить. Было сказано, что король в феодальной системе был сюзереном сюзеренов, вождем вождей; что он был связан прочными узами, на разных уровнях, со всем обществом; и что, созывая вокруг себя своих вассалов, затем вассалов своих вассалов и так далее, он созывал всю нацию и показывал себя истинным королем. Я не отрицаю, что это была теория феодальной королевской семьи; но это была всего лишь теория, которая никогда не управляла фактами. То общее влияние короля посредством постепенной организации, те узы, которые объединяли королевскую власть со всем феодальным обществом, существуют только в мечтах публицистов. Фактически, большинство феодалов были в ту эпоху полностью независимы от королевской власти; многие из них едва знали ее по имени и не имели с ней никаких отношений или имели очень незначительные. Все государства были локальными и отдельными. Имя короля, которое носил один из феодальных вождей, выражало скорее прошлое, чем настоящее.

Это состояние, в котором королевская власть проявляла себя в течение десятого и одиннадцатого веков. В двенадцатом веке, в царствование Людовика Толстого, ситуация начала меняться внешне; имя короля упоминалось чаще, его влияние проникло в такие места, до которых оно ранее никогда не доходило, и фактически его роль в обществе стала решительно более активной. И все же мы не находим, что это возросшее влияние было обусловлено каким-либо из титулов, которыми королевская семья привыкла подкреплять свои притязания. Не будучи наследником императоров или находясь под покровительством королевской семьи, она набрала силу и приобрела более прочную консистенцию. Это не было ни в силу избрания, ни как эманация Божественной власти; всякая видимость выборного характера исчезла, и принцип наследования престола окончательно утвердился; и хотя религия санкционировала восшествие на престол королей, умы людей нисколько не благоговели перед каким-либо религиозным характером королевской власти Людовика Толстого. В тот период в королевской семье появился новый элемент или персонаж, доселе неизвестный. Началась новая королевская династия.

Едва ли нужно напоминать, что общество в ту эпоху пребывало в состоянии прискорбного беспорядка и было жертвой постоянного насилия. Общество само по себе не имело средств для успешной борьбы с этим шокирующим состоянием или восстановления какой-либо регулярности или единства. Феодалные институты, эти баронские парламенты и сеньориальные суды, все те формы, в которых феодализм изображался в наше время как систематический и упорядоченный режим, были абсолютно ничтожны и бессильны, не обладая ничем, что могло бы вообще способствовать восстановлению порядка и справедливости; так что посреди этого социального запустения никто не знал, к кому можно обратиться за возмещением причиненного вреда или применить средство от вопиющего зла — словом, создать государство, пусть даже в малой степени. Имя короля все еще сохранялось, его носил один из вождей; некоторые обращались к нему. Различные титулы, которыми ранее назывались члены королевской семьи, не были полностью искоренены из памяти всех, хотя они давно перестали оказывать какое-либо большое влияние; все же в некоторых случаях они упоминались. Часто случалось, что к королю обращались, чтобы пресечь какой-нибудь скандальный акт насилия, или установить определенную степень порядка в местности, приближенной к его собственной резиденции, или прекратить давний спор, так что его призывали вмешиваться в дела, которые не были строго его собственностью; и в этих вмешательствах он выступал как защитник общественного порядка, арбитр и исправитель причиненного вреда. Моральный авторитет, который все еще сохранялся вокруг его имени, постепенно притягивал к нему эту силу.

Таков был характер, который королевская власть начала приобретать при Людовике Толстом и при администрации Сугера. Тогда впервые мы видим, как в умах людей зарождается идея, хотя и все еще несовершенная, запутанная и слабая, об общественной власти, стоящей выше местных властей, владевших обществом, облеченной полномочиями вершить правосудие над теми, кто не мог добиться этого обычными средствами, и способной устанавливать или, по крайней мере, командовать порядком; идея великой магистратуры, основной обязанностью которой было поддерживать мир, защищать слабых и разрешать разногласия, которые никто другой не мог прекратить. Это был совершенно новый образ, под которым королевская власть представляла себя в Европе, и особенно во Франции, начиная с двенадцатого века. Она осуществляла свою империю не в свете варварской, религиозной или имперской королевской власти; власть, которой она обладала, была очень ограниченной, несовершенной и случайной; власть, в некоторой степени (я не знаю более точного выражения), великого мирового судьи для всей страны.

Таково истинное происхождение современной королевской семьи, так сказать, ее жизненный принцип; то, что было развито в ходе ее карьеры и что, я без колебаний утверждаю, стало причиной ее процветания. В разные исторические эпохи мы наблюдаем различные характеры королевской власти, различные порядки, которые я описал, по очереди пытающиеся восстановить господство. Таким образом, духовенство всегда проповедовало религиозную монархию; юристы трудились над возрождением императорской королевской власти; а знать иногда была склонна возобновить выборную королевскую власть или утвердить ее феодальный характер. И не только духовенство, публицисты и знать стремились сделать преобладающим в королевской власти того или иного персонажа, но это само по себе поставило их всех в зависимость от усиления своей власти. Короли объявляли себя иногда посланцами

Всемогущего, иногда преемниками императоров или первыми вельможами страны, в зависимости от необходимости или прихоти момента; они незаконно пользовались этими различными титулами, но ни один из них не был истинным титулом современной королевской семьи или источником ее преобладающего влияния. Я еще раз утверждаю, что как хранитель и защитник общественного порядка, общей справедливости и общих интересов — под видом великой магистратуры, центра и ядра общества — она предстала перед глазами наций и монополизировала их силу, добившись их присоединения.

По мере продвижения вперед мы увидим, как этот характер современной европейской королевской семьи, начавшийся с правления Людовика Толстого в двенадцатом веке, набирает силу, развивается и, наконец, становится, так сказать, ее политической физиономией. Именно благодаря этому королевская семья внесла свой вклад в великий результат, который характеризует европейские общества, сведение всех социальных элементов к двум - правительству и нации.

Таким образом, Европа после окончания крестовых походов вступила на путь, который должен был привести ее к ее настоящему состоянию, и теперь мы видели, что королевская власть приняла надлежащее участие в этом великом переходе. Далее мы рассмотрим различные попытки политической организации, которые предпринимались с двенадцатого по шестнадцатый век с целью поддержания, придания ему большей регулярности, порядка вещей, который был тогда в моде, но готов был рухнуть. Мы исследуем усилия феодализма, церкви и даже городских округов, направленные на то, чтобы создать общество по его древним принципам и в рамках его примитивных форм и таким образом защититься от общей метаморфозы, которая была в стадии подготовки.

Лекция X.

Объединение элементов современного общества.

Я думаю, что было бы уместно предварительно определить точную цель этой лекции.

Следует помнить, что одним из наиболее поразительных фактов в элементах древнего европейского общества является их разнообразие, обособленность и независимость. Феодальная знать, духовенство и районы имели свое положение, законы и манеры, совершенно отличные друг от друга; это было множество отдельных обществ, каждое из которых управлялось само по себе, по своим индивидуальным правилам и власти. Они находились во взаимной связи и соприкосновении, но не в настоящем союзе и не образовали нацию или государство, должным образом так называемое.

Слияние всех этих обществ в одно было завершено; это, как было ясно показано, отличительный факт, сущностный характер современного общества. Старые социальные элементы были сведены к двум - правительству и нации, то есть разнообразие прекратилось, сходство породило союз. Но прежде чем этот результат был достигнут, и даже для того, чтобы предотвратить его, были предприняты многочисленные усилия, направленные на то, чтобы дать возможность всем этим конкретным обществам жить и действовать сообща, не разрушая их разнообразия или независимости. Их целью не было ни в коем случае посягать на их

индивидуальное положение, их привилегии или их особую природу, и в то же время объединить их в одно государство, сформировать из них нацию и сплотить их под властью одного и того же правительства.

Все эти попытки провалились. Результат, о котором я только что упомянул, единство современного общества, свидетельствует об их плохом успехе. Даже в тех странах Европы, где все еще сохраняются некоторые следы древнего разнообразия социальных элементов — в Германии, например, где все еще существует истинная феодальная знать и истинный бюргерский строй, и в Англии, где национальная церковь обладает особыми доходами и особой юрисдикцией, — ясно, что это отдельное существование является всего лишь видимостью и притворством, и что эти особые общества политически смешаны с обществом в целом, поглощены нацией, управляются публично признанными властями, подчинены одной системе и увлекаются течением господствующих идей и представлений. хорошие манеры. Поэтому, я повторяю, разделение и независимость старых социальных элементов не имеют никакой реальности, даже там, где они формально поддерживаются.

Тем не менее, эти попытки согласовать их, не изменяя, связать в национальное единство, не уничтожая их многообразия, занимают важное место в истории Европы. Они частично заполняют эпоху, которой мы сейчас занимаемся, ту эпоху, которая отделяет первобытную Европу от современной, и в которую свершилась метаморфоза европейского общества. Более того, они оказали огромное влияние на последующие события, на то, каким образом было осуществлено сведение всех социальных элементов к двум - правительству и нации. Поэтому очень важно исследовать и досконально понять все исследования по политической организации с двенадцатого по шестнадцатый век, направленные на создание наций и правительств, без искоренения разнообразия в характере вторичных обществ, расположенных бок о бок. Такова наша нынешняя задача.

Это трудная и даже болезненная задача. Все эти попытки политической организации, несомненно, не были задуманы и оформлены с благими намерениями; некоторые из них были спровоцированы взглядами на эгоизм и тиранию. Однако многие из них были чистыми и бескорыстными; многие из них действительно ставили своей целью моральное и социальное благополучие человечества. Состояние непоследовательности, насилия и несправедливости, в которое тогда было погружено общество, было отвратительно великим и возвышенным умом, и они постоянно изобретали средства для его освобождения. И все же самые лучшие из этих благородных усилий потерпели неудачу; все это количество мужества, жертв, энергии и добродетели было полностью выброшено на ветер. Разве это не печальное соображение? И в этом вопросе есть нечто еще более болезненное, основание для еще более глубокой печали, когда мы размышляем о том, что не только эти эксперименты по улучшению общества потерпели неудачу, но и огромная масса ошибок и зла сопровождала их. Несмотря на благие намерения, большая их часть была абсурдной и свидетельствовала о глубоком незнании того, чего требуют разум и справедливость, прав человечества и условий, на которых основано социальное государство; так что люди не только потерпели неудачу, но и заслужили свое поражение. Таким образом, мы имеем здесь зрелище как тяжелой судьбы человечества, так и его слабости. И мы также пролили яркий свет на то, как малейшей доли истины достаточно, чтобы настолько ослепить величайшие умы, что они теряют из виду все остальное и становятся

слепыми к тому, что не входит в узкие рамки их идей; и чтобы в их деле была частица справедливости, до какой степени люди могут не замечать всю несправедливость, которую это дело влечет за собой и наказывает. Созерцание такого проявления недостатков человеческой природы, на мой взгляд, еще более печально, чем зло ее состояния, ибо ее ошибки огорчают меня больше, чем ее страдания. Усилия, о которых я должен говорить, представят нам оба зрелища. Однако нам надлежит встретиться с ними лицом к лицу и в то же время быть справедливыми по отношению к тем людям и тем временам, которые так часто ошибались в правильном курсе и терпели столь явные поражения, но, тем не менее, проявили много великих добродетелей, вели благородную борьбу и заслужили добрую славу.

Попытки политической организации, сформировавшиеся между двенадцатым и шестнадцатым веками, были двоякого рода. Первые, те, которые имели своей целью дать преобладание какому-либо одному из социальных элементов, подчиняя ему все остальные и принося в жертву единство; духовенство, феодальная знать и городские округа, каждый по очереди пытались это сделать. Следующие, те, которые были разработаны для того, чтобы заставить все отдельные общества гармонизировать и действовать сообща, оставляя каждому его независимость и обеспечивая ему адекватную долю влияния.

Первое описание усилий гораздо больше, чем второе, вызывает подозрения в эгоизме и тирании. На самом деле они чаще были запятнаны этими пороками; более того, по самой своей природе они были по существу тираническими в своих действиях. Некоторые из них, тем не менее, могли быть задуманы и, по правде говоря, были задуманы в чистом духе содействия добру и прогрессу человечества.

Первым, что бросается в глаза, была попытка теократической организации, то есть замысел подчинения различных обществ принципам и империи церковного общества.

Вы вспомните то, что я сказал об истории церкви. Там я попытался продемонстрировать, какие принципы получили развитие в пределах его собственной черты, какой долей легитимности обладал каждый из этих принципов, насколько естественно они вытекали из хода событий, какие услуги они оказывали и какое зло они совершали. Я также охарактеризовал различные состояния, через которые церковь прошла с восьмого по двенадцатый век, в различных своих аспектах, как имперскую, варварскую, феодальную и, наконец, теократическую церковь. Эти обстоятельства следует иметь в виду, когда я говорю о том, что сделало духовенство, чтобы монополизировать власть в Европе, и о причинах их провала.

Попытки создания теократической организации предпринимались очень рано, о чем свидетельствуют как акты Римского двора, так и акты духовенства в целом. Это естественно вытекало из политического и морального превосходства церкви; но с самого начала своих усилий она столкнулась с препятствиями, преодолеть которые ей так и не удалось, даже несмотря на ее величайшую энергию.

Основное противоречие проистекало из природы самого христианства. Христианство, сильно отличающееся от большинства религиозных верований, было установлено только убеждением, просто моральным влиянием. С самых ранних стадий своего развития оно никогда не было вооружено силой; в первые века оно господствовало только Словом, и оно господствовало только над умами. Таким образом, случилось так, что даже после своего триумфа, когда церковь

обладала огромным богатством и уважением, она так и не оказалась наделенной непосредственным управлением обществом. Чисто моральное происхождение церкви и исключительно убедительный характер ее действий всегда были присущи ее положению. Она обладала значительным влиянием, но не обладала властью. Она проникла в муниципальные власти и имела большое влияние на императоров и всех их агентов; но фактическое управление общественными делами, так называемое правительство, никогда не принадлежало церкви. Итак, система правления, теократия или любая другая, не может быть установлена косвенным образом или с помощью простого влияния; она должна выполнять функции судьи, администратора и командующего, собирать налоги, распределять доходы; одним словом, управлять обществом и полностью овладевать им. Когда действие ограничивается убеждением, многое, безусловно, может быть достигнуто и осуществлен большой контроль как над нациями, так и над правительствами; но таким образом не создается система правления или политического превосходства и не обеспечивается в достаточной степени будущая стабильность. Таково было положение христианской церкви в силу самого ее происхождения; она всегда находилась на одном уровне с фактическим правительством общества, но никогда не могла отбросить его в сторону и занять его место. Это огромное препятствие на пути к ее попыткам теократической организации она так и не смогла преодолеть.

В самом начале своего пути церковь также столкнулась со вторым. Когда пала Римская империя и были основаны варварские государства, церковь состояла из побежденной расы. Его первой целью было выйти из этого положения, обратив завоевателей в свою веру и таким образом поднявшись до их ранга. Когда этот труд был завершен и когда церковь возжелала господства, она столкнулась с презрением и сопротивлением феодальной знати. Это была огромная услуга, которую светский феодализм оказал Европе. В одиннадцатом веке народ был почти полностью поработан церковью, и монархи едва ли могли противостоять ей. Только феодальная знать презирала иго духовенства и отказывалась склониться перед ним. Достаточно вспомнить общие черты средневековья, чтобы убедиться в странной смеси гордости и покорности, слепой веры и свободы духа, которая преобладала в отношениях светских лордов со священниками. В этом мы различаем некоторые пережитки их относительной примитивности. Читателю, вероятно, вспомнится, что ранее я пытался описать происхождение феодализма, его первые элементы и то, каким образом раннее феодальное общество формировалось вокруг жилища владельца феода. Затем я обратил внимание на тот факт, что священник находился в тот период при господе. Теперь в умах феодальной знати всегда оставалось воспоминание или подпитка этого положения, и они всегда считали себя не только независимыми от церкви, но и стоящими выше нее, и как единственные, кто имеет право владеть страной и фактически управлять ею. Они всегда были расположены жить в хороших отношениях с церковью, но не отказывались от своих собственных притязаний и не уступали тем, которые она выдвигала. Таким образом, на протяжении многих веков именно светская аристократия поддерживала независимость общества по отношению к церкви; она гордо защищала себя, когда монархи и народ смиренно приседали. Она первой перешла в оппозицию и, возможно, больше, чем любая другая сила, способствовала тому, что попытка придать обществу теократическую организацию провалилась.

Этому в равной степени противостояло третье препятствие, которому, в общем, уделялось очень мало внимания и даже о его последствиях судили ошибочно.

Везде, где группа священников овладевала обществом и подчиняла его теократической организации, мы обнаруживаем, что эта империя перешла к женатому духовенству, набирающему себе новых членов в свои собственные ряды и воспитывающему детей с младенчества в одной и той же профессии и для нее. Посмотрите на Азию и Египет: все великие теократии были делом рук духовенства, формировавшего из себя целостное общество, самодостаточное для всех своих целей и ни от чего не зависящее извне.

Христианское духовенство оказалось в совершенно иной ситуации из-за безбрачия священников. Чтобы увековечить свое собственное тело, они были вынуждены постоянно обращаться к мирскому обществу и искать средства к существованию вне зависимости от всех социальных положений и призваний. Несомненно, были приложены большие усилия, чтобы ассимилировать эти чуждые элементы, привив им дух учреждения, но не с полным успехом: что-то от происхождения вновь прибывших всегда оставалось: будь то бюргеры или дворяне, они неизменно сохраняли какие-то следы своего древнего духа и примитивного состояния. Нет сомнений, что это безбрачие, создав для католического духовенства совершенно особую ситуацию и лишив его возможности участвовать в интересах и общей жизни человечества, было мощным фактором их изоляции; но оно также вынудило их к постоянной и тесной связи с мирским обществом, набирать и обновлять своих членов и, таким образом, подвергло их некоторой части моральных революций, которые были совершены в этом обществе. Поэтому я без колебаний утверждаю, что эта постоянно повторяющаяся необходимость бесконечно больше препятствовала успеху попытки теократической организации, чем дух, порожденный институтом и прочно поддерживаемый безбрачием, был способен способствовать этому.

Церковь, наконец, столкнулась в своих собственных недрах с могущественными противниками своей попытки. О единстве церкви постоянно говорят, и достаточно верно, что она усердно трудилась над его достижением и в определенных отношениях добилась этого. Но давайте не будем уводить нас в сторону навязчивыми словами или несколькими пристрастными фактами. Какое общество было раздираемо большим количеством гражданских разногласий или перенесло больше потрясений, чем клерикальное? Какая нация была более разделенной, раздробленной или разнообразной, чем церковная нация? Национальные церкви в большинстве стран Европы находились в почти постоянной борьбе с римским двором; соборы восставали против пап; ереси были бесчисленны и неугасимы; и постоянно преобладали расколы: нигде не было такого разнообразия мнений, такой горечи и ярости в борьбе или такого разделения власти. Внутреннее существование церкви, возникшие в ней разногласия и потрясшие ее революции были, возможно, величайшим препятствием на пути к триумфу той теократической организации, которую она стремилась навязать обществу.

Все эти препятствия действовали и заметны с пятого века, в самом начале великой попытки, которая сейчас привлекает наше внимание. Однако они не помешали ему продолжить свое течение или продолжаться в течение нескольких столетий. Его самым славным моментом, его, так сказать, критическим днем было правление Григория VII в конце одиннадцатого века. Уже отмечалось, что преобладающая идея Григория VII. состоял в том, чтобы подчинить мир духовенству, а духовенство - папству, Европу — одной обширной и регулярной теократии. Разрабатывая этот план, этот великий человек совершил, по моему мнению, насколько нам позволительно судить на таком расстоянии от событий, две серьезные ошибки: одну в своем спекулятивном, другую в своем революционном характере. Первый состоял в том, чтобы напыщенно провозгласить свой план и систематически выставлять напоказ свои принципы

относительно природы и прав духовной власти и заранее, как несгибаемый логик, вывести из них самые отдаленные последствия. Таким образом, он угрожал всем светским державам Европы и атаковал их, прежде чем убедился в своих средствах подчинения им. Успех в человеческих делах не достигается таким диктаторским процессом или одобрением простого философского аргумента. Далее, Грегори впал в распространенную ошибку революционеров, которая заключается в том, что они пытаются сделать больше, чем могут, и не принимают возможное за меру и предел своих усилий. Чтобы ускорить утверждение своих идей, он вступил в борьбу с Империей, со всеми суверенами и с самим духовенством. Он настаивал на немедленных последствиях, пренебрегая всяким уважением к существующим интересам, высокомерно заявляя, что будет править всеми королевствами, а также всеми умами, и таким образом возбуждал против себя не только светские власти, которые чувствовали себя в неминуемой опасности, но и вольнодумцев, которые начинали выходить и уже опасались тирании мысли. Таким образом, в целом Григорий VII. возможно, он больше шел на компромисс, чем продвигал дело, которому хотел служить.

Тем не менее, она продолжала процветать на протяжении всего двенадцатого и вплоть до середины тринадцатого века. Это был период, когда церковь обладала наибольшей силой и великолепием. И все же я не думаю, что можно строго сказать, что в ту эпоху он добился какого-то очень большого прогресса. К концу правления Иннокентия III он скорее выставлял напоказ, чем распространял свою славу и могущество. Именно в момент его наибольшего очевидного успеха против него в значительной части Европы поднялась народная реакция. На юге Франции взорвалась ересь альбигойцев, которая унесла с собой многочисленное и могущественное общество. Примерно в тот же период идеи и желания аналогичного характера были высказаны на севере и во Фландрии. Немного позже Уиклиф в Англии предпринял талантливую атаку на власть церкви и основал секту, которая еще не вымерла. Государи не замедлили вступить на тот же путь, что и народ. Именно в начале XIII века самые могущественные и способные монархи Европы, императоры из дома Гогенштауфенов, потерпели поражение в своем соперничестве с папством. Еще до окончания этого столетия Людовик Святой, самый благочестивый из королей, провозгласил независимость светской власти и провозгласил первую прагматическую санкцию, которая легла в основу всех последующих. В начале четырнадцатого века разгорелась ссора между Филиппом Красивым и Бонифацием VIII. она разгорелась, в то время как король Англии Эдуард I. не был более послушным по отношению к Риму. Следовательно, ясно, что в ту эпоху попытка теократической организации потерпела неудачу, что церковь с тех пор была вынуждена защищаться и испытывала такие трудности в сохранении завоеванного, что прекратила все дальнейшие попытки навязать свою систему Европе. Следовательно, истинной датой эмансипации светского европейского общества является конец XIII века; именно тогда церковь перестала претендовать на его монополизацию.

Долгое время назад она отказалась от этой попытки в той самой сфере, в которой, как ей казалось, имела наибольшие шансы на успех. У самого порога церкви, вокруг ее престола в Италии, теократия была полностью свергнута и уступила место совершенно иной системе, той попытке демократической организации, прообразом которой являются итальянские республики и которая играла столь выдающуюся роль в Европе с одиннадцатого по шестнадцатый век.

Следует вспомнить то, что я уже говорил об истории этих районов и о том, как они были образованы. Их создание было более ранним и могущественным в Италии, чем где-либо еще; города там были гораздо более многочисленными и богатыми, чем в Галлии, Британии или Испании, и римская муниципальная система сохранилась там в большей силе и регулярности. Кроме того, районы Италии были гораздо менее приспособлены для проживания ее новых хозяев, чем районы остальной Европы. Все они были расчищены, осушены и возделаны и больше не были покрыты лесами, так что варвары не могли подвергаться захватывающим опасностям охоты или вести жизнь, вообще аналогичную жизни их старой Германии. Более того, часть этой территории им не принадлежала. Юг Италии, Кампанья-ди-Романья и Равенна, продолжали зависеть от греческих императоров. В этой части страны республиканский строй очень рано набрал силу и развитие, чему способствовали удаленность государя и превратности почти постоянной войны. Но в дополнение к тому обстоятельству, что Италия не была полностью во власти варваров, те орды, которые наводняли ее, никогда не оставались ее безмятежными и окончательными обладателями. Остготы были выслезены и уничтожены Велисарием и Нарсесом. Лангобарды добились немногим большего успеха в отношении своего королевства: франки разрушили его; и в период их свержения Пипин и Карл Великий сочли целесообразным вместо истребления лангобардского населения заключить союз со старым итальянским населением, чтобы подавить недавно покоренных лангобардов. Следовательно, варвары никогда не были исключительными и спокойными хозяевами территории и общества Италии, какими они были в других местах. По этой причине за Альпами установился лишь очень слабый, разреженный феодализм. Перевес, вместо того чтобы перейти к жителям сельских округов, как это произошло, например, в Галлии, продолжал оставаться за городами. Когда этот факт недвусмысленно заявил о себе, значительная часть феодалов либо по собственной воле, либо по необходимости покинула страну и поселилась в городских стенах. Варварская знать тогда стала бюргерами. Можно легко представить, насколько велики были сила и превосходство, которые города Италии приобрели благодаря этому единственному обстоятельству по сравнению с другими городами Европы. Что было главным образом примечательно в последних, как уже было замечено, так это низкое положение и робость их обитателей. Эти бюргеры, как мы видели, были похожи на отчаявшихся вольноотпущенников, мужественно, но мучительно борющихся с хозяином, который всегда стоит у их ворот. Совсем иной была участь итальянских бюргеров; завоеватели и покоренное население смешались в одних стенах; у них не было соседнего хозяина, от которого они могли бы защищаться; и большинство граждан были людьми свободными от всех времен, которые отстаивали свою независимость и свои права против далеких и иностранных государей, иногда против франкских королей, а иногда и против императоров Германии. Из этих причин возникло великое и не по годам развитое превосходство итальянских городов; и хотя в других местах жалкие местечки образовывались с большим трудом, они сразу же превратились в важные республики и государства.

Таким образом объясняется успех попытки республиканской организации в этой части Европы. Она рано вытеснила феодальный элемент и стала преобладающей формой общества. Но он мало был рассчитан на расширение или увековечение, поскольку содержал лишь очень мало семян улучшения, условия, необходимого для расширения и долговечности.

Когда мы рассматриваем историю итальянских республик с одиннадцатого по пятнадцатый век, нас поражают два факта, внешне противоречивых, но в то же время неоспоримых. Мы

наблюдаем замечательное развитие мужества, активности и гениальности и, как следствие, огромное процветание. Там действовали движение и свобода, которых совершенно не хватало остальной Европе. Теперь давайте спросим, какова была реальная судьба жителей, как проходила их жизнь и какова была их доля счастья? В этом отношении аспект вещей мгновенно меняется. Пожалуй, нет истории более скорбной и мрачной, и никогда не было эпохи или страны, в которых судьба человека, по-видимому, была бы более полна тревог и беспорядка, более подвержена прискорбным опасностям или более подвержена раздорам, преступлениям и бедствиям. В то же время существует другой факт, не менее поразительный. В политической системе большей части этих республик свобода всегда уменьшалась. Дефицит безопасности был таков, что сообщество было вынуждено искать убежища в какой-нибудь системе, менее шумной и популярной, чем та, с которой начинало государство. Возьмем историю Флоренции, Венеции, Генуи, Милана или Пизы; везде ясно, что общий ход событий, вместо развития свободы и расширения круга институтов, имел тенденцию к объединению и концентрации власти в руках все меньшего числа людей. Одним словом, этим республикам, таким энергичным, блестящим и богатым, не хватало двух вещей, а именно жизненной безопасности, первого условия социального государства, и прогрессивных действий в институтах.

Отсюда возникло новое зло, которое послужило действенным препятствием для дальнейшего распространения попытки республиканской организации. Это привело к вмешательству извне, и с тех пор величайшая опасность, которой подверглась Италия, исходила от иностранных государей. Однако эта опасность так и не привела к примирению различных республик и заставлению их действовать сообща. Таким образом, некоторые из наиболее просвещенных и патриотически настроенных итальянцев современности осуждают республиканский строй Италии в средние века как истинную причину, препятствующую ее становлению нацией. Она была разделена, говорят они, на множество мелких государств, настолько поглощенных удовлетворением своих нескольких сиюминутных замыслов, что была неспособна объединиться и составить единый народ. Они сожалеют, что их страна не прошла, подобно остальной Европе, через деспотическую централизацию, которая превратила бы ее в единую нацию и сделала бы независимой от чужаков. Таким образом, представляется, что республиканская организация, даже при самых благоприятных обстоятельствах, не содержала в ту эпоху принципа прогресса, долговечности или расширения, и что ей не хватало того, что касалось будущего. Организацию Италии в средние века в определенной степени можно сравнить с организацией Древней Греции. Греция также была страной, усеянной маленькими республиками, всегда соперничавшими, часто врагами, и иногда объединявшимися ради общей цели. Преимущество этого сравнения полностью лежит на Греции. Несомненно, во внутренних районах Афин, Спарты или Фив было гораздо больше порядка, безопасности и справедливости, хотя история преподносит нам множество примеров беззакония, чем в итальянских республиках. И все же мы видим, насколько коротким было политическое существование Греции и как неизбежно слабость следовала за ее мелким разделением территории и власти. Всякий раз, когда Греция вступала в контакт с могущественными соседями — Македонией и Римом, например, — она сразу уступала. Эти маленькие республики, такие славные и все еще такие процветающие, не смогли объединиться для общего сопротивления. Насколько же более вероятным был тот же результат в Италии, где общество и интеллект были гораздо менее развиты и бесконечно слабее, чем у греков!

Если попытка республиканской организации имела так мало шансов на стабильность в Италии, где она первоначально восторжествовала и где феодальная система была побеждена, то легко

можно представить, что в других частях Европы ей было суждено встретить еще более быстрое свержение.

Я бегло взглянул на его судьбу в разных местах.

Существовала часть Европы, которая очень напоминала Италию, а именно юг Франции и прилегающие к нему провинции Испании — Каталония, Наварра и Бискайя. Города там также получили значительное развитие, значение и богатство. Несколько мелких феодальных вождей вступили в союз с бюргерами, и часть духовенства также встала на их сторону, так что страна фактически оказалась в ситуации, во многом аналогичной ситуации в Италии. Таким образом, мы обнаруживаем, что в течение одиннадцатого и в начале двенадцатого века города Прованса, Лангедока и Аквитании были склонны предпринять политическое усилие и образовать независимые республики по образцу тех, что находятся за Альпами. Но юг Франции соприкасался с очень могущественным феодализмом, преобладавшим на севере. И по случаю альбигойской ереси вспыхнула война между феодальной и муниципальной Францией. История крестового похода против альбигойцев, которым командовал Симон де Монфор, хорошо известна. Это была атака северного феодализма на попытку южной демократической организации. Несмотря на героизм патриотизма южан, север одержал победу. Этому способствовало отсутствие политического единства, а цивилизация была недостаточно развита, чтобы люди осознавали, что этот недостаток может быть устранен умелыми действиями. Таким образом, эксперимент с республиканской организацией был прекращен, и крестовый поход восстановил феодальную систему на юге Франции.

Позже республиканское движение добилось большего успеха в горах Швейцарии. Там театр военных действий был очень ограничен, и ему приходилось бороться только с иностранным монархом, который, хотя и обладал численностью, превосходящей швейцарскую, не был одним из самых грозных монархов Европы. Соревнование велось с безграничным мужеством. Швейцарская феодальная знать также в значительной степени объединилась с городами, оказав, несомненно, мощную помощь, но изменив природу революции, которую они поддерживали, и придав ей более аристократический и устойчивый характер, чем ей, казалось, суждено было иметь. [Сноска 14]

[Сноска 14: Г-н Гизо позволил себе увлечься своим умозрительным выводом из истории в этом описании ранних попыток швейцарцев установить свою независимость. Движение началось в самой сельской части Швейцарии, в *трехлесных* кантонах Швейц, Ури и Андервальден, а не в городах, и почти повсеместно проводилось крестьянами. Феодализм преобладал только в части Швейцарии. Кроме того, швейцарские кантоны лишь частично аристократичны — см. *Историю Мюллера. de la Suisse.*]

Я отправляюсь на север Франции, в районы Фландрии, на берега Рейна и в Ганзейский союз. Там демократическая организация полностью восторжествовала в стенах города; но с самого начала мы можем видеть, что ей не суждено было распространиться или завладеть всем обществом. Северные районы были окружены феодализмом, вождями и суверенами, так что им постоянно приходилось обороняться. Они не были рассчитаны на завоевания; их главной целью было защитить себя. В этом они преуспели; они сохранили свои привилегии, но были ограничены своими собственными пределами. Таким образом, демократическая организация была закрыта и остановлена; она так и не распространилась по всей стране.

Таково, таким образом, было состояние республиканского эксперимента; он восторжествовал в Италии, но имел мало шансов на долговечность и расширение; был подавлен на юге Франции; одержал победу на небольшой сцене в швейцарских горах и был ограничен стенами городов на севере, во Фландрии, на Рейне и в Ганзейском союзе. Тем не менее, находясь в этом государстве, столь ощутимо уступавшем по силе другим элементам общества, оно внушало феодальной знати огромную тревогу. Бароны не только завидовали богатству окрестностей, но и боялись их власти; демократический дух проник в сельские округа, и восстания среди крестьян становились все более частыми и упорными. Таким образом, феодальная знать почти по всей Европе сформировала большую коалицию против городских округов. Борьба была отнюдь не равной, поскольку районы были изолированы и не имели взаимопонимания или общения между собой. Несомненно, между бюргерами разных стран существовала определенная симпатия; успехи или неудачи фламандских городов, воевавших с герцогами Бургундскими, вызывали живую сенсацию во французских городах, но это было чувство преходящее и безрезультатное; между различными районами не было установлено настоящей связи или союза, и они не придавали никакой силы друг другу. Таким образом, феодализм имел перед ними огромное преимущество; но сам он был разобщен и не отражал происходящее, и ему далеко не удалось уничтожить их. Когда борьба продолжалась определенное время и стало ясно, что полная победа невозможна, возникла необходимость согласиться признать эти маленькие бюргерские республики, провести с ними переговоры и принять их в состав государства. Тогда начался новый порядок вещей и новая попытка политической организации, а именно попытка смешанной организации, которая имела своей целью примирение различных элементов общества, феодальной знати, районов, духовенства и монархов, и, несмотря на их взаимную глубоко укоренившуюся антипатию, заставила их жить и действовать сообща. Эта область предмета еще предстоит исследовать.

Цели генеральных штатов во Франции, кортесов в Испании и Португалии, парламента в Англии и сеймов в Германии достаточно хорошо известны. Элементами этих различных собраний были феодальная знать, духовенство и бюргерство, которые собирались вместе с целью объединения в одно общество, в одно и то же государство и под одинаковым законом и властью. Такова была тенденция и дизайн всех них, под разными названиями.

Я возьму за образец этой попытки организовать генеральные штаты Франции, как наиболее известные. Я говорю "общеизвестно", и все же название генеральных штатов не вызывает ничего, кроме смутных и несовершенных представлений. Нет никого, кто мог бы с какой-либо точностью сказать, что было постоянным в генеральных штатах Франции, каково было количество их членов, какие темы обсуждались, каковы периоды созыва и продолжительность их сессий. Мы ничего не знаем обо всех этих вещах; из истории невозможно извлечь какие-либо ясные и общие результаты по этому вопросу. Когда мы исследуем характер этих собраний в истории Франции, они, по-видимому, были чисто случайными, своего рода политическим сдвигом как со стороны народа, так и со стороны королей: последний переход к королям, когда у них не было денег и они ломали голову над целесообразностью; и последний переход к народу, когда зло стало настолько невыносимым, что обычные средства для облегчения были тщетно исчерпаны. Дворянство и духовенство принимали участие в генеральных штатах, но они приходили туда с неохотой и недоверием, поскольку хорошо понимали, что не в них заключались их лучшие средства действия или что они могли таким образом способствовать своему реальному участию в управлении. Сами бюргеры не испытывали большего желания участвовать в заседании; это было не право, которым они с готовностью пользовались, а скорее

необходимость, которой они подчинились. Мы находим примеры этих фактов в характере политических действий этих собраний. Иногда они были совершенно незначительными, а иногда чрезвычайно ужасными. Если король был сильнейшим, их смирение и покорность были чрезвычайными; если положение короны было катастрофическим, если у нее был абсолютный повод для помощи штатов, они впадали во фракционную оппозицию и становились орудиями либо какой-нибудь аристократической интриги, либо каких-нибудь честолюбивых интриганов. Одним словом, иногда это были просто собрания знати, а иногда настоящие съезды. Таким образом, их труды редко или вообще когда-либо переживали их; они много обещали и пытались, но ничего не делали. Генеральные штаты не приняли ни одной из крупных мер, которые действительно оказали влияние на общество во Франции, ни одной важной реформы в правительстве, законодательстве или администрации. Однако мы не должны слишком поспешно делать вывод, что они были бесполезны или не возымели эффекта. Они служили моральной цели, которая обычно игнорировалась, действуя время от времени как протест против политического рабства и четко провозглашая определенные принципы опеки; такие, например, как то, что страна имеет право вводить налоги, вмешиваться в дела и возлагать ответственность на представителей власти. То, что эти принципы никогда не исчезали во Франции, объясняется главным образом генеральными штатами; и, конечно, немалая услуга, которую можно оказать нации, поддерживая ее нравы и возрождая в ее памяти имя и обязанности свободы. Генеральные штаты добились этого блага, но они никогда не были средством управления и никогда не входили в политическую организацию. Они так и не достигли цели, ради которой были созданы, а именно слияния в единое целое различных обществ, разделявших страну.

Кортесы Испании и Португалии добились одинакового результата. Однако существуют тысячи различных сопутствующих обстоятельств. Значение кортесов варьировалось в зависимости от королевств и времени; в Арагоне и Бискайе, в разгар борьбы за наследование короны или против мавров, они созывались чаще и были более влиятельными, чем в других местах и периоды. В некоторые кортесы — например, в кортесы Кастилии в 1370 и в 1373 годах — дворяне и духовенство не созывались. Существует множество обстоятельств, которые необходимо принять во внимание, если мы хотим более внимательно изучить события; но в рамках системы обобщений, которой я вынужден ограничиться, достаточно утверждать, что кортесы, как и генеральные штаты Франции, были всего лишь случайностью в истории, а не системой, политической организацией или регулярным средством правления.

Судьба Англии сложилась иначе. Я не буду сейчас подробно останавливаться на теме Англии, поскольку моя цель - посвятить лекцию специально исследованию ее политической карьеры. Я скажу лишь несколько слов о причинах, которые придали ей направление, столь кардинально отличное от направления континента.

Во-первых, в Англии не было ни крупных вассалов, ни отдельных подданных государства, которые могли бы противостоять королевской власти. Бароны, крупные лорды, были вынуждены в очень ранний период объединиться, чтобы сформировать общее сопротивление. Таким образом, принцип ассоциации и нравы, по существу политические, преобладали в высшей аристократии. Далее, английский феодализм или владельцы мелких феодальных владений в результате ряда событий, на которые я не могу не сослаться в настоящий момент, объединились с бюргерами и заседали вместе с ними в Палате общин, которая, таким образом, обладала силой, намного превосходящей силу континентальных районов, силой, способной реально

влиять на правительство страны. Итак, в четырнадцатом веке состояние британского парламента было следующим: — Палата лордов была большим советом короля и эффективно участвовала в осуществлении власти; Палата общин, состоящая из депутатов владельцев мелких феодальных владений и горожан, почти не принимала участия в так называемом правительстве, но она способствовала установлению прав и энергично защищала частные и местные интересы. Парламент, рассматриваемый в целом, еще не управлял страной, но это уже был обычный институт, принятый в принципе как средство управления и фактически часто незаменимый. Таким образом, попытка примирить и объединить различные элементы общества с целью формирования единого политического тела и настоящего государства увенчалась успехом в Англии, в то время как на континенте она потерпела неудачу.

Я скажу лишь одно слово о Германии, просто чтобы указать на преобладающий характер ее истории. Там попытки содействовать общему слиянию, единству и общей политической организации предпринимались без особого энтузиазма. Различные социальные элементы оставались гораздо более отчетливыми и независимыми, чем в остальной Европе. Если бы потребовались какие-либо доказательства этого, они были бы найдены даже в наше время. Германия - единственная страна Европы, в которой феодальные выборы долгое время преобладали при создании королевской семьи. Я не включаю в этот список Польшу или славянские народы, которые так поздно вошли в систему европейской цивилизации. Германия также является единственной страной в Европе, в которой сохранился церковный суверенитет и которая сохранила вольные города, имеющие политическое и действительно независимое существование. Поэтому ясно, что попытка объединить в единое общество элементы первобытного европейского мира была там гораздо менее активной и результативной, чем где бы то ни было.

Теперь я представил большие очерки политической организации, предпринимавшиеся в Европе вплоть до конца четырнадцатого и начала пятнадцатого века, и показал их неудачи. В своем "прогнесе" я попытался указать на причины этого плохого успеха, но, по правде говоря, они сводятся к одному. Общество было недостаточно развито для единства и амальгамации; все было еще слишком локальным, особенным и ограниченным в существовании и умах. Не было ни общих интересов, ни общих мнений, способных контролировать частные интересы и мнения. Самые просвещенные и энергичные умы не имели представления ни о подлинно государственном управлении, ни об общественном правосудии. Было ясно, что сначала должна была возникнуть очень активная и могущественная цивилизация, которая смешала бы, ассимилировала и свела воедино, если мне будет позволено так выразиться, все эти разрозненные элементы; что должна быть осуществлена энергичная централизация интересов, законов, нравов и идей; одним словом, необходимо было создать общественную власть и общественное мнение. Мы вступили в эпоху, когда эта великая работа была, наконец, завершена. О его первых симптомах, состоянии умов и нравов в течение пятнадцатого века и их тенденции к формированию центрального правительства и к идентичности тона в общественных чувствах, будет рассказано в следующей лекции.

Лекция XI.

Возвышение наций и правительств.

Мы приближаемся к порогу современной истории, собственно так называемой, к порогу того общества, которое является нашим собственным, институты, мнения и манеры которого сорок лет назад были французскими, все еще являются европейскими и все же оказывают на нас, несмотря на метаморфозы, которые заставила нас претерпеть наша революция, очень мощное влияние. Как я уже упоминал ранее, современное общество по-настоящему зародилось в шестнадцатом веке. Прежде чем перейти к нему, я оглянусь пройденный нами путь.

Среди руин Римской империи мы разглядели все основные элементы нашей Европы; мы видели, как они проявляются и приобретают известность, каждый сам по себе и независимо. В первую эпоху нашей истории мы осознали постоянную тенденцию этих элементов к разделению и изоляции, к локальному и особому существованию. Затем, когда эта цель казалась достигнутой, когда феодализм, районы и церковь обрели свою особую форму и место, мы обнаружили, что они немедленно устремились к примирению и союзу, к формированию общего общества, национального органа и правительства. Чтобы получить этот результат, последовательно применялись все различные системы, которые сосуществовали в различных странах Европы; принцип социального единства, политическое и моральное ядро, искали у теократии, аристократии, демократии и королевской семьи. Мы видели, что до сих пор эти попытки терпели неудачу, и что ни одна система или влияние не были способны монополизировать общество и своим влиянием обеспечить ему действительно общественную организацию. Мы обнаружили, что причина неудач заключалась в отсутствии общих интересов и идей, в том, что все по-прежнему было слишком особенным, индивидуальным и локальным; и было очевидно, что требовались длительные и энергичные усилия по централизации, позволяющие обществу одновременно расширяться и цементировать себя — другими словами, стать одновременно великим и регулярным — цель, к которой оно, естественно, стремится. Именно в таком состоянии мы покинули Европу в конце четырнадцатого века.

Европа не смогла правильно понять свое положение, как я пытался его показать. Она не знала отчетливо, в чем заключались ее недостатки или какие средства были необходимы. И все же она приложила все усилия, чтобы найти эти средства, как будто была прекрасно осведомлена о них. Неудача всех грандиозных попыток политической организации стала очевидной, и Европа естественным образом, словно инстинктивно, встала на пути централизации. Пятнадцатый век характеризуется постоянным стремлением к этому результату, стремлением создать общие интересы и идеи, искоренить дух специализации и локальности, объединить и взрастить существование и умы; короче говоря, вызвать к жизни то, чего никогда ранее не существовало в больших масштабах — нации и правительства.

Вспышка этого факта относится к шестнадцатому и семнадцатому векам; пятнадцатый послужил его подготовкой. Объектом нашего непосредственного исследования является та подготовка, та незаметная работа в направлении централизации как в социальных отношениях, так и в идеях, которая впоследствии была осуществлена естественным ходом событий, без предвидения или замысла.

Именно таким образом человек продвигается к осуществлению плана, который он сам не задумывал, о котором он даже совершенно не осведомлен. Он умный и свободный работник в работе, которая ему не принадлежит, и которую он узнает и понимает только позже, когда она проявляется внешне и в реальности; и даже тогда его понимание несовершенно. И все же именно благодаря ему, развитию его интеллекта и свободы, эта работа завершена. Представьте себе огромную машину, назначение которой известно только одному разуму, но различные ее части доверены отдельным рабочим, которые держатся обособленно и незнакомы друг с другом. Ни один из них не знаком со всей полнотой работы, ни с окончательным и общим результатом, в достижении которого он участвует; тем не менее каждый разумно и свободно выполняет, посредством рациональных и добровольных действий, то, что ему доверили. Таков план Провидения относительно мира, выполненный руками смертных, и, таким образом, сосуществуют те два факта, которые проявляются в истории цивилизации: первый - то, что в ней есть от фатализма, то, что не подвержено влиянию человеческого знания и воли; и другой - то, чем она обязана свободе и интеллекту человека, то, что он вложил в нее от себя, в результате действий своей мысли и склонностей.

Чтобы в совершенстве понять XV век, получить ясное и точное знание об этом предшественнике современного общества, будет уместно провести различие между различными классами фактов. Сначала мы рассмотрим политические факты и изменения, которые имели тенденцию формировать как нации, так и правительства. Затем мы перейдем к моральным фактам и исследуем изменения, произведенные в идеях и нравах, исходя из этого, какие общие мнения находились в процессе формирования.

Что касается политических фактов, то, чтобы упростить и ускорить наш прогресс, я возьму все великие страны Европы и покажу, что сделал с ними пятнадцатый век, в каком состоянии он их застал и оставил.

Я начну с Франции. Последняя половина четырнадцатого и первая половина пятнадцатого веков, как хорошо известно, были временем великих национальных войн против англичан. Это была эпоха, в которую продолжалась борьба за независимость территорий и имени Франции против иностранного владычества. Достаточно бросить взгляд на историю, чтобы увидеть, с каким рвением все классы общества Франции, несмотря на бесчисленные разногласия и акты предательства, сотрудничали в этой борьбе и какой патриотизм проявляли феодальная знать, бюргеры и даже крестьяне. Если бы не было ничего, кроме истории Жанны д'Арк, что могло бы показать популярный характер той эпохи, это само по себе было бы убедительным доказательством. Орлеанская дева происходила из народа, и она черпала свое вдохновение и поддержку в чувствах, убеждениях и страстях, преобладавших среди людей. Придворная знать и военачальники относились к ней с сомнением, презрением и даже враждебностью, но солдаты и простой народ были ее постоянными приверженцами. Именно крестьяне Лотарингии послали ее к гражданам Орлеана. Никакое событие не могло бы более ярко продемонстрировать народный характер той войны и то чувство, которое испытывала по отношению к ней вся страна.

Так начала формироваться французская национальность. До правления Валуа во Франции преобладал феодальный характер, а французской нации, французского духа или патриотизма не существовало. Можно сказать, что Франция началась с Валуа, ибо именно в ходе их войн и в

результате опасностей, выпавших на их долю, дворянство, горожане и крестьяне впервые были объединены моральными узами, узами общего имени, общей чести и одинаковым желанием покорить врага. Тем не менее, в правительстве и институтах не было истинного политического духа, великого принципа единства, такого, как мы понимаем под этими терминами в наши дни. Единство, к которому стремилась Франция в ту эпоху, ограничивалось славой ее имени, ее национальной честью и существованием национальной королевской семьи, какой бы она ни была, так что иностранец был исключен из нее. Но даже в этом смысле соперничество с англичанами в значительной степени способствовало формированию французской нации и ее тенденции к концентрации.

В то же самое время, когда Франция, таким образом, морально формировалась и национальный дух получал развитие, она также, так сказать, конституировалась материально, то есть ее территория была организована, расширена и консолидирована. В этот период произошло объединение большего числа провинций, которые стали Францией. При Карле VII, после изгнания англичан, почти все провинции, которые они оккупировали, - Нормандия, Ангумэ, Турень, Пуату, Сентонж и др. - окончательно стали французскими. При Людовике XI десять провинций, из которых три впоследствии были потеряны и возвращены, были объединены с Францией, а именно: Руссильон и Сердань, Бургундия, Франш-Конте, Пикардия, Артуа, Прованс, Мэн, Анжу и Перш. При Карле VIII. и Людовике XII. Последовательные браки Анны с этими двумя королями подарили нам Бретань. Таким образом, в ту же эпоху и в ходе тех же событий совместно сформировались национальная территория и дух; и моральная Франция, и физическая Франция вместе приобрели силу и единство.

Переходя от нации к правительству, мы видим свершившиеся факты того же характера, продвижение к тому же результату. Французское правительство никогда не было более бессильным и более лишенным единства и связующих уз, чем в царствование Карла VI и в первой половине правления Карла VII. В конце этого правления ситуация приняла совершенно иной вид. Тогда, очевидно, существовала консолидированная, расширенная и организованная власть; в то время как все великие инструменты управления — налогообложение, военная сила и отправление правосудия — были организованы в большом масштабе и создавали впечатление, что составляют части одного целого. Именно в это время была сформирована постоянная армия, состоящая из регулярных рот кавалерии и лучников в качестве пехоты. С помощью этих сил Карл VII восстановил некоторый порядок в провинциях, опустошенных разгулом и грабежами войск, даже после окончания войны. Все современные историки рассуждают о чудесном воздействии регулярных компаний. Именно в ту же эпоху подушный налог, один из основных источников королевских доходов, стал постоянным; несомненно, это был тяжелый удар по свободе народа, но он в значительной степени способствовал регулярности и силе правления. В то же время этот великий инструмент власти, отправление правосудия, было расширено и организовано. Было увеличено количество парламентов. Пять новых парламентов [Сноска 15] были учреждены за очень короткий промежуток времени; при Людовике XI. парламенты Гренобля (в 1451 году), Бордо (в 1462 году) и Дижона (в 1477 году); при Людовике XII. парламенты Руана (в 1499 году) и Экса (в 1501 году). Парижский парламент тогда также приобрел гораздо большее значение и стабильность, как в том, что касается отправления правосудия, так и в том, что касается полиции, находящейся под его юрисдикцией.

[Сноска 15: Исходя из совершенно иного значения, подразумеваемого словом "парламент" в Великобритании, будет уместно напомнить английскому читателю, что парламенты Франции были всего лишь местными трибуналами, едва ли наделенными каким-либо политическим или законодательным характером.]

Таким образом, с точки зрения военной силы, налогообложения и судебной системы — то есть в том, что формирует ее сущность, — правительство приобрело во Франции в XV веке характер единства, регулярности и стабильности, которые ранее были неизвестны. Тогда государственная власть окончательно вытеснила феодальную или местную власть.

Идентичным с этим фактом было осуществление другого изменения, менее заметного и не столь замеченного историками, но, возможно, еще более важного, а именно того, которое Людовик XI произвел в порядке правления.

Много говорилось о борьбе, которую вел Людовик XI. против знати королевства, об их унижении и о его благосклонности к бюргерам и более слабым людям. Во всем этом есть доля истины, хотя при описании этого было использовано большое преувеличение; и также верно, что поведение Людовика XI по отношению к различным классам общества гораздо чаще вызывало беспокойство, чем служило государству. Но он сделал нечто гораздо более важное. До него правительство едва ли когда-либо действовало иначе, как силой, физическими средствами. Убеждение, обращение, искусство управлять людьми и направлять их в нужное русло — одним словом, политика, так называемая в собственном смысле, политика лжи и обмана, несомненно, но также мастерства и благоразумия, ранее мало использовалась. Людовик XI. заменил в своем правительстве материальные средства интеллектуальными, силу обманом, итальянскую систему политики феодальной. Возьмем двух людей, соперничество которых наполняет эту эпоху французской истории, Карла Смелого [Сноска 16] и Людовика XI.

[Сноска 16: Карл Смелый был последним герцогом Бургундии. Обычный читатель не найдет ничего лучше, чем взглянуть на "Квентина Дорварда" сэра Вальтера Скотта, чтобы увидеть восхитительный портрет этих двух мужчин.]

Карл был представителем древнего способа правления; он исходил только из насилия и постоянно призывал к войне. Он был человеком, неспособным к спокойному или терпеливому размышлению или к обращению к умам людей, чтобы превратить их в инструменты успеха. Напротив, это приводило Людовика XI в восторг. избегать применения силы и завоевывать людей индивидуально, личным убеждением или умелым обращением к их интересам и пониманию. Он изменил не институты или внешнюю систему, а скрытые курсы, тактику власти. Современности оставалось попытаться совершить еще большую революцию, стремясь заменить справедливость алчным эгоизмом, честную и открытую торговлю ложью и секретностью, а также в средствах, используемых для достижения политических целей, как и в самих целях. И все же это был великий шаг, который нужно было сделать - прекратить постоянное применение силы, апеллировать к интеллектуальному превосходству, управлять с помощью понимания людей, а не путем нанесения ущерба всему сущему. Этот Людовик XI начал посреди своих преступлений и ошибок и, несмотря на свою собственную извращенную натуру, по наущению только своего сильного интеллекта.

Из Франции я переезжаю в Испанию, где нахожу события того же характера. Подобным же образом в пятнадцатом веке было сформировано национальное единство Испании; и в ту эпоху завершилась, с завоеванием королевства Гренада, долгая борьба между христианами и арабами. Затем также была консолидирована территория: благодаря браку Фердинанда Католика с Изабеллой два главных королевства, Кастилия и Арагон, были объединены под одной властью. Как и во Франции, королевская власть была расширена и укреплена; ее опорой служили учреждения более сурового порядка, носившие названия, более пропитанные горем; вместо парламентов в Испании была учреждена инквизиция. В нем содержались зачатки того, чем он стал впоследствии, но в начале он был совсем другим: сначала он был скорее политическим, чем религиозным, предназначенным скорее для поддержания порядка, чем для защиты веры. Аналогия между двумя странами переносится не только на институты, но и на саму личность суверенов. С меньшей утонченностью, с меньшим душевным движением и с меньшей долей беспокойства и хитрости характер и правление Фердинанда Католика очень напоминали характер Людовика XI. Я придаю мало значения произвольным сравнениям, фантастическим параллелям, но здесь аналогия действительно глубока и отражается как на общих фактах, так и на деталях.

Такой же результат наблюдается и в государстве Германия. Это было в середине пятнадцатого века, в 1438 году, когда австрийский дом вернулся в империю, и вместе с этим императорская власть приобрела стабильность, которой она никогда раньше не обладала: форма избрания стала почти простым закреплением наследственного права. В конце пятнадцатого века Максимилиан I. окончательно установил преобладание своего дома и регулярное осуществление центральной власти. Карл VII. он был первым во Франции, кто создал постоянную силу для поддержания порядка, поэтому Максимилиан в своих наследственных государствах использовал те же средства для достижения той же цели. Людовик XI. основал почтовое отделение во Франции, а Максимилиан ввел его в Германии. Во всех странах подобные достижения цивилизации повсеместно шли на пользу центральной власти.

История Англии XV века состоит из двух великих событий — внешней войны с Францией и внутренней войны Алой и Белой Розы, внешней и гражданской войны. Эти две войны, столь разные по внешнему виду, привели к одному и тому же результату. Соперничество с Францией поддерживалось английским народом с рвением, которое было обращено почти исключительно в пользу королевской власти. Эта нация, даже тогда более искусная и твердая, чем любая другая, в том, что касалось экономии своих войск и денег, в ту эпоху оставила их своим королям без предвидения или расчета. В правление Генриха V. значительный доход, таможенные права, были предоставлены королю пожизненно с момента его восшествия на престол. Когда внешняя война закончилась, или почти закончилась, гражданская война, которая поначалу была с ней связана, продолжалась в одиночестве, и дома Йорков и Ланкастеров отстаивали свои соответствующие притязания мечом. Когда в их кровавых распрях была поставлена точка, высшая английская аристократия была разорена, поредела и совершенно неспособна сохранить власть, которой она пользовалась в прежние времена. Коалиция крупных баронов больше не могла внушать благоговейный трепет короне. Когда Тюдоры взошли на трон в лице Генриха VII в 1485 году, началась эра политической централизации и триумфа королевской власти.

В Италии королевская власть не была учреждена, по крайней мере, не под таким названием; но это не имеет большого значения в отношении результата. Республики пали в пятнадцатом веке;

или там, где это название еще сохранилось, власть была сосредоточена в руках одной или нескольких семей; республиканская жизнь была выжжена дотла. На севере Италии, почти все ломбардские республики объединились в миланское герцогство. В 1434 году Флоренция перешла под власть Медичи. В 1464 году Генуя перешла в подчинение Миланцев. Большинство республик, больших и малых, уступили место суверенным домам. Вскоре после этого начали выдвигаться претензии иностранных государей на север и юг Италии — к Миланцам, с одной стороны, и к Неаполитанскому королевству, с другой.

На какую бы страну Европы ни упал наш взгляд, какую бы часть ее истории мы ни рассматривали - имеет ли это отношение к самим нациям или к правительствам, институтам или территориям, — мы повсюду видим, что древние элементы и формы общества разлагаются и готовы исчезнуть. Старые традиционные свободы разрушаются, в то время как возникают новые силы, более регулярные и концентрированные. Есть что-то бесконечно скорбное в этом зрелище падения старых европейских свобод; и в тот период, когда оно происходило, оно внушало самую горькую скорбь. Во Франции, в Германии и особенно в Италии патриоты XV века яростно и с энергией отчаяния выступали против революции, которая со всех сторон приводила к тому, что они имели право назвать деспотизмом, и осуждали ее. Мы не можем не восхищаться их мужеством и не сочувствовать их горю, но в то же время мы должны признать, что революция, о которой идет речь, была не только неизбежной, но и полезной. Примитивная система Европы, старые феодальные порядки и городские свободы потерпели полную неудачу в организации общества. Безопасность и прогрессивность являются основными составляющими социального государства. Любая система, которая не обеспечивает порядок в настоящем и прогресс в будущем, является порочной и вскоре отвергается. Такова была судьба старых политических форм и свобод в пятнадцатом веке. Они были неспособны обеспечить обществу ни безопасность, ни прогресс. Эти последствия следовало искать в другом месте, исходя из других принципов, других средств действия. Таков смысл всех фактов, на которых я только что остановился.

К той же эпохе относится еще один факт, занявший большое место в истории Европы. В пятнадцатом веке отношения правительств между собой стали частыми, регулярными и постоянными. Тогда впервые были сформированы те великие комбинации и союзы, как для мира, так и для войны, которые в конечном итоге привели к созданию системы баланса сил. Дипломатия в Европе берет свое начало в пятнадцатом веке. Фактически, ближе к концу того столетия мы видим, как главные державы континента, папы, герцоги Милана, венецианцы, императоры Германии, короли Испании и короли Франции, налаживают связи, ведут переговоры, приходят к взаимопониманию, объединяются между собой и уравнивают свои соответствующие государства. Таким образом, в то время, когда Карл VIII предпринял свою экспедицию для завоевания Неаполя, против него был образован большой союз между Испанией, папой римским и венецианцами. Камбрская лига была организована несколькими годами позже (в 1508 году) против венецианцев. Священная лига, направленная против Людовика XII, сменила в 1511 году Камбрскую лигу. Все эти комбинации проистекали из итальянской политики, из желания различных государей овладеть ее территорией и из опасения, что один из них, захватив исключительно ее, получит слишком большое превосходство. Этот новый порядок фактов был в высшей степени благоприятен для развития королевской власти. Во-первых, исходя из самой природы внешних сношений государств, ими

может управлять только один человек или небольшое число лиц, и они требуют определенной степени секретности. Во-вторых, люди обладали столь малой дальновидностью, что последствия сочетания этого описания ими не были оценены; такие вещи не имели для них прямого, домашнего интереса, и поэтому они очень мало заботились о них, оставляя их на усмотрение центральной власти. Таким образом, дипломатия в том виде, в каком она возникла, попала в руки королей; и идея о том, что она принадлежит исключительно им, что стране, даже когда она свободна и монополизирует право взимать свои собственные налоги и вмешиваться в свои собственные дела, не разрешается вмешиваться в иностранные дела, утвердилась почти во всех умах как устоявшийся принцип, как максима общего права. Взгляните на историю Англии в шестнадцатом и семнадцатом веках; мы увидим, какой силой обладала эта идея и какие препятствия она противопоставляла английским свободам в правление Елизаветы, Якова I и Карла I. Этот принцип всегда основывался на том, что мир и война, торговые отношения, одним словом, все внешние дела принадлежали королевской прерогативе, что абсолютная власть защищала себя от прав страны. Нации проявляли чрезмерную робость в признании этой части прерогатив, и эта робость была для них тем более пагубной, что начиная с эпохи, в которую мы вскоре вступаем, то есть с шестнадцатого века, история Европы по сути своей дипломатична. Внешние отношения на протяжении почти трех столетий составляют важную часть истории. Внутри страны были организованы, и установление внутреннего правительства, по крайней мере на континенте, больше не вызывало потрясений и не поглощало всю общественную деятельность. Следовательно, внешние отношения, войны, переговоры и союзы - это те вопросы, которые привлекают внимание и заполняют страницы истории. Таким образом, представляется, что большая часть судеб народов была отдана на откуп королевской прерогативе, центральной власти.

Действительно, едва ли возможно, чтобы было иначе. Требуется значительный прогресс цивилизации, поразительное развитие политического понимания и научных исследований, чтобы позволить общественности вмешиваться в кредитные дела такого рода. С шестнадцатого по восемнадцатый век люди были очень далеки от того, чтобы обладать какой-либо такой способностью. Возьмем, к примеру, сцену из истории Англии начала семнадцатого века, при Якове I. Его зять, курфюрст-палатин, будучи избран королем Богемии, потерял свою корону и даже был лишен своего наследственного государства пфальц. Весь протестантизм был заинтересован в его деле, и по этой причине Англия прониклась сильным сочувствием к его успеху. Произошло мощное возбуждение общественного мнения, которое вынудило Якова встать на сторону своего зятя и добиться его восстановления в пфальце. Парламент яростно требовал войны, обещая достаточные средства для ее поддержания. Джеймс не очень стремился к этому; он уклонился от ответа, предпринял несколько попыток переговоров, отправил несколько войск в Германию, а затем приехал сообщить парламенту, что ему потребуется 900 000 фунтов стерлингов, чтобы продолжать войну с любыми шансами на успех. Не было сказано, и на самом деле не похоже, что его расчеты были преувеличены. Но парламент был удивлен и напуган перспективой таких расходов и с большой неохотой проголосовал за сумму в 70 000 фунтов стерлингов для восстановления власти принца и отвоевания страны в нескольких сотнях миль от Англии. Таковы были невежество и политическая неспособность общественности в подобных вопросах. Оно действовало, не зная фактов и не обременяя себя какой-либо ответственностью: следовательно, оно не имело возможности вмешиваться в регулярность или эффективность. Это была основная причина, из-за которой внешние отношения попали в руки центральной власти, поскольку только она была в

состоянии направлять их, я не скажу для общественного блага, поскольку с этим не всегда советовались, но с какой-либо непрерывностью и здравым смыслом.

Таким образом, мы видим, что, с какой бы точки зрения ни представлялась нам политическая история Европы той эпохи, направлено ли наше внимание на внутреннее состояние стран или на их взаимоотношения друг с другом, смотрим ли мы на военное управление, правосудие или налогообложение, во всем различим один и тот же общий характер; мы повсюду замечаем одну и ту же тенденцию к централизации и единству, к формированию и преобладанию общих интересов и общественных сил. Это был скрытый труд, действовавший в пятнадцатом веке, — труд, который тогда не привел к какому-либо видимому результату, к какой-либо революции, собственно так называемой, в обществе, но который подготовил путь для всех. Теперь я перехожу к фактам другой природы, к моральным фактам или к тем, которые имеют отношение к развитию человеческого разума и общих идей. Там мы также увидим то же явление и придем к тому же выводу.

Я начну с ряда фактов, которые очень часто были предметом нашего исследования и которые в различных формах всегда занимали важное место в истории Европы: я имею в виду факты, относящиеся к церкви. Исходя из наших взглядов на ситуацию в Европе вплоть до пятнадцатого века, нам было известно, что единственными общими и потенциальными идеями, по-настоящему действующими на массы, были религиозные идеи. Мы видели, что только церковь была наделена полномочиями регулировать, пропагандировать и предписывать эти идеи. Правда, часто предпринимались попытки к независимости и отделению, и от церкви требовались самые напряженные усилия, чтобы подавить их. Эти усилия до сих пор были успешными; догмы, преданные анафеме церковью, не овладели умами людей повсеместно и надолго; даже альбигойцы были сокрушены. В лоне церкви постоянно происходили разногласия и распри, но без какого-либо решающего или поразительного результата. В начале пятнадцатого века положение вещей стало совершенно иным; новые идеи и публично выраженное стремление к изменениям и реформам взбудоражили саму церковь. Конец четырнадцатого и начало пятнадцатого веков были проиллюстрированы великим западным расколом, возникшим в результате перевода Святого Престола в Авиньон и создания двух пап, одного в Авиньоне, а другого в Риме. Борьба между этими двумя папствами — это то, что называется великим расколом запада. Она началась в 1378 году. В 1409 году Пизанский собор, желая положить этому конец, назначил третьего, Александра V. Это разбирательство, столь далекое от того, чтобы умерить буйство раскола, раздуло его еще больше, и вместо двух оппозиционных пап стало трое. Беспорядки и злоупотребления, вызванные этим прискорбным раздором, продолжали нарастать. В 1414 году Констанцский собор собрался по просьбе императора Сигизмунда. Он приступил к совершенно иному делу, нежели назначение нового папы; он предпринял реформу церкви. Прежде всего, он провозгласил нерасторжимость генерального совета и его превосходство над папской властью. Он попытался добиться признания этих принципов основополагающими в церкви, а затем приступил к задаче искоренения злоупотреблений, которые вкрались в нее, особенно поборов, с помощью которых римский суд вымогал деньги у верующих. Чтобы лучше достичь своей цели, совет учредил то, что мы назвали бы комитетом по расследованию, то есть *коллегию реформаторов*, состоящую из депутатов, отобранных от различных представленных в ней наций. Этой коллегии было поручено расследовать злоупотребления, запятнавшие церковь, и способы их исправления, а

также представить отчет совету, который обсудил бы способы казни. Но пока собор занимался этой работой, ему был представлен вопрос — может ли он приступить к исправлению злоупотреблений без участия главы Церкви, без санкции папы? Это было решено отрицательно под влиянием партии романистов, поддерживаемой честными, но робкими людьми; поэтому в 1417 году собор избрал нового папу, Мартина V. Этому папе было поручено представить план реформы церкви, который оказался неприемлемым, и собор разошелся. В 1431 году в Базеле собрался новый собор с тем же замыслом. Оно продолжило реформаторскую работу Констанцского собора, но не добилось большего успеха. Раскол, разделивший христианство, разразился и в соборании. Папа перенес Базельский собор в Феррару, а затем во Флоренцию. Часть прелатов отказалась повиноваться папе и осталась в Базеле; так как раньше было два папы, то тогда было и два собора. Базельский собор придерживался своих проектов реформ и назначил своего собственного папу Феликса V. Через некоторое время он переехал в Лозанну и окончательно распался в 1449 году, так и не добившись ни одной цели.

Таким образом, папство в конечном счете одержало верх и осталось во владении полем битвы и управлением церковью. Советы не смогли выполнить то, что они предприняли, но последствия их действий пережили их провал. В то время, когда Базельский совет допустил ошибку в своих попытках реформ, некоторые монархи воспользовались идеями, которые он провозгласил, и учреждениями, которые он рекомендовал. Во Франции Карл VII издал прагматическую санкцию, основанную на постановлениях Базельского собора, которые он провозгласил в Бурже в 1438 году. Он сохранил избрание епископов, пресечение первых плодов и реформу основных злоупотреблений, распространенных в церкви. Прагматическая санкция была объявлена законом государства во Франции. В Германии сейм Майнца принял его в 1439 году, а также сделал законом Германской империи. Таким образом, то, что духовная власть безуспешно пыталась сделать, светская власть, казалось, была полна решимости осуществить.

Проектам реформирования было суждено столкнуться с новыми провалами. Поскольку советы потерпели неудачу, то же самое произошло и с прагматическими санкциями. В Германии он исчез с большой внезапностью; сейм официально отказался от него в 1448 году в результате переговоров с Николаем V. Во Франции Франциск I. аналогичным образом отказался от него в 1516 году и заменил его своим конкордатом со Львом X. Таким образом, княжеская реформа была не более успешной, чем церковная. Но мы не должны делать вывод, что она полностью исчезла. Подобно тому, как советы совершали поступки, оставлявшие после себя последствия, так же были и прагматические санкции, которые пережили это и которым было суждено сыграть важную роль в современной истории. Принципы, провозглашенные Базельским советом, были энергичными и плодотворными. Некоторые выдающиеся и решительные люди приняли и поддерживали их. Иоанн Парижский, Д'Айи, Жерсон и множество выдающихся людей пятнадцатого века посвятили себя их защите. Хотя собор был распущен, а прагматическая санкция отменена, их общие доктрины об управлении церковью и о реформах, которые необходимо было разработать, пустили корни во Франции и были там увековечены. Они прошли в парламенты, постепенно превратились во влиятельное общественное мнение и породили сначала янсенистов, затем галликанцев. Вся эта серия принципов и усилий, направленных на реформирование церкви, которая началась с Констанцского собора и завершилась четырьмя положениями Боссюэ, исходила из одного и того же источника и вела к одной и той же цели. Это был идентичный факт, последовательно трансформированный. Несмотря на провал

законных и регулярных попыток реформ в пятнадцатом веке, они заняли свое место в развитии цивилизации и косвенно оказывали огромное влияние.

Советы проявили мудрость, проводя свою правовую реформу, поскольку только она могла предотвратить революцию. Почти в тот же момент, когда Пизанский собор попытался положить конец великому расколу на западе, а Констанцский собор - реформировать церковь, первые попытки народной религиозной реформы сопровождались насилием в Богемии. Проповеди и успехи Яна Гуса датируются 1404 годом, периодом, когда он начал преподавать в Праге. Таким образом, две реформы шли бок о бок; одна - в самом лоне церкви, опробованная самими аристократическими священнослужителями, осторожная, робкая и сорванная реформа; другая - реформа вне церкви, противостоящая ей, жестокая и ожесточенная. Вскоре между этими двумя державами или замыслами разгорелась война. Собор вызвал Яна Гуса и Иеронима Пражского в Констанц и приговорил их к сожжению на костре как еретиков и революционеров. Эти события совершенно понятны нам в наши дни. Мы можем очень легко понять одновременность отдельных реформ, одна из которых проводится правительствами, другая - народами, врагами друг друга, и все же исходящими из одного источника и ведущими к одной и той же цели; реформ, которые, хотя и ведут войну друг с другом, фактически и окончательно согласованы в общей цели. Так было в пятнадцатом веке. Популярная реформа Яна Гуса была на мгновение подавлена; война гуситов не разгоралась в течение трех или четырех лет после смерти их учителя. Это продолжалось долгое время с большим насилием, но в конце концов Империя восторжествовала. Но поскольку реформа, предпринятая советами, не возымела эффекта, поскольку цель, которую они преследовали, не была достигнута, народная реформа не прекратила брожения; она ждала только удобного случая, и она нашла его в начале шестнадцатого века. Если бы реформа, предпринятая советами, была доведена до благоприятного завершения, народная реформа, возможно, была бы предотвращена. Но успех того или другого был неизбежен, поскольку их совпадение доказывает необходимость.

Таким образом, состояние, в котором пятнадцатый век оставил Европу в религиозных вопросах, было таково: попытка аристократической реформы была безуспешной, а народная реформа была начата и подавлена, но всегда была готова взорваться. Но брожение человеческого разума в ту эпоху не ограничивалось сферой религиозных догматов. Как хорошо известно, именно в четырнадцатом веке греческая и римская античность была, так сказать, возвращена Европе. Рвение, с которым Данте, Петрарка, Боккаччо и все их современники разыскивали греческие и латинские рукописи и дарили их миру, пользуется дурной славой. Малейшее открытие такого рода вызывало удивительную суматоху и прилив радости. В разгар этого волнения начала формироваться школа, которая сыграла гораздо более важную роль в развитии человеческого разума, чем ей обычно приписывают; я имею в виду классическую школу. Я не придаю этому слову того значения, в котором оно используется сейчас; тогда оно имело отношение к чему угодно, только не к литературной системе или состязанию. Классическая школа той эпохи была охвачена восхищением не только трудами древних, Вергилием и Гомером, но и всем древним обществом — его институтами, мнениями и философией, а также литературой. Следует признать, что античность в области политики, философии и литературы намного превосходила Европу четырнадцатого и пятнадцатого веков. Поэтому несколько не удивительно, что оно оказало столь большое влияние или что большинство просвещенных, деятельных, утонченных и привередливых умов прониклись крайним отвращением к грубым манерам, запутанным идеям и варварским формам своего времени и с восторгом отдались изучению и почти богослужению обществу, гораздо более

правильному и в то же время гораздо более развитому. Так возникла та школа вольнодумцев, которая появилась в начале пятнадцатого века и в которой объединились прелаты, юристы и ученые.

В разгар этого движения произошло взятие турками Константинополя, падение Восточной империи и поселение беглых греков в Италии. Они принесли с собой расширенные знания о древности, многочисленные рукописи и множество новых средств, с помощью которых можно было более тщательно изучить древнюю цивилизацию. Классическая школа прониклась удвоенным восхищением и рвением. Это был период самого блестящего развития аристократической церкви, особенно в Италии, не столько с точки зрения политической власти, сколько с точки зрения роскоши и богатства. Она с царственной гордостью предалась всем удовольствиям чувственной, женственной, элегантной и распущенной цивилизации, пристрастилась к литературе и искусствам, к социальным и материальным удовольствиям. Посмотрите, какую жизнь вели люди, сыгравшие важную роль в политике и литературе той эпохи, — например, кардинал Бембо. Мы поражены столь необычной смесью утонченной чувственности и интеллектуального развития, вялых манер и твердости ума. На самом деле, обзревая ту эпоху и созерцая ее идеи и социальные отношения, мы могли бы вообразить, что находимся в середине французского восемнадцатого века. Мы видим то же рвение к интеллектуальному движению и новым идеям, тот же вкус к мягкой и приятной жизни; одним словом, ту же изнеженность и распущенность, тот же недостаток политической энергии и моральных доктрин, сопровождаемый замечательной прямоотой и активностью ума. Литераторы пятнадцатого века находились по отношению к церковным прелатам в тех же отношениях, что литераторы и философы восемнадцатого века по отношению к великим аристократам; все они были проникнуты одними и теми же мнениями, все вели один и тот же образ жизни, гармонично сочетались друг с другом и равнодушно взирали на назревавшее вокруг них волнение. Прелаты пятнадцатого века, начиная с кардинала Бембо, несомненно, предвидели восстание Лютера и Кальвина не больше, чем придворные имели какое-либо предвзятое представление о Французской революции. Ситуация была аналогичной.

Таким образом, в эту эпоху проявляются три великих факта морального порядка. Во-первых, церковная реформа, предпринятая самой церковью; во-вторых, народное движение за религиозную реформу; и, наконец, интеллектуальная революция, которая сформировала школу вольнодумцев. И все эти изменения происходили на фоне величайших политических перемен, которые ранее происходили в Европе, на фоне стремления к централизации в нациях и правительствах.

И это было еще не все. Это был также период величайшей внешней активности человечества — период путешествий, предприятий, открытий и изобретений всех видов. Это была эпоха великих экспедиций португальцев вдоль берегов Африки, открытия прохода мимо мыса Доброй Надежды, открытия Америки Колумбом и удивительного расширения европейской торговли. Появилось множество новых изобретений, в то время как другие, ранее известные в ограниченной сфере, стали популярными и вошли во всеобщее употребление. Порох изменил систему ведения войны, а компас — систему навигации. Было развито искусство масляной живописи, которое покрыло Европу шедеврами. Гравировка на меди, изобретенная в 1460 году, умножила и распространила их. Использование льняной бумаги стало обычным делом.

Наконец, между 1436 и 1452 годами было изобретено книгопечатание, тема стольких декламаций и стольких банальностей, но достоинства и эффекты которого никогда не будут затемнены ни банальной декламацией, ни тошнотворной светской болтовней.

Таковы были величие и активность этого столетия; величие, еще едва заметное, деятельность, которая еще не принесла своих результатов в распоряжение человечества. Насильственные реформы были подавлены; правительства консолидировались, а народ успокоился. Можно было бы предположить, что общество просто готовилось насладиться лучшим порядком вещей, сопровождаемым ускоренным порывом. Но надвигались революции шестнадцатого века, к которым пятнадцатый только готовился. Они будут предметом моей следующей лекции.

Лекция XII.

Последствия реформации.

В ходе нашего исследования у нас часто был повод сетовать на беспорядок и анархию европейского общества и жаловаться на трудность анализа и изображения общества столь разрозненного, непоследовательного и диссонирующего. Мы жаждали и нетерпеливо призывали к наступлению эры общих интересов, порядка и социального единства. Теперь мы достигли этого и вступаем в эпоху, в которой все сводится к общим фактам и общим идеям, в саму эпоху порядка и единства. Здесь мы, однако, сталкиваемся с трудностью другого рода. До сих пор требовались огромные усилия, чтобы связать факты воедино, расставить их по своим местам, ухватить то, что у них было общего, и создать некую видимость целого. В современной Европе дела обстоят в противоположном ключе. Все элементы и происшествия социального государства модифицируются друг другом, действуют и реагируют друг на друга; взаимоотношения людей гораздо более многочисленны и сложны; и такая же множественность и запутанность имеет место в их отношениях с правительством государства, в отношениях государств между собой, а также в идеях и во всей работе человеческого разума. В периоды, через которые мы прошли, огромное количество фактов казалось изолированными, чуждыми друг другу и не имеющими взаимного влияния. Теперь у нас больше нет изоляции; все вещи встречаются, смешиваются и изменяются по мере встречи. Можно ли представить себе что-либо более трудное, чем выделить истинное единство среди такого разнообразия, определить направление движения, столь протяженного и сложного, представить в общем виде такое огромное скопище различных элементов, тесно связанных друг с другом; одним словом, определить общий преобладающий факт, который подводит итог и выражает длинный ряд фактов, который является характеристикой эпохи и точным выражением ее влияния и действительности в истории цивилизации?

Мы быстро поймем масштабы этой трудности в великом событии, которое сейчас должно привлечь наше внимание.

В двенадцатом веке мы столкнулись с событием, религиозным по своему происхождению, хотя и обратным по своей природе, — я имею в виду крестовые походы. Несмотря на масштабность события, его продолжительность и разнообразие обстоятельств, которые оно вызвало, было несложной задачей разгадать его общий характер и с некоторой точностью определить его единство и влияние. В настоящее время мы должны рассмотреть религиозную революцию шестнадцатого века, которую обычно называют Реформацией. Позвольте мне здесь

предположить, что я буду использовать слово *реформация* как простой и устоявшийся термин, синонимичный *религиозной революции* не подразумевающий суждения о ее природе. Таким образом, на пороге мы видим, как трудно определить истинный характер этого великого кризиса — изложить в общей форме, что это было и к чему привело.

Мы должны искать Реформацию между началом шестнадцатого и серединой семнадцатого века, поскольку именно в этот промежуток времени, так сказать, была заключена жизнь события, оно зародилось и закончилось. Все исторические события имеют в некотором роде ограниченный ход. Их последствия растянуты до бесконечности, они связаны со всем прошлым и всем будущим, но в то же время они имеют особое и ограниченное существование, в котором они возникают, расширяются и заполняют своим развитием определенную часть пространства, затем сжимаются и сходят со сцены, чтобы уступить место какому-то новому событию.

Точная дата, которую мы относим к началу Реформации, не имеет большого значения. Мы можем взять 1520 год, когда Лютер публично сжег в Виттембурге буллу Льва X, осуждавшую его, и таким образом официально отделил себя от римской церкви. Жизнь Реформации проходит между этим годом и серединой семнадцатого века, 1648 годом, датой заключения Вестфальского мирного договора. Вот доказательство этого. Первым и величайшим результатом религиозной революции было создание в Европе двух классов государств — католического и протестантского, — столкнувших их друг с другом и втянувших в войну. С различными превратностями эта война длилась с начала шестнадцатого по середину семнадцатого века. Только после Вестфальского мирного договора 1648 года католическое и протестантское государства пришли, наконец, к взаимному признанию, договорились о совместном существовании и обязались жить в обществе и мире, несмотря на разнообразие религий. Начиная с 1648 года религиозное разнообразие перестало быть преобладающим принципом при классификации государств или в их внешней политике, отношениях и союзах. Вплоть до этой эпохи Европа, с некоторыми изменениями, была по существу разделена на католическую лигу и протестантскую лигу. После Вестфальского мирного договора это различие исчезло, и государства объединились или разделились по совершенно иным соображениям, нежели религиозные догмы. Таким образом, на этом этапе преобладание, или, скорее, карьера Реформации была остановлена, хотя ее последствия не прекратили своего развития.

Давайте теперь наскоро пройдемся по этому жизнеописанию и, не делая ничего большего, чем называя события и людей, коснемся того, что в нем содержится. С помощью этого простого указания, с помощью этой сухой и неполной номенклатуры мы увидим, какой, должно быть, трудностью является сведение ряда фактов, столь разнообразных и сложных, в один общий факт и определение истинного характера религиозной революции шестнадцатого века и определение ее места в истории нашей цивилизации.

Реформация разразилась в разгар великого политического кризиса, а именно соперничества между Франциском I и Карлом V., между Францией и Испанией. Это соперничество началось за обладание Италией, продолжилось за Германскую империю и, наконец, разгорелось за господство в Европе. Это был период, когда Австрийский дом достиг господства. Подобным же

образом в то время Англия при Генрихе VIII вмешивалась в континентальную политику с большей регулярностью, последовательностью и эффектом, чем это было раньше.

Рассматривая ход событий во Франции в шестнадцатом веке, мы обнаруживаем, что она стала жертвой великих религиозных войн между протестантами и католиками, которые стали средством и поводом для новой попытки со стороны знатных лордов вернуть ускользавшую от них власть и установить контроль над королевской семьей. Таков был политический смысл наших религиозных войн, лиги, борьбы Гизов против Валуа, которая завершилась восшествием на престол Генриха IV.

В Испании, во время правления Филиппа II, вспыхнуло восстание Соединенных провинций. Инквизиция под именем герцога Альвы вела войну против гражданской и религиозной свободы под именем принца Оранского. В то время как свобода восторжествовала в Голландии благодаря настойчивости и благоразумным мерам голландцев, она полностью погибла в самой Испании, где безраздельно царила абсолютная власть, как светская, так и церковная.

В Англии произошли правления Марии и Елизаветы; война между Елизаветой, главой протестантизма, и Филиппом II.; приход Джеймса Стюарта на английский трон; и начало великой ссоры между королевской семьей и народом.

Примерно в тот же период на севере возникли новые державы. Швеция была реинтегрирована Густавом Вазой в 1523 году. Пруссия была создана в результате секуляризации Тевтонского ордена. [Сноска 17] Затем северные державы заняли в европейской политике место, которого они ранее не занимали, важность которого вскоре проявилась в тридцатилетней войне.

[Сноска 17: Возможно, Гизо был бы немного точнее, если бы заявил, что Бранденбургский дом получил значительную территорию, поскольку фактически Пруссия не была создана до второго года восемнадцатого века, и это обозначение не использовалось в истории до этого периода.]

Я возвращаюсь во Францию. Здесь мы имеем дело с правлением Людовика XIII; кардинал Ришелье меняет внутреннее управление страной, вступает в отношения с Германией и оказывает поддержку протестантской партии. Во второй половине шестнадцатого века в Германии происходила борьба с турками, а в начале семнадцатого - тридцатилетняя война, величайшее событие в современной Восточной Европе: тогда процветали Густав Адольф, Валленштейн, Тилли, герцог Брауншвейгский и герцог Веймарский - величайшие имена, которыми Германия еще может похвастаться.

В ту же эпоху Людовик XIV. На трон Франции взошел, и началась фронды. В Англии разразилась революция, свергнувшая Карла I.

Таким образом, я беру только величайшие события в истории, события, которые каждый знает по имени, и мы видим, насколько велико их количество, разнообразие и важность. Если мы исследуем события другой природы, события менее ощутимые и на которые меньше указывают общие намеки или названия, мы обнаружим, что рассматриваемая эпоха также изобилует ими. Именно в это время произошли величайшие изменения в политических учреждениях почти всех наций, чистая монархия восторжествовала в большинстве великих государств, в то время как в Голландии была образована самая могущественная республика в Европе, а в Англии

окончательно или почти полностью восторжествовала конституционная монархия. В церкви это была эпоха, когда древние монашеские ордена потеряли почти всю политическую власть и были заменены новым орденом другого характера, значение которого, возможно, ошибочно, считается намного превышающим их, — орденом иезуитов. В ту же эпоху Тридентский собор уничтожил то, что еще могло остаться от влияния Констанцского и Базельского соборов, и обеспечил окончательный триумф Римского двора в церковных делах. Если мы оставим церковь и бросим взгляд на философию, на беспрепятственный путь человеческого разума, мы увидим, как возникают два человека, Бэкон и Декарт, авторы величайшей философской революции, которую претерпел современный мир, и главы двух школ, спорящих друг с другом за господство. Это был также блестящий период итальянской литературы и эпоха, в которую зародились французская и английская литературы. Наконец, это было время, когда были созданы большие колонии и стимулировалось наиболее активное развитие коммерческой системы.

Таким образом, рассматриваем ли мы политические, церковные, философские или литературные события той эпохи, мы находим их более многочисленными, разнообразными и важными, чем во все предшествовавшие ей эпохи. Активность человеческого разума проявлялась во всех направлениях, в отношениях людей между собой, в их отношениях с общественной властью, в отношениях государств и в чисто интеллектуальных операциях; одним словом, это была эпоха великих людей и великих свершений. И в эту самую эпоху религиозная революция, привлекающая наше внимание, была величайшим из всех ее событий, ее преобладающим фактом, тем, что дало ей название и определило ее характер. Среди стольких действующих причин, игравших столь важную роль, Реформация была наиболее действенной, той, к которой стремились все остальные и которая изменила их всех или была изменена ими сама. Настолько, что наша нынешняя задача состоит в том, чтобы правдиво охарактеризовать, точно подытожить событие, которое управляло всеми остальными в эпоху самых важных событий, причину, которая повлияла больше, чем все остальные в эпоху самых веских причин.

Станет очевидным, насколько чрезвычайно трудно собрать факты, столь разнообразные, столь обширные и так тесно переплетенные, в один четкий исторический вывод. Однако это необходимо. Когда события однажды завершены, когда они стали историей, великая и существенная задача людей состоит в том, чтобы выяснить общие факты, связь причин и следствий. Это, так сказать, бессмертная часть истории, то, к чему должны обращаться все поколения, чтобы осмыслить прошлое и самих себя. Эта потребность в обобщении, в достижении рационального вывода является самой могущественной и самой восхитительной из всех интеллектуальных потребностей; но при ее удовлетворении необходимо проявлять большую осторожность, чтобы уберечься от несовершенных и поспешных обобщений. Нет ничего более заманчивого, чем поддаться удовольствию немедленно и с первого взгляда зафиксировать общий характер и постоянные результаты такой-то эпохи или такого-то события. Человеческий разум подобен человеческой воле, он всегда стремится перейти к сути, нетерпелив к препятствиям и оковам, настойчив в выводах, охотно упускает из виду факты, которые его дразнят и смущают; но, игнорируя их, он не может их уничтожить, и они все еще существуют, чтобы однажды уличить его в ошибке и осудить его поспешность. Есть только одно средство, с помощью которого человеческий разум может избежать этой опасности, а именно: мужественно и терпеливо посвятить себя изучению фактов, прежде чем обобщать и делать выводы. Факты для мысли - то же, что правила морали для склонности. Оно обязано установить их и выдержать их вес; и только когда оно выполнит эту обязанность и когда оно сформирует

точное представление о своих масштабах, ему будет позволено расправить крылья и взлететь в возвышенные области, откуда оно сможет увидеть все вещи во всей их полноте и их результаты. Если он настаивает на том, чтобы подниматься слишком быстро, не имея представления обо всей территории, которую ему оттуда предстоит осмотреть, шансы на ошибку и провал не поддаются исчислению. Это происходит как при решении арифметического вопроса, когда предварительная ошибка приводит к другим, *до бесконечности*. Таким образом, в истории, если в первом труде не были должным образом исследованы все факты, если неосмотрительно потакалась склонность к поспешным обобщениям, невозможно установить пределы вытекающим из этого абсурдам.

Столь настойчиво распространяясь по этому вопросу, я в какой-то степени наношу себе ущерб. В этом исследовании я был вынужден ограничиться попытками обобщения, общим изложением фактов, на тщательное изучение которых у нас не было времени. Достигнув сейчас эпохи, в которую эта задача намного сложнее, чем в любое другое время, и когда вероятность ошибки намного выше, я счел своим долгом четко изложить эти положения, чтобы мои собственные выводы могли быть подвергнуты их проверке. Сделав это, я теперь попытаюсь применить к Реформации то, что я делал к другим событиям, а именно, попытаюсь выделить ее преобладающий факт, описать ее общий характер; одним словом, определить место и роль этого великого события в прогрессе европейской цивилизации.

Вспомним, в каком состоянии мы покинули Европу в конце пятнадцатого века. В ходе этого мы были свидетелями двух великих экспериментов по религиозной революции или реформе; эксперимента по правовой реформе, проведенного советами, и эксперимента по революционной реформе гуситов в Богемии: оба они, как мы видели, были подавлены и потерпели неудачу в действии; и все же мы осознали, что невозможно погасить дух и что он наверняка воспроизведет себя в той или иной форме — что, фактически, то, что было предпринято пятнадцатым веком, шестнадцатый неизбежно завершит. В мои намерения не входит пересказывать подробности религиозной революции шестнадцатого века; я полагаю, что они известны почти всем. Меня интересует лишь его общее влияние на судьбы человеческой расы.

Когда были проведены исследования причин, вызвавших это великое событие, противники Реформации приписали его случайным случаям, злу в ходе развития цивилизации — например, продаже индульгенций, доверенной доминиканцам, что вызвало зависть августинцев; и поскольку Лютер был августинцем, это, следовательно, и было определяющим мотивом Реформации. Другие приписывали это честолюбию монархов, их соперничеству с церковной властью и жадности светской знати, которая стремилась завладеть имуществом церкви. Таким образом, религиозную революцию хотели объяснить исключительно худшими чертами в человечестве и в человеческих делах — частными интересами и личными страстями.

С другой стороны, друзья и приверженцы Реформации пытались объяснить это простой необходимостью эффективной реформы злоупотреблений церкви; они представляли это как устранение религиозных обид, как предприятие, задуманное и выполненное с единственной целью воссоздания примитивной и чистой церкви. Ни то, ни другое из этих объяснений не кажется мне достаточно обоснованным. Во втором больше правды, чем в первом; по крайней мере, оно более благородно, в большей степени соответствует масштабу и важности события,

но все же я несколько не представляю его себе более точным. По моему мнению, Реформация не была ни случайностью, следствием какой-то великой случайности или какого-то личного интереса, ни простой демонстрацией религиозного совершенствования, плодом воображаемого совершенства человечности и истины. Существовала причина, более могущественная, чем все это можно было бы предположить, и которая возвышается над всеми частными причинами. Это был мощный взрыв свободы человеческого разума, неконтролируемое требование свободного проявления мысли и суждения, только своими собственными силами, о фактах и идеях, которые Европа ранее получила или считалась обязанной получить из рук властей. Это было грандиозное начинание по предоставлению избирательных прав человеческой мысли и, если называть вещи своими именами, бунт человеческого разума против власти в духовных вопросах. Таков, насколько я могу судить, истинный характер, общий и преобладающий характер Реформации.

Когда мы исследуем состояние человеческого разума в эту эпоху, с одной стороны, и духовную власть церкви, которая управляла человеческим разумом, с другой, мы сталкиваемся с двояким фактом.

Что касается человеческого понимания, мы ощущаем гораздо большую активность, гораздо большую тягу к развитию, чем когда-либо ощущали. Эта повышенная активность была результатом различных причин, которые накапливались веками. Например, были времена, когда возникали ереси, занимали некоторое пространство и исчезали, уступая место другим; и были времена, когда философские мнения придерживались того же курса, что и ереси. Труды человеческого разума, как в религиозной, так и в философской сфере, накапливались с одиннадцатого по шестнадцатый век; и наконец наступил момент, когда им суждено было дать результат. Более того, все эти средства обучения, учрежденные или разрешенные в лоне самой церкви, были далеко не бесплодны. Были основаны школы, и из этих школ выпускались люди, не лишенные знаний, число которых увеличивалось с каждым днем. В конце концов эти люди настояли на том, чтобы думать самостоятельно и руководствоваться своим собственным руководством, поскольку они чувствовали себя более укрепленными, чем когда-либо прежде. Наконец, пришло то возрождение и юношеская энергия, которые были приданы человеческому интеллекту восстановлением античности, прогресс и последствия которого я уже описывал ранее.

Все эти объединенные причины породили в сознании человека XVI века чрезвычайно энергичное движение, настоятельную необходимость прогресса.

Положение духовной силы, которая осуществляла управление человеческим разумом, было совершенно иным; напротив, она впала в состояние инертности и застоя. Политическое влияние церкви или римского двора значительно ослабло; европейское общество больше не находилось в ее исключительном владении, но перешло под власть светских правительств. Тем не менее духовная власть сохранила все свои претензии, всю свою известность и всю свою внешнюю значимость. С ней произошло то, что не раз случалось со старыми правительствами. Большинство жалоб, которые выдвигались против него, были едва ли более обоснованы, чем во многих подобных протестах. Неправда, что римский двор в шестнадцатом веке был в высшей степени тираническим или что злоупотребления, собственно так называемые, были более многочисленными или вопиющими, чем в другие времена. Напротив, церковное правительство,

возможно, никогда не было более легким, более терпимым или более склонным пустить все на самотек, при условии, что права, которыми оно до сих пор пользовалось, были признаны настолько, чтобы не лишать их действительности, при условии, что ему было гарантировано его прежнее существование и выплачивались его обычные взносы. Это охотно оставило бы человеческий разум нетронутым, если бы человеческий разум был бы столь же доволен этим. Но именно тогда, когда правительства обладают наименьшей энергией, когда они причиняют наименьший вред, на них нападают, потому что тогда люди могут это делать, тогда как раньше они не могли.

Таким образом, из простого рассмотрения состояния человеческого разума в ту эпоху и правления им становится очевидным, что характер Реформации, должно быть, заключался в новом всплеске свободы, великом бунте человеческого интеллекта. Это, несомненно, было преобладающей причиной, той, которая возвышалась над всеми остальными; причиной, более влиятельной, чем все интересы наций или суверенов, чем требование реформы, собственно так называемой, чем желание устранить те обиды, на которые жаловались в тот период.

Я предположу, что после того, как Реформация разразилась на несколько лет, когда она выставила напоказ все свои претензии и проанализировала все предполагаемые обиды, духовная власть внезапно согласилась с ней и сказала: "Что ж, пусть будет так, я все исправлю; я вернусь к порядку вещей, более справедливому и религиозному. Я подавлю все раздражения, произвольные вмешательства и подношения; даже в вопросах веры я изменю, переосмыслю и вернусь к примитивным значениям. Но если бы обиды были устранены таким образом, я сохранил бы свое положение; я был бы, как и прежде, правительством человеческого разума, с той же властью и теми же правами". Если бы религиозная революция была удовлетворена этими условиями и остановилась на своем пути! Я думаю, что нет; я твердо верю, что оно продолжило бы свою карьеру и что, потребовав реформы, заявило бы о свободе. Кризис шестнадцатого века был не просто реформаторским, он был по сути революционным. Ни в коем случае нельзя было убрать из него этот характер или присущие ему достоинства и недостатки; он обладал всеми вытекающими последствиями такого характера.

Давайте бросим взгляд на последствия Реформации; давайте посмотрим, что она в основном и превыше всего произвела в различных странах, в которых она развивалась. Следует отметить, что она разрабатывалась в очень разнообразных и отчетливых ситуациях, при очень неравных шансах. Теперь, если мы обнаружим, что, несмотря на разнообразие ситуаций и неравенство шансов, оно повсюду следовало одинаковому направлению, достигало идентичного результата и сохраняло идентичный характер, станет ясно, что этот характер, который таким образом преодолел все разнообразие ситуаций и все неравенство случайностей, должен быть фундаментальным характером события, и что полученный таким образом результат должен быть тем, к чему оно по существу стремилось.

Итак, везде, где преобладала религиозная революция шестнадцатого века, она если и не приводила к полному освобождению человеческого разума, то обеспечивала ему новое и значительное увеличение свободы. Это, несомненно, подвергло мысль всем рискам свободы или порабощения, связанным с политическими институтами, но это упразднило или обезоружило духовную силу, систематическое и грозное управление мыслью. Этого результата Реформация достигла при самых противоположных сочетаниях. В Германии не было

политической свободы, и Реформация ее не ввела; более того, она скорее усилила, чем ослабила власть князей, и была скорее враждебна свободным институтам средневековья, чем благоприятствовала их развитию. Тем не менее, это пробудило и поддержало свободу мысли в Германии, возможно, большую, чем где-либо еще. В Дании, стране, где господствовала абсолютная власть, где она проникла даже в муниципальные учреждения, а также в государственные учреждения в целом, влияние Реформации привело к расширению избирательных прав и свободному проявлению мысли во всех ее направлениях. В Голландии, при республике, и в Англии, при конституционной монархии, несмотря на длительную религиозную тиранию очень сурового порядка, эмансипация человеческого интеллекта была также завершена. Наконец, во Франции, в ситуации, которая казалась наименее благоприятной для последствий религиозной революции, в стране, где она была подавлена, даже существовал принцип интеллектуальной независимости и свободы. Вплоть до 1685 года, то есть до отмены Нантского эдикта, Реформация легально существовала во Франции. В течение этого долгого промежутка времени она писала и обсуждала, а также провоцировала своих противников тоже писать и обсуждать. Один только этот факт, эта война памфлетов и конференций между старыми и новыми мнениями распространили во Франции свободу, гораздо более реальную и активную, чем принято воображать; свободу, которая способствовала процветанию науки и нравственности, улучшению положения французского духовенства, а также преимуществу мысли в целом. Давайте посмотрим на дискуссии Боссюэ с Клодом и на всю религиозную полемику того периода в целом, а затем спросим себя, был ли Людовик XIV прав, я бы санкционировал подобное проявление вольности в любой другой теме. Таким образом, Реформация и противоположная партия пользовались во Франции в семнадцатом веке большей свободой, чем было позволено кому-либо еще. Религиозный дух был тогда гораздо смелее и относился к своим вопросам с гораздо меньшей сдержанностью, чем политический дух, даже Фенелона в его "Телемахе". Такое положение вещей сохранялось вплоть до отмены Нантского эдикта. Итак, с 1685 года до расцвета человеческого интеллекта в восемнадцатом веке не прошло и сорока лет; и едва влияние религиозной революции на продвижение интеллектуальной свободы прекратилось, как началась философская революция.

Таким образом, мы видим, что куда бы ни проникала Реформация, где бы она ни играла важную роль, победоносную или побежденную, она имела в качестве общего, преобладающего и неизменного результата огромное продвижение к активности и свободе мысли, грандиозную тенденцию к освобождению человеческого разума от рабства.

И Реформация не только имела этот постоянный результат, но и не стремилась ни к чему иному; где бы это ни было достигнуто, этим довольствовались и очень редко стремились к чему-то дальнейшему, настолько это было основой события, его примитивным и фундаментальным характером! Таким образом, в Германии, далекой от требования политической свободы, она приняла, я бы не сказал, политическое рабство, но отсутствие свободы. В Англии оно соглашалось с иерархическим устройством духовенства и существованием церкви, столь же полной злоупотреблений, какой когда-либо была Римская церковь, и гораздо более рабепной по отношению к власти. Как получилось, что Реформация, столь яростная и упрямая во многих отношениях, таким образом показала себя такой сговорчивой и податливой? Потому что она достигла общего факта, к которому стремилась, — упразднения духовной власти и предоставления избирательных прав человеческой мысли. Я повторяю, где бы оно ни достигало этой цели, оно легко приспособлялось ко всем системам и ситуациям.

Теперь давайте обратимся к обратной стороне этого исследования и посмотрим, что произошло в тех странах, куда религиозная революция не проникла, или была рано подавлена, или не смогла получить никакого развития. История показывает, что человеческий разум не был лишен избирательных прав: две великие страны, Испания и Италия, отчетливо подтверждают этот факт. В то время как в тех частях Европы, где Реформация занимала важное положение, человеческий интеллект за три последних столетия проявил активность и свободу, ранее неизвестные, в тех, куда он не проник, он в ту же эпоху впал в слабость и инертность; до такой степени, что судебный процесс и встречный процесс были проведены, так сказать, одновременно и привели к аналогичным результатам.

Таким образом, сущностным характером Реформации, наиболее общим следствием ее влияния, преобладающим фактом ее судьбы был взрыв мысли и упразднение абсолютной власти в духовных вопросах.

Я называю это *фактом*, и говорю это намеренно. Освобождение человеческого интеллекта в действительности, в ходе Реформации, было скорее фактом, чем принципом, результатом, а не намерением. Реформация в этом отношении, я думаю, сделала больше, чем она предпринимала, возможно, больше, чем ей даже хотелось. В отличие от многих других революций, которые в значительной степени не соответствовали своим намерениям, когда событие сильно не соответствовало замыслу, последствия Реформации превзошли ее ожидания. Это больше как событие, чем как система; то, к чему оно привело, оно не могло полностью предвидеть и не признало бы полностью.

В чем заключались упреки, которые ее противники постоянно бросали в адрес Реформации? Какие из его результатов они, так сказать, бросили ему в зубы, чтобы заставить замолчать?

Две основные из них: 1-я, множественность сект, безграничная свобода понимания, уничтожение всякого духовного авторитета и распад религиозного общества в целом; 2-я, тирания и преследования. "Вы провоцируете вседозволенность, - говорили они реформаторам, - вы производите ее; и когда она проявляется, вы хотите ограничить и подавить ее. И как вы ее подавляете? Самыми суровыми и насильственными мерами. Вы также преследуете ересь, причем в силу незаконной власти".

Рассмотрите и подытожьте все крупные нападки, направленные против Реформации, затрагивая чисто догматические вопросы, и вы обнаружите, что это два фундаментальных упрека, к которым они всегда сводятся.

Реформатская партия была сильно смущена этими обвинениями. Когда против этого возражали против множества сект, вместо того чтобы признать этот факт и утвердить законность их свободного развития, оно предавало сектантов анафеме, выражало сожаление по поводу их появления и отрицало их. Подвергался ли он преследованиям? Он защищался с некоторым замешательством; он ссылался на необходимость; и имел, как он сказал, право подавлять и наказывать заблуждение, поскольку обладал истиной. Только ее догмы и институты были легитимны; и если римская церковь не имела полномочий наказывать реформаторов, то это потому, что она была неправа по отношению к ним.

И когда не ее враги, а ее собственные отпрыски упрекали господствующую партию Реформации в ее преследованиях, когда сектанты, которых она предавала анафеме, говорили ей: "Мы делаем только то, что сделали вы; мы отделяемся только так, как вы отделились сами", - она была еще более озадачена ответом и очень часто отвечала только дополнительной строгостью.

Таким образом, фактически, стремясь к уничтожению абсолютной власти в духовных вопросах, религиозная революция шестнадцатого века не знала истинных принципов интеллектуальной свободы. Она была занята предоставлением избирательных прав человеческому разуму и все еще делала вид, что управляет им с помощью закона; на практике она отдавала предпочтение свободному исследованию, в то время как теоретически это было просто намерением заменить законную власть незаконной. Оно не поднялось до первопричины и не опустилось до последних следствий своей собственной работы. Следовательно, оно впало в двойную ошибку. С одной стороны, она не знала и не уважала всех прав человеческой мысли; в тот момент, когда она требовала их для себя, она нарушала их вместе с другими. С другой стороны, он был неспособен правильно оценить права авторитета в интеллектуальном порядке вещей: я не говорю о принудительном авторитете, который не мог обладать никакими правами в таких вопросах, но о чисто моральном авторитете, действующем только на основании понимания и просто посредством влияния. Большинству реформированных стран не хватало хорошей организации интеллектуального общества и регулирования действия старых и общепринятых мнений. Они не могли примирить права и требования прошлых времен или традиции с правами и требованиями свободы; и причина, несомненно, заключалась в том, что Реформация так и не смогла полностью осознать и принять ни свои собственные принципы, ни свои собственные последствия.

Отсюда также вытекал определенный аспект непоследовательности и ограниченности, который часто давал преимущество над ним его противникам. Эти последние прекрасно понимали, что они делали и чего желали; они руководствовались определенными принципами в своем поведении и признавали все их последствия. Никогда не было правительства более последовательного и систематического, чем Римская церковь. На практике римский двор сильно колебался и уступал, гораздо больше, чем при Реформации; но в принципе он гораздо более полно следовал своей собственной системе и придерживался поведения, бесконечно более последовательного во всех ее частях. Это совершенное знание того, что делается и что желательно сделать, это полное и вдумчивое принятие доктрины и замысла придают партии значительную силу. Религиозная революция шестнадцатого века в своем развитии явила яркий пример этого. Хорошо известно, что главной силой, созданной для борьбы с ней, был орден иезуитов. Взгляните на их историю: они везде терпели неудачу; и везде, где они хоть в какой-то степени вмешивались, они приносили несчастье делу, в которое вмешивались. В Англии их жертвами стала раса королей, в Испании - народ. Вечная природа вещей, развитие современной цивилизации и свобода человеческого разума - все те силы, против которых были призваны бороться иезуиты, восстали против них и победили их. И не только из-за того, что у них случился выкидыш, но и из-за того, какие средства они были вынуждены использовать? Их действия не отличались ни блеском, ни величием; они не проводили блестящих мероприятий и не приводили в движение внушительные массы людей; они вершили дела подручными средствами, темными и подчиненными — способами, которые вовсе не были рассчитаны на то, чтобы поразить воображение или обеспечить им ту общественную симпатию, которую

привлекают великие обстоятельства, каковы бы ни были их принципы и замысел. Партия, против которой они боролись, напротив, была не только победоносной, но и завоевала известность, добившись великих свершений великими средствами; она возбудила народ, наполнила Европу прославленными людьми и в корне изменила судьбу и устройство государств. На самом деле все было против иезуитов, и удача, и внешность; ни со здравым смыслом, который определяет успех, ни с воображением, которое нуждается в помпезности, они не считались в своей карьере. И все же нет ничего более определенного, чем то, что они обладали величием; великая идея связана с их именем, их влиянием и их историей. Это потому, что они знали, что они делали и что они хотели делать; потому что у них было полное и ясное представление о принципах, на основе которых они действовали, и о цели, к которой они стремились, — иными словами, у них было величие мысли и намерения, которые спасали их от насмешек, которые всегда сопровождают повторяющиеся неудачи и презренные средства. Там, напротив, где событие было значительнее замысла, где, казалось, не хватало знания первоначальных принципов и конечных результатов действия, оставалось что-то несовершенное, непоследовательное и ограниченное, что ставило самих победителей в своего рода рациональную и философскую неполноценность, которая иногда давала о себе знать в событиях. Я полагаю, что это была слабая сторона Реформации в борьбе между двумя духовными системами, старой и новой, которая часто осложняла ее положение и мешала ей защищать себя так эффективно, как следовало бы.

Я мог бы рассмотреть религиозную революцию шестнадцатого века с нескольких других точек зрения. Я ничего не сказал и не собираюсь ничего говорить о его чисто догматической фазе, о том, что оно произвело в религии, собственно так называемой, или об отношениях человеческой души с Богом и вечностью; но я мог бы показать это во всем многообразии ее отношений с социальным порядком, выводя из всего этого результаты огромной важности. Например, это напомнило о религии основной массе мирян, миру верующих; раньше религия была, так сказать, исключительной сферой духовенства, церковного ордена, который распространял ее утешения, но единолично распоряжался основой и почти единолично обладал правом говорить о ней. Реформация привела к тому, что религиозные доктрины вновь вошли в общее обращение, и это вновь открыло для верующих область веры, в которую они утратили свое право проникать. В то же время это привело ко второму результату: оно изгнало религию из политики или почти изгнало ее; оно восстановило независимость светской власти. В тот самый момент, когда религия вновь вошла, так сказать, во владение верующих, она отделилась от управления обществом. В реформированных странах, несмотря на разнообразие церковных конституций — даже в Англии, где эта конституция больше похожа на древний порядок вещей, — духовная власть больше не имеет сколько-нибудь серьезной идеи управлять светской.

Я мог бы перечислить многие другие последствия Реформации, но я должен сдержаться и удовлетвориться тем, что выявил ее главный характер — освобождение человеческого разума и упразднение абсолютной власти в духовном порядке вещей; упразднение, которое, несомненно, не было полным, но, тем не менее, является величайшим достижением в этом направлении, которое было сделано до нашего времени.

Прежде чем завершить, я скажу несколько слов о поразительном сходстве судеб, которое наблюдается между гражданским и религиозным обществами, в революциях, которым они подвергались в истории современной Европы.

Христианское общество началось, как я уже объяснял, говоря о церкви, с того, что было совершенно свободным обществом, сформированным исключительно на основе общего вероучения, без институтов, без правительства, собственно так называемого, регулируемого только моральными и изменчивыми силами, в соответствии с потребностями момента. Гражданское общество также зародилось в Европе, по крайней мере частично, бандами варваров; общество совершенно свободное, в котором каждый оставался, потому что он этого хотел, без законов или установленных полномочий. По окончании этого состояния, которое не могло быть согласовано ни с каким значительным социальным развитием, религиозное общество оказалось под властью правительства, по существу аристократического; им управляли духовенство, епископы, соборы и церковная аристократия. Факт той же природы произошел и в гражданском обществе, вышедшем из варварства, оно в равной степени подпало под господство аристократии или светского феодализма. Религиозное общество оставило аристократическую форму, чтобы войти в чистую монархию; ибо таков был смысл триумфа римского двора над советами и над европейской церковной аристократией. Та же революция была совершена и в гражданском обществе; именно благодаря разрушению аристократической власти королевская власть восторжествовала и завладела европейским миром. В шестнадцатом веке в недрах религиозного общества вспыхнуло восстание против системы чистой монархии, против абсолютной власти в духовных вопросах. Эта революция привела за собой, установила и осветила дух свободного исследования в Европе. В наши дни мы стали свидетелями аналогичного события в сфере гражданского порядка. Временная абсолютная власть подверглась такому же нападению и была побеждена. Таким образом, мы видим, что два общества прошли через одни и те же превратности и пережили одни и те же революции; но религиозное общество всегда было в авангарде на этом пути.

Теперь мы обладаем одним из величайших фактов современного общества — духом свободного исследования, или свободой человеческого понимания. Мы также видели, что в то же время политическая централизация преобладала почти повсеместно. В моей следующей лекции я расскажу об английской революции, то есть о событии, в котором дух свободного исследования и чистой монархии, оба результата прогресса цивилизации, впервые проявили себя во всей красе.

Лекция XIII.

Последствия английской революции.

Мы видели, что в течение шестнадцатого века все элементы и факты древнего европейского общества объединились в два существенных факта — дух свободного исследования и централизацию власти. Одно преобладало в религиозном обществе, а другое - в гражданском. Таким образом, эмансипация человеческого разума и чистая монархия достигли своего триумфа одновременно.

Борьба между этими двумя фактами, несомненно, имела место в какой-то период, поскольку между ними было нечто противоречивое; первый заключался в поражении абсолютной власти в духовных делах, а другой - в ее победе в мирских делах; первый способствовал упадку старой церковной монархии, а другой довел до конца разрушение старых свобод феодальных времен.

Их одновременность продолжалась, как мы видели, до тех пор, пока революции в религиозном обществе не продвинулись быстрее, чем революции в гражданском; первая произошла в период предоставления избирательных прав индивидуальной мысли, в то время как последняя заявила о себе только в момент концентрации всех сил в одну общую державу. Таким образом, совпадение во времени этих двух фактов отнюдь не вытекало из их сходства, оно даже не смягчало их противоречивой природы. Каждый из них был шагом вперед в развитии цивилизации, но успехи были связаны с разными ситуациями и, так сказать, с разными моральными датами, хотя и совпадали по времени. То, что они должны были столкнуться друг с другом, прежде чем им удалось гармонично сочетаться, было неизбежно.

Их первым полем битвы была Англия. Принципом английской революции была борьба свободного исследования, плод Реформации, против уничтожения всякой политической свободы, плод успеха чистой монархии; попытка упразднить абсолютную власть как в мирских, так и в духовных делах. Таков характер этой революции в ходе развития нашей цивилизации.

Почему этот конкурс проходил в Англии, а не где-либо еще? Почему революции политического характера в этой стране происходили почти одновременно с революциями морального характера, а не на континенте?

Английская королевская семья претерпела те же превратности, что и континентальная; в правление Тюдоров она достигла такого уровня концентрации и энергии, какого никогда прежде не знала. Я не хочу сказать, что практический деспотизм Тюдоров был более жестоким или более пагубным для Англии, чем деспотизм их предшественников. Я не сомневаюсь, что при Плантагенетах было столько же актов тирании, поборов и нарушений права, сколько и при Тюдорах, а возможно, и больше. Я также придерживаюсь мнения, что в ту эпоху монархическое правление на континенте было более грубым и произвольным, чем в Англии. Новый факт при Тюдорах заключался в том, что абсолютная власть становилась систематической; королевская семья претендовала на примитивный, неосуществимый суверенитет и приобрела тон и придерживалась языка, на который ранее не отваживалась. Теоретические притязания Генриха VIII, Елизаветы, Якова I и Карла I. сильно отличались от притязаний Эдуарда I или Эдуарда III, хотя практически власть этих названных последними королей не была ни менее произвольной, ни обширной. Повторяю, в Англии в XVI веке изменились скорее принципы или рациональная система монархии, чем ее практическая власть; королевская власть претендовала на абсолютность и превосходство над всеми законами, даже над теми, которые она заявляла о своей готовности уважать.

С другой стороны, религиозная революция не была совершена в Англии, как на континенте; это было делом рук самих королей. Не то чтобы семена народной реформы недолго существовали и там и даже пустили какие-то всходы, которые, по всей вероятности, быстро достигли бы зрелости, но Генрих VIII, проявив инициативу, члены королевской семьи проложили путь к революции. Отсюда следовало, по крайней мере вначале, что как реформа церковных злоупотреблений и тирании, как освобождение человеческого разума, английская реформация была гораздо менее полной, чем на континенте. Это было сделано, как само собой разумеющееся, в интересах его авторов. Король и оставшееся епископство разделили добычу, как богатства, так и власти, предыдущего правительства, папства. Последствия не заставили себя долго ждать. Было сказано, что реформация была произведена, в то время как большая часть мотивов, которые сделали ее желательной, все еще сохранялась. Таким образом, оно

вновь появилось в популярной форме, крича против епископов так же, как оно кричало против римского двора, и обвиняя их в том, что среди них так много пап. Всякий раз, когда общая судьба религиозной революции оказывалась под угрозой, всякий раз, когда речь заходила о войне против древней церкви, все части реформатской партии объединялись и противостояли общему врагу; но когда опасность миновала, внутренняя борьба возобновлялась, народная реформация возобновляла свои атаки на королевскую и аристократическую реформацию, осуждала ее злоупотребления, жаловалась на ее тиранию и призывала ее сдержать свои обещания, а не восстанавливать власть, которую она так недавно ниспровергла.

Примерно в ту же эпоху в гражданском обществе возникло освободительное движение, тяга к политической свободе, ранее не ощущавшаяся или, по крайней мере, не слишком сильная. В течение шестнадцатого века коммерческое процветание Англии росло с чрезвычайной быстротой, и в то же время территориальные богатства или земельная собственность в значительной степени переходили из рук в руки. Не было уделено достаточного внимания факту, заключающемуся в усилении разделения земельных владений в шестнадцатом веке вследствие разорения феодальной аристократии и многих других причин, перечислять которые здесь было бы слишком утомительно. Все источники свидетельствуют нам о том, что число землевладельцев чрезвычайно увеличивается, а поместья в значительной степени переходят во владение *джентри* или мелкой знати и горожан. Высшая знать, или Палата лордов, была в начале семнадцатого века далеко не так богата, как Палата общин. Таким образом, в одно и то же время произошло значительное развитие промышленных ресурсов и значительная мутация земельной собственности. Одновременно с этими двумя фактами возник третий - новое движение разума. Правление Елизаветы Петровны - это, пожалуй, эпоха величайшей литературной и философской активности в Англии, эпоха плодотворных и смелых мыслей. Пуритане без колебаний стремились ко всем последствиям узкой, но сильной доктрины; другие умы, менее моральные и более либеральные, безразличные к принципам или системе, с готовностью приветствовали все идеи, которые сулили удовлетворение их любопытства или подкрепление их рвения к знаниям. Везде, где интеллектуальное движение приветствуется с восторгом, свобода вскоре становится необходимостью, и она быстро переходит из общественного сознания в правительство.

В некоторых континентальных странах, где разразилась Реформация, желание той же природы, определенное стремление к политической свободе, действительно проявилось, но этому новому духу не хватало средств достижения успеха; он не знал, где закрепиться, не находя опоры ни в институтах, ни в нравах, но оставаясь расплывчатым и неопределенным, тщетно пытаясь найти способ удовлетворить себя. В Англии все произошло совершенно иначе: там дух политической свободы, который вновь возник в шестнадцатом веке вследствие Реформации, имел основу и средства действия в древних институтах и во всем социальном государстве.

Нет человека, который не знал бы о первоначальном зарождении свободных институтов Англии или о том, как коалиция крупных баронов в 1215 году вырвала у короля Иоанна *Великую хартию вольностей*. Не так широко известно, что великая хартия периодически обновлялась и подтверждалась большинством королей. Между тринадцатым и шестнадцатым веками было более тридцати подтверждений. И не только была утверждена хартия, но и были приняты новые законы с целью ее укрепления и развития. Следовательно, она продолжала существовать без

перерывов. В то же время была сформирована Палата общин, занявшая свое место в высших институтах страны. Именно при расе Плантагенетов она по-настоящему пустила корни; не то чтобы она играла какую-то большую роль в государстве в ту эпоху, поскольку правительство, собственно так называемое, не входило в сферу своих функций, даже в качестве простого влияния; оно вмешивалось только тогда, когда к этому призывал король, и почти всегда делало это с неохотой и колебаниями, как будто боясь привлечь к себе внимание и скомпрометировать себя, и не проявляя никакого стремления увеличить свою власть. Но когда дело касалось защиты частных прав, состояния или жилищ граждан, свободы личности, одним словом, Палата общин в таких случаях выполняла свою миссию с большой энергией и постоянством и устанавливала все принципы, которые легли в основу английской конституции.

После Плантагенетов, и особенно при Тюдорах, Палата общин, или, скорее, весь парламент, предстает в другом аспекте. Оно перестало защищать свободу личности так яростно, как при Плантагенетах. Произвольные аресты и нарушения прав частной жизни стали гораздо более частыми, и о них чаще умалчивали. В качестве противовеса парламент занимал большее место в системе общего управления государством. Генрих VIII, например, нуждаясь в общественной поддержке или инструменте для изменения религии в стране и регулирования наследования престола, воспользовался парламентом, и особенно Палатой общин. При Плантагенетах это было орудие сопротивления, защитник частных прав; при Тюдорах это стало инструментом правительства, участником общей политики; так что в конце шестнадцатого века, хотя оно служило почти всем проявлениям тирании или страдало от них, его значение, тем не менее, значительно возросло; его власть была основана — та власть, на которой, по правде говоря, основано представительное правительство.

Следовательно, когда мы обращаемся к состоянию, в котором находились свободные институты Англии в конце шестнадцатого века, мы обнаруживаем следующие факты: —Во-первых, определенные максимы и принципы свободы, которые постоянно фиксировались и которые страна и законодательная власть никогда не упускали из виду; во-вторых, определенные прецеденты или примеры свободы, которые, правда, сильно перемешаны с противоположными прецедентами и примерами, но достаточны для легитимизации и придания действенности протестам и для поддержки защитников свободы в начатой борьбе против произвола власти или тирании; в-третьих, определенные особые и местные институты, плодоносящие как семена свободы, как присяжные заседатели, право собраний и быть вооруженным, а также независимость муниципальных администраций и юрисдикций; в-четвертых, и, наконец, парламент и его власть, в которых королевская власть нуждалась больше, чем когда-либо, поскольку она отчуждала большую часть своих независимых доходов, своих владений, феодальных прав и т.д. И была вынуждена прибегать для собственного существования к голосованию страны.

Таким образом, политическое состояние Англии в шестнадцатом веке сильно отличалось от положения на континенте. Несмотря на тиранию Тюдоров и несмотря на систематическое преобладание чистой монархии, тем не менее, существовала существенная основа и надежные средства действия для нового духа свободы.

Таким образом, в эту эпоху в Англии совпали два национальных требования. С одной стороны, требование религиозной революции и свободы на фоне уже начавшейся реформации; а с другой - требование политической свободы на фоне царившей тогда чистой монархии. Эти два духа также были способны создавать для своего собственного продвижения то, что ранее происходило либо в одном, либо в другом направлении. Что было естественно, они заключили союз. Партия стремилась к религиозной реформе, призывала политическую свободу на помощь своей вере и своей совести против короля и епископов; а друзья политической свободы искали помощи у народной реформации. Обе партии объединились для борьбы против абсолютной власти в мирских и духовных делах — власти, полностью сосредоточенной в руках короля. Таково было происхождение и значение английской революции.

По сути, она была посвящена защите или завоеванию свободы. Для религиозной партии это было средством, для политической - целью; но для обеих речь шла о свободе, и они были обязаны добиваться ее сообща. Между епископальной и пуританской партиями не было никакой реальной религиозной ссоры; спор не касался догм, объектов веры, как их правильно называть; не то чтобы между ними не было существенных расхождений во мнениях по важным и принципиальным вопросам, но это не было главным предметом спора между ними. Практическая свобода была тем, что пуританская партия хотела вырвать у епископальной партии, и именно за это она боролась. Несомненно, существовала также религиозная партия, которой предстояло основать систему и особые догмы, утвердить собственную церковную дисциплину и конституцию, а именно пресвитерианская партия; но хотя она из всех сил стремилась достичь своих целей, она была не в состоянии выдвинуть все свои претензии в этих отношениях. Вынужденная защищаться, подавляемая епископами и неспособная что-либо предпринять без санкции политических реформаторов — ее необходимых союзников и вождей, — свобода была для нее преобладающим интересом; это был, действительно, общий интерес и общая цель всех партий, участвовавших в движении, какими бы разнообразными они ни были. Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства, английская революция была по существу политической. Это было совершено среди религиозного народа и в религиозную эпоху, и религиозные идеи и страсти служили ему инструментами; но его основная цель и окончательный конец были политическими — установление свободы и упразднение абсолютной власти.

Я пройду по различным фазам этой революции и разложу ее на великие партии, которые следовали в ней друг за другом. Впоследствии я свяжу это с общим ходом развития европейской цивилизации и обозначу ее место и влияние в нем. Из подробностей фактов будет видно, как это кажется на первый взгляд, что это действительно был самый первый удар свободного исследовательского духа по чистой монархии, самый первый взрыв антагонистических принципов этих двух великих держав.

В этом влиятельном кризисе выступили три основные партии; три революции были в некотором роде продолжены и последовательно осуществлены на сцене. В каждой партии, в каждой революции две отдельные партии были объединены и маршировали вместе — одна политического, а другая религиозного толка. Первый взял на себя инициативу, а второй последовал за ним, но каждый из них был необходим другому; настолько, что двойной характер события отчетливо отмечен на всех его этапах.

Первой появившейся партией, под знаменами которой поначалу встали все остальные, была партия, нацеленная на правовую реформу. Когда началась английская революция, когда в 1640 году собрался Долгий парламент, все говорили, и многие искренне верили, что правовая реформа устранил все трудности и что в древних законах и обычаях страны достаточно средств, чтобы обеспечить средство от всех злоупотреблений и установить систему правления, полностью соответствующую желаниям общества. Эта партия громко обвиняла и искренне стремилась предотвратить незаконное налогообложение, произвольные тюремные заключения и все действия, фактически осуждаемые признанными законами страны. В основе его идей лежала вера в суверенитет короля, то есть в абсолютную власть. Тайный инстинкт предупреждал его, что в этой догме есть что-то ложное и опасное, поэтому он охотно избежал бы упоминания о ней; но доведенный до крайности и вынужденный объясняться, он признал, что в королевской власти заключена сила, превосходящая все человеческое происхождение и всякий контроль, и защищал ее, когда это было необходимо. В то же время суд постановил, что этот суверенитет, абсолютный в принципе, обязан соблюдать при его осуществлении определенные правила и формы и что существуют определенные пределы, за которые он не может выходить; и более того, что эти правила, формы и пределы были в достаточной степени установлены и гарантированы *Великой хартией вольностей*, подтверждающими статутами и старым общим правом страны. Таково было его политическое кредо.

В религиозных вопросах юридическая партия считала, что епископство сильно вторглось, что епископы обладают слишком большой властью, что их юрисдикция слишком обширна и что необходимо ограничить ее и следить за ее осуществлением. Тем не менее, она твердо придерживалась епископата не только как церковного института и как системы церковного управления, но и как необходимой поддержки королевской прерогативы, а также как средства защиты и поддержания верховенства короля в религиозных делах. Доктрины о суверенитете короля в политическом порядке вещей, который должен осуществляться в соответствии с признанными законом формами и в аналогичных пределах, и о верховенстве короля в религиозных вопросах, управляемых и поддерживаемых епископатом, поддерживались в двойной системе легальной партии. Его главными деятелями были Кларендон, Коулпеппер, лорд Кейпел и даже лорд Фолкленд, хотя и более горячий сторонник народных свобод, и в его рядах числились почти все знатные лорды, которые не были раболепно преданы двору.

За ними выдвинулась вторая партия, которую я назову партией политической революции. В нем утверждалось, что древних гарантий, древних юридических барьеров было и остается недостаточно; что требовались большие перемены, настоящая революция, не в формах, а в реальной сущности правительства; что необходимо было лишить короля и его совет их независимой власти и передать политическое преобладание Палате общин; и что правительство, собственно так называемое, принадлежало этому собранию и его вождям. Эта партия не исследовала свои собственные идеи или намерения так ясно или систематически, как это делал я, но таковы были основные черты ее политических доктрин и тенденций. Вместо абсолютного суверенитета короля или чистой монархии она опиралась на веру в суверенитет Палаты общин как представляющей страну. Под этой идеей скрывалась идея суверенитета народа, идея, относительно которой партия была далека от того, чтобы оценить все аспекты или предвидеть все последствия, но которая пришла ей в голову сама собой и была принята в форме суверенитета Палаты общин.

Религиозная партия пресвитериан была тесно связана с партией политической революции. Пресвитериане хотели произвести в церкви революцию, аналогичную той, которую их союзники замыслили в государстве. Они хотели, чтобы церковь управлялась собраниями (пресвитериями), и передать религиозную власть в иерархию собраний, взаимодействующих друг с другом, подобно тому, как их союзники хотели передать политическую власть в Палату общин. Но пресвитерианская революция была более смелой и полной, поскольку она была направлена на изменение формы, а также основы церковного управления, в то время как политическая партия стремилась только к смещению влияния и преобладания и не предполагала никакого свержения в форме институтов.

Таким образом, не все руководители политической партии были благосклонны к пресвитерианской организации церкви. Некоторые из них — например, Хэмпден и Холлс — предпочли бы умеренное епископство, ограниченное чисто церковными функциями и допускающее большую свободу совести. Однако они уступили этому, поскольку не могли пощадить своих фанатичных союзников.

Третья сторона требовала еще большего. В ней утверждалось, что необходимо немедленно изменить основу и форму правления, что вся политическая конституция порочна и губительна. Эта партия отбросила в сторону прошлую историю Англии и отвергла все национальные институты и традиции, чтобы основать новое правительство на чистой теории, по крайней мере, в той мере, в какой она представляла себе теорию. Это была не только революция в правительстве, которую он намеревался совершить, но и социальная революция. Партия, о которой я только что говорил, партия политической революции, стремилась внести большие изменения в отношения парламента с короной и желала расширить власть палат, особенно общин, наделить их правом выдвижения кандидатов на высокие государственные должности и высшего руководства общими делами; но ее планы реформ не выходили за рамки этих пунктов. У него и в мыслях не было менять, например, избирательную, судебную, административную или муниципальную систему страны. Республиканская партия обдумывала все эти изменения, публично заявляла об их необходимости и, одним словом, намеревалась перестроить не только государственную власть, но и социальные отношения и распределение частных прав.

Как и предыдущая, эта партия также состояла из религиозной и политической части. В последнем классе были настоящие республиканцы-теоретики Ладлоу, Харрингтон, Милтон и другие. На их стороне были республиканцы, зависевшие от обстоятельств и интересов, главные военачальники армии — Айртон, Кромвель и Ламберт — все более или менее искренние в своем первом порыве, но вскоре ими руководили личные взгляды и необходимость их положения. Вокруг них сплотилась религиозная республиканская партия, состоявшая из всех восторженных сект, которые не признавали законной никакой власти, кроме власти Иисуса Христа, и, ожидая Его пришествия, желали правления Его избранных. В хвосте партии находилось довольно значительное число распутников и фантастических мечтателей, первые обещали себе карьеру распутника, вторые — равенство благ и всеобщее избирательное право.

В 1653 году, после двенадцати лет борьбы, все эти партии последовательно появились и потерпели неудачу в своих замыслах. Они должны были, по крайней мере, быть убеждены в этом результате, и несомненно, что общественность была убеждена именно в этом. Легальная партия, быстро оттесненная в сторону, стала свидетелем того, как древняя конституция и

законы были отвергнуты и растоптаны ногами, а нововведения проникали со всех сторон. Партия политической революции стала свидетелем гибели парламентских форм в том новом применении, к которому ее хотели применить; после двенадцати лет господства она увидела, что Палата общин сократилась из-за последовательного изгнания роялистов и пресвитериан до очень небольшого числа членов, презираемых обществом и совершенно неспособных управлять. Республиканская партия, казалось, добилась наибольшего успеха; внешне она оставалась хозяином поля битвы; в Палате общин насчитывалось едва ли более пятидесяти-шестидесяти членов, все республиканцы. Они могли верить и называть себя хозяевами страны; но страна решительно отказывалась позволять им управлять собой, и они были неспособны осуществлять свою волю в любом направлении; у них не было средств воздействия ни на армию, ни на народ. Больше не существовало никаких социальных уз или безопасности; правосудие не вершилось, а если и вершилось, то это было не правосудие; его отправлением руководили партийный дух, случай или злой умысел. И не только отсутствовала всякая безопасность в отношениях общества, но ее не было даже на больших дорогах; они были покрыты разбойниками и бандитами. Таким образом, воцарилась физическая и моральная анархия, а Палата общин и республиканский государственный совет были совершенно неэффективны для поддержания порядка.

Итак, три великие партии Революции были последовательно призваны проводить ее, управлять страной в соответствии со своими способностями и теориями; и они были признаны неспособными к этому; все три они потерпели полное поражение и корчились от бессилия. "Именно тогда, - говорит Боссюэ, - нашелся человек, который не оставил фортуне ничего, что он мог бы сделать недоступным для нее с помощью советов и предусмотрительности"; выражение совершенно ошибочное, и вся история опровергает его. Ни один человек никогда не предоставлял больше фортуне, чем Кромвель; никто никогда не подвергался большему риску и не действовал с большей отвагой, без умысла или цели, но с решимостью зайти так далеко, как позволит ему судьба. Кромвель отличается безграничным честолюбием и замечательным умением превращать каждый день и каждое обстоятельство в средство продвижения вперед, искусством обращать удачу в свою пользу, не предполагая направлять ее. Он проявил качества, каких, пожалуй, никогда не проявлял ни один человек, сделавший карьеру, аналогичную этой; он подходил для всех фаз революции, самых отчетливых и разнообразных. Он был в равной степени человеком первого и последнего ее периодов: вначале подстрекателем восстания, насаждаателем анархии и самым яростным революционером в Англии; впоследствии человеком реакции, восстановителем порядка и социальной организации; таким образом, он один играл все роли, которые в обычном ходе революций распределяются между величайшими действующими лицами. Мы не можем сказать, что Кромвель был Мирабо; ему требовалось красноречие, и в первые годы Долгого парламента, хотя он и был очень активен, он не представлял собой никакой фигуры. Но он был последовательно Дантоном и Бонапартом. Он больше, чем кто-либо другой, способствовал падению власти, и он возвысил ее, потому что никто другой не мог принять ее и владеть ею. Требовалось какое-то правительство, и все претенденты на руководство одним человеком с треском провалились; но он преуспел. Когда-то возглавлявший правительство, этот человек, чьи амбиции проявились такими дерзкими и ненасытными, который всегда шел вперед, толкая перед собой удачу, и не сталкивался ни с какими препятствиями, проявил здравый смысл, благоразумие и понимание практически осуществимого, достаточные для того, чтобы контролировать свои самые неистовые желания. Нет сомнений, что он испытывал острое пристрастие к абсолютной власти и

испытывал сильное желание возложить корону на свою голову и завещать ее своей семье. От этой последней цели он отказался, когда вовремя осознал опасность, которой она его подвергнет; а что касается абсолютной власти, то, хотя он практически пользовался ею, он обладал слишком здравым умом, чтобы не понимать, что чувства его эпохи были ей совершенно противны, что революция, в которой он участвовал и которой он следовал на всех ее этапах, была направлена против деспотизма и что неудержимым желанием Англии было правление парламента и в соответствии с парламентскими формами. Поэтому он, деспот, по вкусу и фактически стремился создать парламент и управлять по парламентскому образцу. Он обращался последовательно ко всем партиям; он пытался сформировать парламент из религиозных энтузиастов, республиканцев, пресвитериан и армейских офицеров. Он испробовал все возможные средства, чтобы создать парламент, который мог бы действовать вместе с ним. Он искал напрасно: все партии, когда-то заседавшие в Вестминстере, хотели вырвать у него власть, которой он пользовался, и править в свою очередь. Я не стану утверждать, что главным мотивом Кромвеля не были его личные интересы и самоудовлетворение, но нет ни малейшего сомнения в том, что если бы он отказался от своей власти, то обязательно восстановил бы ее на следующий день; ибо пуритане или роялисты, республиканцы или офицеры, никто иной, как сам Кромвель, не были приучены править в условиях какого-либо порядка или справедливости. Эксперимент, по сути, был проведен. Было невозможно позволить парламенту, то есть партиям, заседающим в парламенте, присвоить империю, которую они не могли сохранить. Таково, таким образом, было положение Кромвеля; он правил системой, которая, как он прекрасно знал, была ненавистна стране, и он пользовался властью, признанной необходимой, но которая ни для кого не была приемлемой. Его правление не рассматривалось ни одной партией как окончательное, устоявшееся правительство. Роялисты, пресвитериане и республиканцы, сама армия, партия, которая была ему наиболее предана, - все были убеждены, что он был лишь временным хозяином. В сущности, он никогда не властвовал над умами людей; в их глазах он никогда не был ничем иным, как подменой, сиюминутной необходимостью. Протектор, абсолютный хозяин Англии, был обязан всю свою жизнь применять силу для удержания власти. Ни одна партия не могла управлять так, как это умел он, и все же никто не смотрел на него добрым или благосклонным взглядом; напротив, все постоянно нападали на него.

После его смерти только республиканцы были настолько сплочены, чтобы захватить власть. Они сделали это, и преуспели не лучше, чем раньше. Это было не от недостатка уверенности в себе, по крайней мере, в том, что касалось фанатиков партии. Памфлет Мильтона, опубликованный в ту эпоху и примечательный талантом и энтузиазмом, озаглавлен "Легкий и быстрый метод установления Республики". Самомнение этих людей было так же велико, как и всегда. Вскоре они снова впали в ту невозможность управлять, которую демонстрировали ранее. Монк взял на себя руководство мероприятием, которого затаив дыхание ожидала вся Англия. Реставрация была произведена.

Реставрация династии Стюартов была поистине национальным событием. Оно представило себя с преимуществами старого правительства, опирающегося на традиции и лелеемые воспоминания страны, и в то же время с благоприятным покровительством нового правительства, не подвергавшегося недавним испытаниям, и ошибки и тяжесть которых не были недавно осознаны. Древняя монархия была единственной системой правления, которая в

течение двадцати лет не подвергалась осуждению за свою неспособность и плохие успехи в управлении страной. Эти две причины сделали Реставрацию популярной: ей противостояли только отбросы жестоких партий; общественность сплотилась вокруг нее с большой доброжелательностью. По мнению страны в целом, это был единственный шанс и средство формирования законного правительства, чего общество страстно желало. Именно это и было целью Реставрации, обещание законного правительства было именно тем, что оно давало.

Первая роялистская партия, взявшая на себя управление делами после возвращения Карла II, была фактически легальной партией, представленной ее самым способным главой, верховным канцлером Кларендоном. С 1660 по 1667 год Кларендон был премьер-министром и обладал наибольшим влиянием в Англии. Кларендон и его друзья вернулись к своей древней системе, абсолютному суверенитету короля, ограниченному юридическими рамками, контролируемому в вопросах налогообложения парламентом, а в вопросах частных прав и индивидуальной свободы - трибуналами правосудия; но обладая в практике управления, собственно так называемого, почти полной независимостью и самым решительным перевесом, исключая или даже вопреки желаниям большинства в парламенте, и особенно в Палате общин. По другим пунктам они проявили должное уважение к правопорядку, заботу об интересах страны, благородное чувство ее достоинства и моральный тон, в высшей степени серьезный и благородный. Таков был характер администрации Кларендона в течение семи лет.

Но фундаментальные идеи, на которых зиждилась эта администрация, абсолютный суверенитет короля и правительство, вышедшее за пределы сферы влияния парламента, устарели и умерли в общественном сознании. Несмотря на реакцию, вызванную первыми моментами Реставрации, двадцать лет парламентского правления сделали их невозможными для реанимации. Вскоре в сердце роялистской партии возник новый элемент, олицетворяемый деистами, повесами или либертинцами, которые разделяли идеи того времени, разделяли веру в то, что власть принадлежит палате общин, и, мало заботясь о законном порядке или абсолютном суверенитете короля, беспокоились только о своем собственном успехе и искали его везде, где, по их мнению, существовали какие-либо средства влияния или власти. Они сформировали партию, которая объединилась с недовольной национальной партией, и Кларендон был свергнут.

Затем возникла новая система правления, осуществляемая той частью роялистской партии, которую я только что описал. Распутники сформировали министерство, которое называется министерством Кабалы, и несколько администраций, которые пришли ему на смену. Давайте посмотрим, каковы были их характеристики. Отсутствие заботы о принципах, законах или правах; отсутствие уважения к справедливости или истине; использование таких средств достижения успеха, какие представлялись в каждом конкретном случае; если успех зависел от влияния Общественности, все было продано ради его достижения; если было необходимо пренебречь Общественностью, это делалось без колебаний, и в следующий момент они просили у нее прощения. В один день подверглись коррупции, в другой - обхаживанию нации: не проявлялось никакой заботы об общих интересах страны, о ее достоинстве или чести; одним словом, это было правительство по сути своей эгоистичное и аморальное, презиравшее все доктрины и взгляды на общественную выгоду; но в основе своей и на практике достаточно разумное и либеральное. Таков был характер Заговора, министерства графа Дэнби и всего английского правительства с 1667 по 1679 год. Несмотря на свою аморальность и презрение к принципам и истинным интересам страны, это правительство было менее одиозным и

непопулярным, чем министерство Кларендона. И почему? Потому что это было больше в духе эпохи и лучше понимало чувства людей, даже несмотря на то, что насмеялось над ними. Оно не было таким устаревшим и чуждым чувствам страны, как Кларендонское; и хотя оно нанесло нации гораздо больший вред, оно было менее неприятным для нее.

Наконец наступил момент, когда коррупция, раболепие и пренебрежение к общественным правам и чести были доведены до такой степени, что дальнейшее терпение стало невозможным. Раздался всеобщий протест против правительства либертинов. В Палате общин была сформирована национально-патриотическая партия. Король был вынужден созвать ее руководителей на совет. Затем в управление делами вступил лорд Эссекс, сын того, кто командовал первыми парламентскими армиями во время гражданской войны, лорда Рассела, и человека, который, не обладая ни одним из их достоинств, намного превосходил их по политическим способностям, лорда Шафтсбери. Поставленная таким образом во главе дел, национальная партия демонстрировала свою неспособность; она не знала, как завоевать моральную силу страны; она была неспособна примирить интересы, привычки и предрассудки ни короля, ни двора, ни лиц, с которыми ей приходилось вести дела. Он никому, ни королю, ни народу, не давал представления о своих талантах или энергии. Пробыв у власти короткое время, он затонул. Добродетели ее вождей, их великодушное мужество, благородство их смерти возвысили их в истории и справедливо поставили на высочайшее место; но их политические способности не соответствовали их добродетели, и они не знали, как использовать власть, которая не смогла их развратить, или сделать победоносным делом, за которое они могли бы сложить свои головы на плахе.

Давайте посмотрим, в каком состоянии находилась английская реставрация после провала этой попытки. Она, как и Революция, в некотором роде опробовала все партии и администрации - легальные, коррумпированные и национальные, — и ни одна из них не преуспела. Страна и двор оказались в ситуации, почти аналогичной той, в которой находилась Англия в 1653 году на закате революционной бури. Пришлось прибегнуть к тому же средству: к тому, что Кромвель сделал для уменьшения зла Революции Карла II. сделал ради выгоды своей короны — он с головой окунулся в карьеру абсолютной власти.

Яков II. наследовал своему брату. Затем к вопросу об абсолютной власти добавился второй — вопрос о религии. Иаков хотел сделать папизм доминирующим наряду с деспотизмом. Таким образом, как и в начале революции, мы видим религиозное и политическое восстание, оба были направлены против правительства. Часто спрашивают, что было бы, если бы Вильгельма III. не существовало на свете или если бы он не пришел со своими голландцами, чтобы положить конец ссоре между Яковом II. и английским народом? Я твердо придерживаюсь мнения, что произошло бы то же самое событие. Вся Англия, за исключением очень небольшой партии, была поднята в ту эпоху против Джеймса, и совершенно несомненно, что Революция 1688 года была бы осуществлена в той или иной форме. Но этот кризис ускорили причины, более влиятельные, чем внутреннее состояние Англии. Это было не только английское, но и европейское событие. Именно в этот момент английская революция связана самими фактами, независимо от влияния, которое оказал ее пример, с общим ходом европейской цивилизации.

В то время как в Англии разгоралась борьба, о которой я только что упомянул, — война абсолютной власти против гражданской и религиозной свободы, — на континенте происходила война того же рода, очень отличающаяся по действующим лицам, формам, которые она

принимала, и театру действий, но в основе та же самая и по той же причине. Чистая, несмешанная монархия Людовика XIV. стремилась стать универсальной монархией; по крайней мере, это давало повод для опасений, и фактически Европа была поражена этим страхом. Для противодействия этой попытке была создана лига представителей определенного статуса в Европе, и главой этой лиги был глава партии за обеспечение религиозных и гражданских свобод в Европе — Уильям, принц Оранский. Протестантская республика Голландия во главе с Вильгельмом обязалась противостоять чистой монархии, представленной Людовиком XIV и руководимой им. Очевидный вопрос, о котором шла речь, заключался не в гражданских и религиозных свободах внутри государств, а в независимости этих государств. Людовик XIV. и его противники понятия не имели, что они оспаривают между собой тот же вопрос, который был поставлен на карту в Англии. Их борьба продолжалась не как между партиями, а как между государствами; она велась с помощью войны и дипломатии, а не политических партийных движений и революций. Но в глубине души волновал все тот же вопрос.

Таким образом, когда Яков II. возобновил в Англии борьбу между абсолютной властью и свободой, это произошло в разгар всеобщей войны, которая шла в Европе между Людовиком XIV. и принц Оранский, представители двух великих систем, сражающихся как на Шельде, так и на Темзе. Лига против Людовика XIV. был настолько силен, что несколько монархов вступили в него либо публично, либо скрытым, но эффективным образом, которые, несомненно, испытывали сильное отвращение к процветанию гражданской и религиозной свободы. Император Германии и папа Иннокентий XI. поддерживал Вильгельма против Людовика XIV. И Вильгельм перешел в Англию не столько для того, чтобы служить внутренним интересам этой страны, сколько для того, чтобы полностью вовлечь ее в союз против Людовика. Он воспринял это новое королевство как дополнительную силу, в которой он нуждался и которую его противник ранее использовал против него. Пока Карл II. и Яков II. когда бы Англия ни воцарилась, она принадлежала Людовику XIV; именно он распоряжался ее силами и неизменно направлял их против Голландии. Таким образом, Англия была выведена из партии чистой и универсальной монархии, чтобы стать главным инструментом и опорой религиозной свободы. Такова европейская сторона революции 1688 года, и именно благодаря этой связи она заняла важное место в событиях Европы, рассматриваемой в целом, независимо от роли, которую она сыграла своим примером, и влияния, которое она оказала на умы людей в следующем столетии.

Таким образом, мы видим, как я уже говорил в начале, что истинным смыслом и сущностным характером этой революции была попытка упразднить абсолютную власть как в мирских, так и в духовных вопросах. Этот факт можно обнаружить на всех этапах Революции, в ее первый период вплоть до Реставрации и во второй период вплоть до кризиса 1688 года, рассматриваем ли мы его во внутреннем развитии Англии или в ее отношениях с Европой в целом.

Нам остается изучить то же самое великое событие — борьбу между чистой монархией и свободным исследованием на континенте, или, по крайней мере, ее причины и подходы. Это будет предметом моей следующей и последней лекции.

Лекция XIV.

Причины и следствия Французской революции.

В своей последней лекции я попытался определить истинный характер и политическую цель английской революции. Мы видели, что это было первое столкновение двух великих фактов, к которым вся цивилизация первобытной Европы пришла в течение шестнадцатого века, а именно: чистой монархии, с одной стороны, и духа свободного исследования - с другой. Эти две державы впервые подрались в Англии. Отсюда была предпринята попытка вывести радикальное различие между социальным состоянием Англии и континента; утверждалось, что никакое сравнение было невозможно между регионами со столь различной судьбой и что английский народ жил в своей собственной моральной атмосфере, в моральной изоляции, столь же полной, как и его географическая.

Действительно, между английской и континентальной цивилизациями существовало важное различие, которое нам надлежит исследовать. Мы уже имели представление об этом в ходе нашего исследования. Различные принципы и элементы общества развивались в Англии в некоторой степени одновременно и параллельно, по крайней мере, в гораздо большей степени, чем на континенте. Когда я попытался определить особый характер европейской цивилизации по сравнению с древней и азиатской цивилизациями, я показал, что первая была разнообразной, обильной и сложной; что она никогда не попадала под власть какого-либо исключительного принципа; и что различные элементы социального государства были там противопоставлены, конфликтовали и взаимно видоизменялись и были постоянно вынуждены действовать и существовать совместно. Этот факт — общая характеристика европейской цивилизации - был особенно характерной чертой английской цивилизации; там он был выявлен с наибольшей связностью и осязаемостью. В этой стране гражданские и религиозные порядки — аристократия, демократия, королевская власть, местные и центральные институты, моральное и политическое развитие — развивались и расширялись, так сказать, синхронно; если не с параллельной быстротой, то всегда, по крайней мере, на небольшом расстоянии друг от друга. Например, при власти Тюдоров, в самой блестящей карьере чистой монархии, мы видим, как демократический принцип, народная власть, прорывается и укрепляется почти в одно и то же время. Разразилась революция семнадцатого века, разом породившая политическое и религиозное движение. Феодальная аристократия появилась в нем, но в очень ослабленном состоянии и с различными симптомами упадка; и все же она все еще была способна сохранить в нем свое положение, играть важную роль и обеспечить себе долю в его результатах. Во всем ходе английской истории прослеживаются одни и те же черты; ни один древний элемент никогда полностью не исчезает, и ни один новый элемент никогда не торжествует исключительно; ни один особый принцип никогда не обретает абсолютного господства. Всегда происходит одновременное развитие различных сил и согласование их притязаний и соответствующих интересов.

На континенте развитие цивилизации было гораздо менее сложным и завершенным. Различные элементы общества — религиозный порядок, гражданский порядок, монархия, аристократия и демократия — развивались не совместно и бок о бок, а последовательно. У каждого принципа или системы был в каком-то роде свой день. Такая эпоха, например, принадлежит, я не буду говорить исключительно, поскольку это было бы слишком далеко, но с заметным перевесом, феодальной аристократии, другая - монархическому принципу, а третья - демократическому. Сравните французское средневековье с английским, одиннадцатое,

двенадцатое и тринадцатое столетия французской истории с соответствующими столетиями английской. Можно обнаружить, что в рассматриваемую эпоху феодализм был почти абсолютно господствующим во Франции, а королевская власть и демократия почти сведены на нет. В Англии, напротив, хотя феодальная аристократия имела главную власть, королевская власть и демократия проявили себя одновременно энергичными и важными. Королевская власть восторжествовала в Англии при Елизавете, как и во Франции при Людовике XIV; но скольких мер она была вынуждена придерживаться!—сколько ограничений, иногда со стороны аристократии, иногда со стороны демократии, ей пришлось вынести! Таким образом, в Англии каждая система или принцип пережили свою эпоху силы и процветания, но никогда так полно и исключительно, как на континенте. Победитель до поры до времени всегда был вынужден терпеть присутствие своих соперников и позволять каждому получать свою долю.

С этим различием в развитии двух цивилизаций связаны преимущества и неудобства, которые, по сути, проявились в истории двух стран. Нет сомнения, например, что это одновременное развитие различных социальных элементов в значительной степени способствовало ускорению достижения Англией цели всего общества, то есть установления правительства, одновременно регулярного и свободного, с назначением, неизвестным ни одному континентальному государству. Суть правительства как раз и заключается в том, чтобы уважать все интересы и все полномочия, согласовывать их и обеспечивать их существование и процветание в обществе. Итак, таковы были, по стечению множества причин, ранние настроения и взаимоотношения различных элементов английского общества; следовательно, создание общего и в некоторой степени регулярного правительства представляло меньше трудностей. Таким же образом, свобода по своей сути является одновременным проявлением и действием всех интересов, прав, полномочий и социальных элементов. Таким образом, Англия была гораздо ближе к его достижению, чем большинство других государств. По тем же причинам формирование здравого национального чувства и общего понимания государственных дел неизбежно происходило там быстрее. Здравый смысл в политических делах заключается в умении охватить умом все факты, правильно оценить их и придать каждому должное влияние; в английском общественном государстве это стало необходимостью, естественным результатом развития цивилизации.

В результате того, что каждый принцип или система прошли свой черед, восторжествовав более полным и эксклюзивным образом в континентальных государствах, развитие было произведено в большем масштабе, с большим величием и демонстрацией. Королевская семья и феодальная аристократия, например, появились на континентальной сцене с гораздо большей смелостью, размахом и свободой. Все политические эксперименты, так сказать, имели более широкую основу и были более полными. Таким образом, политические идеи, я имею в виду общие идеи, а не применение практического смысла к ведению дел, но политические идеи и доктрины, были подняты гораздо выше и применялись с гораздо более рациональной энергией. Каждая система, в некотором роде представившая себя отдельно и на видном месте и долгое время остававшаяся на сцене, позволила людям рассмотреть ее во всей полноте, проследить ее до ее первых принципов, проследить за ней до самых отдаленных следствий и полностью раскрыть ее теорию. Всякий, кто хоть сколько-нибудь внимательно наблюдает за английским гением, сталкивается с двойным фактом. С одной стороны, он ощущает здравый практический смысл и способности, а с другой - отсутствие общих идей и возвышенности ума в теоретических вопросах. Будь то английская работа по истории, или юриспруденции, или по любому другому вопросу, которую мы открываем, мы очень редко находим, что великие и фундаментальные причины вещей вообще рассматриваются. Во всем, и

особенно в политических науках, чистая доктрина, философия, наука, собственно так называемые, процветали на континенте более пышно, чем в Англии; их взлеты, во всяком случае, были гораздо более смелыми и энергичными. И мы не можем сомневаться, что разный характер развития цивилизации в двух регионах в основном способствовал этому результату.

Таким образом, что бы ни думали о неудобствах или преимуществах, которые влечет за собой это различие, оно само по себе является реальным и неоспоримым фактом и тем самым обстоятельством, которое наиболее глубоко отличает Англию от континента. Но хотя различные социальные принципы или элементы развивались в этой стране более одновременно, а на континенте более последовательно, из этого не следует, что в основе своей маршрут и цель не были одними и теми же. Рассматриваемые в целом, континент и Англия прошли через одни и те же великие фазы цивилизации, события в каждой из них развивались одним и тем же курсом, и одни и те же причины привели к одним и тем же последствиям. Это действительно убедительно проявилось в представленной мною картине цивилизации вплоть до шестнадцатого века, и это будет в равной степени заметно в портретной живописи семнадцатого и восемнадцатого веков. Развитие духа свободного исследования и чистой монархии, почти одновременное в Англии, происходило на континенте с довольно длительными интервалами; но они были завершены, и две державы, последовательно добившись заметного преобладания, таким же образом вступили в борьбу. Следовательно, в целом общий ход развития обществ был одинаковым; и хотя могут быть некоторые существенные различия, сходство глубоко укоренилось. Беглый взгляд на современность развеет все сомнения по этому поводу.

При обзоре истории Европы семнадцатого и восемнадцатого веков разум неудержимо стремится признать, что Франция возглавляла авангард европейской цивилизации. Начиная это исследование, я констатировал факт и попытался установить его причину. В этот период мы обнаружим, что это более заметно, чем раньше.

Принцип чистой монархии, или абсолютной королевской власти, преобладал в Испании при Карле V и Филиппе II, прежде чем был развит во Франции при Людовике XIV. Точно так же принцип свободного исследования царил в Англии в семнадцатом веке, прежде чем он получил развитие во Франции в восемнадцатом. Тем не менее, принцип монархии исходил не из Испании, а принцип свободного исследования - не из Англии, когда и то, и другое распространилось по Европе. Обе системы оставались, так сказать, ограниченными странами, где они появились. Сначала они должны были пройти через Францию, чтобы расширить свои завоевания; одним словом, было необходимо, чтобы чистая монархия и свобода исследования стали французскими, чтобы стать европейскими. Этот коммуникативный характер французской цивилизации, этот социальный гений Франции, которые проявлялись во все эпохи, особенно ярко проявились в том, чем мы сейчас занимаемся. Поскольку этот факт был выявлен с равной правдивостью и блеском в других случаях, более отчетливо посвященных исследованию влияния французской литературы и философии в восемнадцатом веке, мне нет необходимости задерживаться на нем. Было продемонстрировано, что философствующая Франция имела больше власти над Европой, с точки зрения самой свободы, чем свободная Англия, и что французская цивилизация показала себя гораздо более активной и заразной, чем цивилизация любой другой страны. Мне нет необходимости распространяться о деталях, устанавливающих этот факт, и я упомянул о нем только для того, чтобы защитить правомерность моего ограничения картины современной европейской цивилизации Францией. Несомненно, существует множество различий между цивилизацией Франции той эпохи и цивилизацией

других государств Европы, которые было бы важно исследовать, если бы я претендовал на то, чтобы дать полную историю; но я вынужден опустить многое, даже, так сказать, нации и эпохи, в том направлении, которое я наметил для себя. Итак, я продолжу сосредоточивать свое внимание на прогрессе французской цивилизации — образе, хотя и несовершенном, общего прогресса в Европе.

Влияние Франции в Европе проявлялось в семнадцатом и восемнадцатом веках в самых разных аспектах. Во время первого именно французское правительство воздействовало на Европу и шло во главе общей цивилизации. Во время второй перевес принадлежал уже не правительству, а французскому обществу, самой Франции. Сначала это был Людовик XIV. и его двор, а затем Франция и ее мнения, которые управляли умами людей и привлекали их внимание. В семнадцатом веке, безусловно, существовали нации, которые как нации занимали более заметное место на сцене и принимали большее участие в событиях, чем французская нация. Таким образом, во время тридцатилетней войны немецкая нация и во время Революции английская нация оказали на свои судьбы большее влияние, чем французская в тот же период на их судьбы. Точно так же в восемнадцатом веке были правительства более сильные, пользовавшиеся большим уважением и внушавшие больший страх, чем французское правительство. Не может быть никаких сомнений в том, что Фредерик II, Екатерина II и Мария-Терезия имели больший вес в Европе, чем Людовик XV. И все же в обе эпохи именно Франция стояла во главе европейской цивилизации — сначала благодаря своему правительству, а затем благодаря самой себе; теперь благодаря политическим действиям своих хозяев; и снова благодаря своему собственному интеллектуальному развитию.

Следовательно, чтобы полностью понять преобладающее влияние на ход цивилизации во Франции, а следовательно, и в Европе, мы должны изучить французское правительство в семнадцатом веке и французское общество в восемнадцатом. Необходимо изменить почву и представление, поскольку время производит свои изменения на сцене и актерах.

Вообще говоря, когда предметом обсуждения становится правление Людовика XIV и причины его могущества и влияния в Европе, говорится только о его известности, его завоеваниях, его великолепии и литературной славе его времени. Внимание направлено только на внешние причины, и им приписывается европейское преобладание французского правительства.

Я придерживаюсь мнения, что это преобладание имело более глубокую основу и более серьезные причины. Мы едва ли можем поверить, что Людовик XIV добился успеха исключительно благодаря победам, или помпезным церемониям, или даже благодаря гениальным произведениям искусства. и его правительство играло в ту эпоху выдающуюся роль, отрицать которую было бы абсурдно.

Каждому известно о влиянии, произведенном во Франции консульским правительством тридцать лет назад, и о том состоянии, в котором оно застало страну. Снаружи - надвигающееся иностранное вторжение и постоянные неудачи, терпимые французскими армиями; внутри - почти полное разложение власти и нации; отсутствие доходов, отсутствие общественного порядка, одним словом, общество повержено и дезорганизовано — такова была Франция при вступлении на престол консульского правительства. Выдающаяся и умелая деятельность этого правительства вскоре обеспечила безопасность территории, восстановила национальную

честь, реорганизовала управление делами, обновила законодательство и, одним словом, дала новое рождение обществу под эгидой власти.

Итак, правительство Людовика XIV, когда оно начиналось, осуществило нечто аналогичное. С большими различиями во времени, процедурах и формах оно преследовало почти те же цели и достигло тех же результатов.

Вспомните состояние, в которое впала Франция после правления кардинала де Ришелье и во время несовершеннолетия Людовика XIV. Испанские армии всегда на границах, иногда во внутренних районах; постоянная опасность вторжения, внутренние раздоры, доведенные до крайности, гражданская война, а правительство слабое и презираемое как внутри, так и снаружи. Ни одна политика не была более жалкой и презираемой в Европе или более бессильной во Франции, чем политика кардинала Мазарини. Общество, возможно, в тот период находилось в менее жестоком состоянии, но все же во многом аналогичном тому, каким оно было *довосемнадцатого брюмера*. Именно из такого состояния вышло правительство Людовика XIV. вывело Францию. Его первые победы имели эффект битвы при Маренго; они обезопасили территорию и возвысили национальную честь. Я собираюсь рассмотреть это правительство с его основных точек зрения — в его войнах, внешних сношениях, управлении и законодательстве; и я полагаю, что аналогия, о которой я говорю, и которой я не придаю бы никакого ребяческого значения, поскольку я обычно не придаю большого значения историческим сравнениям, будет сочтена имеющей реальное основание, достаточное, чтобы оправдать мое приведение ее.

Давайте, прежде всего, поговорим о войнах Людовика XIV. Войны в Европе изначально были, как я часто имел возможность наблюдать, крупными народными движениями; целые народы, побуждаемые нуждой, прихотью или какой-либо другой причиной, иногда большими ордами, иногда небольшими отрядами, перемещались с одной территории на другую. Таков был общий характер европейских войн вплоть до окончания Крестовых походов в конце XIII века.

Затем начался другой вид войн, почти в равной степени отличающийся от современных. Это были дальние экспедиции, предпринимавшиеся уже не народом, а князьями, которые отправлялись во главе своих армий на поиски территорий и приключений в отдаленных краях. Они покинули свои страны, покинули свои собственные территории и нырнули, одни в Германию, другие в Италию, третьи в Африку, без каких-либо мотивов, кроме своего личного каприза. Почти все войны пятнадцатого и даже шестнадцатого веков носили такой характер. Какой интерес, я не имею в виду законный интерес, но какой мыслимый мотив имел Франция, этот Карл VIII. следует ли владеть Неаполитанским королевством? Очевидно, это была война, продиктованная никакими политическими соображениями; король думал, что у него есть личные претензии на Неаполитанское королевство, и с личной целью, удовлетворением своего личного желания, он предпринял попытку завоевания далекой страны, которая вовсе не была приспособлена в качестве подходящего территориального приобретения для его собственного королевства, но которая, напротив, не могла иметь никакого эффекта, кроме как подорвать его внешнюю силу и внутреннее спокойствие. То же самое было с экспедицией Карла V. в Африку. Последней войной такого рода было предприятие Карла XII против России. Войны Людовика XIV. не носили такого характера; это были войны регулярного правительства, закрепившегося в центре своих государств, стремившегося завоевать все вокруг, расширить и консолидировать

свою территорию; одним словом, политические войны. Они могли быть справедливыми или несправедливыми и, возможно, обошлись Франции слишком дорого; есть множество доводов против их морали и их изобилия - но они носят характер несравненно более рациональный, чем предшествующие войны: они больше не были капризными или просто авантурными, но были продиктованы серьезными мотивами — такими, как необходимость завоевать некую естественную границу, включение некоторого населения, говорящего на том же языке, или создание некоего пункта обороны или барьера против соседней державы. Несомненно, к ним примешивались личные амбиции; но если мы рассмотрим войны Людовика XIV одну за другой, особенно в первую часть его правления, мы обнаружим, что они имели истинно политические мотивы и предпринимались в интересах Франции, для приобретения власти и обеспечения безопасности страны.

Результаты подтвердили этот факт. Франция наших дней все еще во многих отношениях такая, какой ее сделали войны Людовика XIV. Приобретенные им провинции — Франш-Конте, Фландрия и Эльзас - остались включенными во Францию. Есть как разумные, так и абсурдные завоевания. Людовик XIV был благоразумен; его предприятия не носили характера глупости и каприза, ранее столь распространенных; напротив, в них руководила умелая политика, хотя и не всегда справедливая и осмотрительная.

Переходя от войн Людовика XIV. к его отношениям с иностранными государствами, к его дипломатии, собственно так называемой, замечен аналогичный результат. Я утверждал, что зарождение дипломатии в Европе произошло в конце пятнадцатого века. Затем я попытался показать, что отношения правительств и государств между собой, которые ранее были случайными, редкими и временными, стали в ту эпоху более регулярными и постоянными, что они приобрели характер, представляющий большой общественный интерес, и что в конце пятнадцатого и в первой половине шестнадцатого века дипломатия приобрела огромное значение в отношении событий. Тем не менее, вплоть до семнадцатого века это не было в действительности систематическим и не приводило к длительным союзам или грандиозным комбинациям — прежде всего, к прочным комбинациям, приводимым в действие неизменными принципами, направленным к одной постоянной цели или демонстрирующим тот постоянный дух, который является истинной характеристикой установленных правительств. Во время религиозной революции внешние отношения государств почти исключительно определялись интересами религии; протестантская и католическая лиги разделили Европу. Именно в семнадцатом веке, после Вестфальского мирного договора, под влиянием правительства Людовика XIV дипломатия изменила свой характер. Затем оно избавилось от исключительного влияния религиозного принципа; союзы и политические комбинации заключались из других соображений. В то же время она стала гораздо более систематичной и регулярной, и всегда была направлена на определенную конкретную цель и в соответствии с неизменными принципами. Регулярное внедрение системы баланса сил относится к той эпохе. Это было при правительстве Людовика XIV. эта система со всеми связанными с ней соображениями по-настоящему овладела европейской политикой. Когда мы зададимся вопросом, какова была общая идея или преобладающий принцип в политике Людовика XIV. Я думаю, что по этому вопросу мы обнаружим следующие факты.

Я говорил о великом конфликте, который возник в Европе между чистой монархией Людовика XIV, стремящейся стать всемирной монархией, и гражданской и религиозной свободой, а также независимостью государств под руководством принца Оранского Вильгельма III. Мы видели, что великим событием в Европе той эпохи было разделение держав под этими двумя знаменами. Но этот факт в то время понимался не так, как сейчас; он был скрыт и неизвестен даже тем, кто его совершил; результат сопротивления Голландии и ее союзников Людовику XIV. это было необходимо и фундаментально для подавления системы чистой монархии и установления гражданской и религиозной свободы, но вопрос, таким образом, открыто не ставился между абсолютной властью и свободой. Неоднократно утверждалось, что распространение абсолютной власти было первостепенным принципом дипломатии Людовика XIV. Однако я придерживаюсь мнения, что это соображение в значительной степени определяло его политику только в более поздние годы, в преклонном возрасте. Целями, к которым он постоянно стремился, будь то борьба с Испанией, германским императором или Англией, были превращение Франции в доминирующую державу в Европе и унижение его соперников — одним словом, продвижение политических интересов и укрепление государства; он гораздо меньше заботился о распространении абсолютной власти, чем о стремлении к могуществу и возвеличиванию Франции и ее правительства. Среди многих доказательств этого, у нас есть одна стилистика Людовика XIV. сам. В его *мемуарах* под 1666 годом, если я правильно помню, есть заметка, сформулированная примерно в таких выражениях:

"Сегодня утром у меня был разговор с мистером Сидни, английским джентльменом, который объяснил мне возможность возрождения республиканской партии в Англии. Мистер Сидни попросил у меня для этой цели 400 000 ливров. Я сказал ему, что могу авансировать только 200 000. Он убедил меня вызвать из Швейцарии другого английского джентльмена по фамилии Ладлоу и узнать его мнение относительно того же проекта.

В мемуарах Ладлоу примерно к той же дате приводится абзац, подтверждающий это, следующего содержания:—

"Я получил от французского правительства приглашение приехать в Париж, чтобы поговорить о делах моей страны; но я с подозрением отношусь к этому правительству".

А Ладлоу, по сути, остался в Швейцарии.

Таким образом, очевидно, что ослабление королевской власти в Англии было в ту эпоху замыслом Людовика XIV. Он разжигал внутренние раздоры, чтобы помешать Карлу II стать слишком могущественным в своей собственной стране. В ходе посольства Барийона в Англию постоянно демонстрируется тот же факт. Всякий раз, когда власть Карла II, казалось, брала верх, а национальная партия оказывалась на грани разгрома, французский посол усиливал свое влияние, давал деньги лидерам оппозиции и, короче говоря, боролся против абсолютной власти, когда это было необходимо как средство нанесения ущерба соперничающей державе Франции. При внимательном рассмотрении манеры ведения внешних сношений при Людовике XIV можно обнаружить поразительное проявление этой особенности.

Французская дипломатия той эпохи также отличалась большим мастерством и способностями. Имена господ де Торе, д'Аво и Бонрепо известны всем хорошо информированным людям. Если мы сравним депеши и мемуары, то увидим способности и поведение этих советников Людовика XIV. учитывая способности, продемонстрированные испанскими, португальскими и немецкими

участниками переговоров, мы поражены превосходством французских министров не только в том, что касается их вдумчивой деятельности и применения в бизнесе, но и в либеральности мышления. Эти придворные абсолютного короля понимали внешние обстоятельства и партии, стремление к свободе и народные движения гораздо лучше, чем большинство самих англичан того периода. В семнадцатом веке в Европе не было дипломатии, которая, по-видимому, хоть сколько-нибудь соответствовала французской, кроме голландской. Министры, нанятые Де Виттом и Вильгельмом Оранским, этими прославленными вождями партии гражданской и религиозной свободы, были единственными дипломатами, которые показали себя достойными войти в число слуг великого монарха.

Таким образом, рассматриваем ли мы войны или дипломатические отношения Людовика XIV, мы приходим к одному и тому же выводу. Легко понять, почему правительство, ведущее свои войны и переговоры таким образом, должно было занять высокое положение в Европе и казаться не только очень грозным с точки зрения власти, но и внушительным благодаря своим способностям и проницательности.

Давайте теперь отправимся во внутренние районы Франции и исследуем администрацию и законодательство Людовика XIV, в которых мы найдем дополнительные объяснения силы и великолепия его правления.

Трудно точно определить, что мы должны понимать под администрацией в правительстве государства. Но я думаю, что после всестороннего изучения вопроса мы можем прийти к выводу, что управление, с самой общей точки зрения, состоит в концентрации средств, рассчитанных на то, чтобы с наибольшей быстротой и уверенностью проводить волю центральной власти во все слои общества и вкладывать центральную власть таким же образом в жилы общества, будь то люди или деньги. Такова, если я не ошибаюсь, истинная цель и преобладающий характер управления. Следовательно, мы обнаруживаем, что в те времена, когда особенно необходимо установить единство и порядок в обществе, администрация является великим инструментом достижения успеха в этом проекте, сближения, цементирования и объединения разрозненных и непоследовательных элементов. Такова была, по сути, деятельность администрации Людовика XIV. До него во Франции и в остальной Европе не было ничего более трудного, чем сделать так, чтобы действие центральной власти ощущалось во всех слоях общества, и сосредоточить в руках центральной власти средства воздействия, которыми располагало общество. Людовик XIV. стремился осуществить эти пункты и преуспел в определенной степени, во всяком случае, неизмеримо лучше, чем предыдущие правительства. Я не могу вдаваться в подробности, но если взять все государственные службы любого рода, финансы, дорожное управление и общественные работы, военную администрацию и все учреждения, относящиеся к каждой ветви администрации, то не найдется ни одного, которое не имело бы своего происхождения, своего развития или своего наивысшего совершенства при правлении Людовика XIV. Величайшие люди своего времени — Кольбер и Лувуа - проявили свой гений и осуществляли свое служение в качестве администраторов. Именно благодаря этим средствам его правительство приобрело общность, решительность и последовательность, которых всем окружающим его европейским правительствам прискорбно не хватало.

На законодательном этапе это правление носит тот же характер. Я вернусь к сравнению, о котором я говорил в начале, — с законодательной деятельностью консульского правительства и его огромным трудом по общему пересмотру законов. Работа того же рода имела место при Людовике XIV. Великие указы, которые он издал относительно уголовных дел, судопроизводства, торговли, морского дела, лесов и акватории, являются настоящими кодексами, которые были переработаны таким же образом, как и наши более поздние кодексы, и обсуждались в государственном совете, иногда под председательством Ламуаньона. Есть люди, слава которых заключается в участии в этих трудах и дискуссиях — М. Пуссорт, например. Если бы мы рассматривали его только само по себе, мы высказались бы крайне неблагоприятно о законодательстве Людовика XIV, поскольку оно полно ошибок, очень заметных в наши дни, и которых никто не может не допустить; оно вызвано не пониманием того, чего требовали истинная справедливость и свобода, а направлено на сохранение общественного порядка и придание законам большей регулярности и определенности. Но уже одно это было большим шагом, и не подлежит сомнению, что указы Людовика XIV, превосходящие все, что было продемонстрировано в предшествующий период, очень сильно способствовали стимулированию французского общества к продвижению по пути цивилизации.

Таким образом, мы быстро осознаем источники его силы и влияния, с какой бы точки зрения мы ни рассматривали это правительство. Это было первое правительство, представшее в глазах Европы как держава, действующая на надежных основаниях, которой не приходилось оспаривать свое существование с внутренними врагами, но которая спокойно относилась к своей территории и своему народу и была занята исключительно задачей управления государством, в собственном смысле этого слова. Все европейские правительства ранее были вовлечены в непрекращающиеся войны, которые лишали их всякой безопасности, а также всякого досуга, или их так донимали внутренние партии или антагонисты, что их время проходило в борьбе за существование. Правительство Людовика XIV. было первым, кто проявил себя как деятельное процветающее управление делами, как власть одновременно решительная и прогрессивная, которая не боялась инноваций, потому что могла с уверенностью рассчитывать на будущее. На самом деле было очень мало правительств, в равной степени внедряющих инновации. Сравните это с правительством того же характера — несмешанной монархией Филиппа II в Испании; оно было более абсолютным, чем правление Людовика XIV, и все же оно было гораздо менее регулярным и спокойным. Как Филипп II. преуспел в установлении абсолютной власти в Испании? Подавляя любую активность в стране, противопоставляя себя всем видам улучшения и приводя испанское государство в состояние полной стагнации. Правительство Людовика XIV, напротив, проявляло готовность ко всякого рода нововведениям и проявляло себя благосклонным к прогрессу литературы, искусств, богатства - короче говоря, цивилизации. Это было истинной причиной его преобладания в Европе, которое достигло такой степени, что в семнадцатом веке оно стало типом правления не только для государей, но и для наций.

И теперь мы спрашиваем себя, ибо иначе поступить невозможно, как такая блестящая и прочно обосновавшаяся держава, какой я ее представлял, могла так быстро прийти в упадок, и как, сыграв такую роль в Европе, она стала в следующем столетии такой колеблющейся, такой слабой и такой презируемой? Этот факт сам по себе неоспорим. В семнадцатом веке французское правительство было во главе европейской цивилизации; в восемнадцатом это преобладание исчезло, и именно французское общество, отделенное от своего правительства,

часто даже противостоящее ему, предшествовало европейскому миру и направляло его в его достижениях.

Здесь мы обнаруживаем неисправимое зло и неизбежный эффект абсолютной власти. Я не буду вдаваться в подробности относительно ошибок правительства Людовика XIV, которые были совершены многими и великими; я не буду говорить о войне за испанское наследство, об отмене Нантского эдикта, о расточительных расходах или о различных других роковых действиях, которые подорвали его состояние. Я буду считать, что заслуги его правительства таковы, как я их только что описал, при условии, что, возможно, никогда не было абсолютного правительства, более благодарного своей эпохе и подданным или оказавшего более реальные услуги цивилизации своей страны и Европы в целом. Но просто потому, что у этого правительства не было другого принципа, кроме абсолютной власти, и оно не опиралось ни на какую другую основу, его упадок был внезапным и заслуженным. Существенный недостаток Франции при Людовике XIV. это была нехватка институтов, независимых политических органов, существующих сами по себе, способных к спонтанным действиям и оказанию сопротивления. Древние французские институты, насколько они заслуживали этого названия, больше не существовали: Людовику удалось разрушить их. У него и в мыслях не было пытаться заменить их современными институтами, потому что они вызвали бы у него раздражение, а он вовсе не был расположен вызывать раздражение. Воля и действия центральной власти - это то, что проявляется в полную силу в ту эпоху. Правительство Людовика XIV. было великим, блестящим и наиболее могущественным, но без корней. Свободные институты являются не только гарантией мудрости и справедливости, но и долговечности правительств. Нет системы, которая могла бы существовать долго иначе, чем с помощью институтов. Везде, где абсолютная власть выдерживала удары времени, она опиралась на подлинные институты, иногда на разделение общества на четко разделенные слои, а иногда на систему религиозных институтов. При правлении Людовика XIV власти, так же как и свободе, не хватало необходимой защиты в виде институтов. В ту эпоху во Франции не было ничего, что могло бы гарантировать ни страну от незаконных действий правительства, ни само правительство от неизбежного действия времени. Таким образом, правительство способствовало собственному упадку. Это был не Людовик XIV. В конце его правления состарился и ослабел не он один, а весь принцип абсолютной власти. Чистая монархия была так же выхолощена в 1712 году, как и сам монарх. И зло стало более серьезным вследствие правления Людовика XIV. он отменил политические привычки, а также институты. Политические привычки не могут существовать без независимости. Только тот, кто чувствует свою собственную силу, способен либо служить власти, либо сопротивляться ей. Энергетические характеристики исчезают с потерей независимости, а достоинство ума может поддерживаться только уверенностью в правах.

Реальное состояние, в котором находился Людовик XIV. таким образом, левая Франция представляла собой общество в полном интеллектуальном расцвете и активности, а рядом с ним правительство, по существу неподвижное, без каких-либо средств для самореанимации или участия в движении своих подданных; но после полувека великолепия, обреченное на застой и слабость, и пока его основатель был еще жив, погрузилось в упадок, который почти напоминал распад. Такова была ситуация, в которой оказалась Франция в конце семнадцатого века и которая придала следующей эпохе столь иное направление и характер.

Вряд ли мне нужно говорить, что взрыв человеческого разума, дух свободного исследования были первостепенной чертой восемнадцатого века. Другие, кто был до меня, так умело

описывали эту влиятельную эпоху, что я освобожден от необходимости детально проследить все фазы совершившейся тогда чудесной моральной революции. Я, однако, стремлюсь отметить некоторые моменты, которые были несколько упущены из виду.

Первое, что приходит мне в голову, — это то, на что я уже ссылался, а именно, почти полное исчезновение, так сказать, правительства в течение восемнадцатого века и выдающееся положение человеческого разума как главного и почти единственного действующего лица. За исключением внешних сношений, которыми занималось министерство герцога де Шуазеля, и некоторых уступок общественному мнению — например, войны в Америке, — никогда, пожалуй, не было правительства столь бездеятельного, столь апатичного и инертного, как французское правительство того времени. Вместо энергичного и амбициозного правительства Людовика XIV, которое вмешивалось во все и ставило себя во главе всего, мы видим власть, стремящуюся только к тому, чтобы оставаться на заднем плане, настолько слабой и раздробленной она чувствовала себя. Активность и честолюбие перешли к нации, которая своими мнениями и интеллектуальным движением смешивала и вмешивалась во все происходящее и, короче говоря, единственная обладала тем моральным авторитетом, который дает истинное влияние.

Вторая характеристика, которая поражает меня в состоянии человеческого разума в восемнадцатом веке, — это универсальность, которая отличала дух свободного исследования. Ранее, и особенно в шестнадцатом веке, исследование проводилось в ограниченной и определенной области, имея в качестве объектов религиозные вопросы или политические и религиозные вопросы, смешанные вместе, но никогда не распространяя свои притязания на все предметы. Напротив, характерной чертой свободного исследования восемнадцатого века является его универсальность: религия, политика, чистая философия, человек и общество, моральная и материальная природа — все сразу стало предметом исследования, сомнения и систематизации; древние идеи были отброшены, и вместо них возникли новые. Это было движение, проникшее во все стороны, хотя и проистекавшее из одного и того же импульса.

Кроме того, это движение обладало особой характеристикой, которая, возможно, не проявлялась дважды в мировой истории, а именно тем, что оно было чисто умозрительным. В прежние времена действие быстро сопровождалось умозрением во всех человеческих революциях. Таким образом, в шестнадцатом веке религиозная революция началась с идей и дискуссий чисто интеллектуального характера, но быстро переросла в события. Лидеры интеллектуальных партий быстро превратились в лидеров политических партий, и реалии жизни смешались с деятельностью интеллекта. Так произошло в английской революции семнадцатого века. Во Франции восемнадцатого века мы наблюдаем, как человеческий разум упражняется во всем, в идеях, которые, будучи тесно переплетены с реальными интересами существования, должны были оказывать наиболее быстрое и потенциальное влияние. И все же лидеры и действующие лица в тех великих дебатах оставались в стороне от любого вида практической деятельности, выступая в роли простых спекулянтов, которые наблюдали, судили и высказывали свое мнение, никогда не вмешиваясь в события. Ни в одну эпоху власть над фактами или внешними реальностями так полностью неотличалась от власти над разумом. Разделение ментального и физического порядка вещей не было реальным в Европе до восемнадцатого века. Возможно, впервые ментальный порядок был развит совершенно отдельно от материального. Это был важный факт, и именно он оказал огромное влияние на ход

событий. Это придавало идеям того времени особый характер амбициозности и неопытности, ибо никогда философия не стремилась так сильно править миром и в то же время не была так хорошо знакома с ним. Несомненно, наступит день, когда возникнет конфликт, когда интеллектуальное движение перейдет во внешние факты; и поскольку они были так полностью разделены, потрясение было сильным, а слияние - более трудным.

Поразительная смелость человеческого разума в ту эпоху - еще одна характеристика, заслуживающая нашего рассмотрения. Раньше его величайшая активность всегда подавлялась в определенных пределах; люди жили среди фактов, некоторые из которых вызывали благоговейный трепет в их умах, и до определенной степени сдерживали их движение. В восемнадцатом веке было бы чрезвычайно трудно сказать, каковы были внешние факты, которые человеческий разум уважал или которые осуществляли какую-либо власть над ним. Это вызывало презрение и ненависть ко всему социальному государству. Отсюда он пришел к выводу, что призван реформировать все сущее, и стал смотреть на себя как на своего рода творца; институты, мнения, манеры, общество и сам человек - все, казалось, нуждалось в переделке, и человеческий разум возложил на себя эту задачу. Никогда и не снилась подобная дерзость!

Итак, такова была сила, действовавшая против того, что осталось от правительства Людовика XIV, в течение восемнадцатого века. Мы легко можем понять, что шока между ними избежать было невозможно. То, что было преобладающим фактом английской революции — борьба между духом свободного исследования и абсолютной монархией, — также несомненно должно было начаться во Франции. Несомненно, в этих двух конфликтах были различные различия, которые сказались и на их результатах, но в основе своей общие позиции были схожими, и окончательное событие преподавало один и тот же урок.

Поскольку у меня нет намерения проследживать многочисленные последствия этого кризиса, я ограничусь упоминанием самого серьезного и, на мой взгляд, наиболее поучительного факта, который ярко проявился в той великой обстановке. Я имею в виду доказательство опасности, зла, закоренелого порока абсолютной власти, какой бы эта власть ни была, какое бы название она ни носила и к какой бы цели ни была направлена. Мы уже видели правительство Людовика XIV. погибшее по этой единственной причине. Пришедшую ему на смену силу - человеческий разум, который был подлинным правителем восемнадцатого века, — постигла та же участь; он, в свою очередь, обладал почти абсолютной властью и отсюда черпал чрезмерную уверенность в себе. Его начало было славным и полезным; и если бы меня попросили высказать мнение об общей операции, я бы без колебаний заявил, что восемнадцатый век является для меня одной из величайших эпох истории, той, которая, возможно, оказала человечеству наиболее важные услуги, которая дала ему величайший стимул, приведший к самому всеобщему прогрессу, — так что, высказываясь о нем как о государственном управлении, если мне будет позволено использовать это выражение, мое суждение, безусловно, должно быть вынесено в его пользу. Тем не менее, не менее верно и то, что абсолютная власть, которой обладал в ту эпоху человеческий разум, развратила его и заставила относиться к современным фактам и мнениям, отличным от тех, которые пользовались всеобщим уважением, с незаконным презрением и отвращением, что привело его к ошибке итирании. На самом деле, столько ошибок и тирании, смешанных с триумфом человеческого разума к концу столетия, которые мы не можем скрыть от

самих себя и не должны отрицать, было очень значительным, главным образом в результате экстравагантности, в которую человеческий разум был повергнут пределом своей мощи. Я полагаю, что это является прерогативой и составит особую заслугу нашего времени - провозгласить, что всякая человеческая сила, будь то интеллектуальная или материальная, которой наделены правительства или люди, философы или государственные министры, и которая применяется в каких бы то ни было целях, по своей сути несет в себе природную порочность и принцип слабости и злоупотребления, которые настоятельно требуют установления жестких пределов ее применения. Таким образом, только система общей свободы всех прав, интересов и мнений, их беспрепятственного проявления и легализованного сосуществования может ограничить власть или влияние каждого отдельного человека в его надлежащих пределах, предотвратить их посягательство на других и сделать дух свободного исследования реальным и всеобщим наслаждением. Конфликт между материальной абсолютной властью и интеллектуальной, произошедший в конце восемнадцатого века, запечатлел в наших умах эту великую истину.

Теперь я дошел до точки, которую изначально предполагал для себя. Следует помнить, что я намеревался дать общую картину развития европейской цивилизации от падения Римской империи до настоящего времени. Я очень быстро справился с этой задачей, не дав себе времени изложить все, что было важным, или привести доказательства того, что я утверждал. Я был вынужден многое опускать, а также часто полагаться на свои собственные неподтвержденные утверждения. Однако я не совсем лишен надежды на то, что достиг своей цели, которая заключалась в том, чтобы отметить великие кризисы в развитии современного общества. Вначале я попытался дать определение цивилизации и описать тот факт, к которому применяется это слово. Цивилизация представлялась мне состоящей из двух основных фактов — развития человеческого общества и самого человека: с одной стороны, политического и социального развития, а с другой - внутреннего и нравственного развития. В данном случае я ограничился историей общества; я представил цивилизацию только с ее социальной точки зрения и ничего не сказал о развитии самого человека. Моя задача не сводилась к изложению истории мнений и морального прогресса человечества; при другом случае я, возможно, углублюсь в подробности и включу эту ветвь предмета в исследование.

Заключительное примечание редакции.

Следует заметить, что г-н Гизо, не углубляясь в историю европейской цивилизации дальше последних лет восемнадцатого века и слишком тесно придерживаясь Франции, оставил нетронутым ряд движений в социальном прогрессе, которые обещают в недалеком будущем произвести поразительные изменения в судьбах как отдельных людей, так и наций. Возможно, необходимо лишь в общих чертах упомянуть о прекращении затяжной войны между Францией и Великобританией, за которым последовал всеобщий мир, позволивший развивать науки, полезные искусства, торговлю и, вообще говоря, все атрибуты морального, религиозного и интеллектуального прогресса; о политическом возвышении крупного среднего класса в Великобритании и Франции и о согласованном улучшении положения более скромных классов общества; об отмене бесчисленных монополий в торговле и в других областях, оставляющих большую свободу для законных действий; об улучшении привычек и манер населения. Все слои населения, особенно в том, что касается моды на одежду, воздержания и этикета,

естественным результатом чего является повышение ценности человеческой жизни; важные изменения гражданских законов и муниципальных учреждений в большинстве европейских стран; и, наконец, и это главное, замечательные успехи, достигнутые в практической науке и искусстве. Среди этих достижений можно отметить только использование газа для искусственного освещения и применение паровой энергии для навигации, передвижения по дорогам и всех видов промышленных операций. Само по себе пароходство, открывая новые каналы для торговли и, по сути, сближая отдаленные друг от друга страны, безусловно, является величайшим двигателем цивилизации, который мир видел со времен изобретения книгопечатания, и должно быстро привести к самым удивительным улучшениям в жизни людей не только в Европе, но и во всех регионах земли. К этим различным фактам, как назвал бы их Гизо, из истории нового времени можно добавить факт широкого распространения газет и поучительной литературы по низкой цене среди менее обеспеченных слоев населения - благо, которое приписывают недавнему изобретению машин для производства бумаги и книгопечатания и о котором прошлые поколения человечества не имели ни малейшего представления. Далее, важно включить в этот перечень фактов открытие новых областей для человеческого труда и средств к существованию в колониях Великобритании и других плодородных регионах иностранного полушария, из-за чего Европа теперь регулярно теряет часть своего многочисленного населения; также постоянное установление республиканской конституции в Соединенных Штатах Америки, которая с самого начала своего существования оказала значительное влияние на старейшие политические институты европейских наций.

Благодаря этим и некоторым другим фактам европейская цивилизация в последнее время развивалась с каждым днем все быстрее и, по-видимому, уже отбросила состояние цивилизации восемнадцатого века со всеми его роскошными изысками к состоянию первобытных эпох. Цивилизация, которая была, таким образом, достигнута явным прогрессом за последние сорок или, точнее, за последние двадцать пять лет, может быть описана как находящаяся в настоящее время в приостановленном или переходном состоянии, в котором из-за конфликта сторон и мнений она может быть остановлена на некоторое время в какой-либо конкретной стране, но ничто не может помешать переходу в совокупности к более высокому состоянию. Сопутствующие эффекты всеобщего и дружественного общения между народами, улучшенные и расширенные средства образования, миссионерская деятельность по насаждению христианства в доселе языческих регионах и распространение продукции прессы не могут не быть полезными для общества и рано или поздно должны вывести цивилизацию за пределы, значительно превышающие те, которые ей отведены сейчас. История этого последнего прогресса, которую еще предстоит написать, составит чрезвычайно интересную главу в анналах человеческой цивилизации.

О Смертной казни.

Содержание.

	Предисловие	249
Глава I.	Пределы вопроса	255
Глава II.	Физическая эффективность смертной казни	258
Глава III.	Моральная эффективность смертной казни	268
Глава IV.	Та же тема продолжалась	280
Глава V.	Двойной характер правительства	285
Глава VI.	Правосудие	291>
Глава VII.	Необходимость	300
Глава VII.	Необходимость	300
Глава VIII.	Означает	306
Глава IX.	Судебное преследование и квалификация политических преступлений	308
Глава X.	Привилегия милосердия	318
Глава XI.	Заключение	325

Предисловие.

Возможно, кто-то спросит, на что я надеюсь от этой работы? Признаю, я не надеюсь, что правительства будут убеждены в бесполезности смертной казни, тем более что они откажутся от ее применения. Истина медленно проникает в разум силы, и даже когда она честно проникает,

ее не сразу признают хозяином. Разум долго отказывается верить, и даже когда его заставляют верить, он все равно отказывается повиноваться. Нет смысла объяснять почему.

Именно по этой причине, когда власть ошибается, необходимо установить общественное право - утвердить во мнении то, что будет так долго претворяться в жизнь. Если путь долог, тем более необходимо отправиться в путь пораньше, ибо в этом случае, еще до достижения цели, мы можем добиться некоторых результатов. Бесполезно продлевать заблуждение, ибо, когда известно, что оно таково, оно бессильно. Общество в наши дни так устроено, что власть наполовину побеждена, когда общественность объявляет ее неправоту. Напрасно он упорствует, ибо даже упорствуя, он колеблется, чувствуя себя перед превосходящей силой. Мнение, наконец, постепенно доходит до вторжения там, где до этого оно лишь выдерживало атаки; но даже тогда власть не сдается, хотя ее колебания возрастают. Сначала страх, а затем сомнение ослабляют его действие; затем он становится робким и впадает в ошибку, прибегая к средствам, которые общество осуждает и в эффективность которых оно само не верит. К этому моменту она должна быть вынуждена, и ее ошибки должны быть ясно продемонстрированы; и, наконец, когда дневной свет осветит их, силу, на которую она рассчитывала, будет все труднее использовать, и она будет все больше и больше ослабляться из-за растущих ошибок ее стратегии.

Я думаю, что настоящее время благоприятно для такой критики применения смертной казни в свете политического вопроса. Когда действие направляется истиной, оно медленное и слабое; но оно протекает энергично, когда истина действует путем противодействия. Среди мягких нравов восемнадцатого века яростно боролись против жестоких законов, политической строгости и смертной казни: казалось, все стремилось сдержать их, если не подавить, и многие честные люди полагали, что победа одержана. Но разразилась Революция, и жестокие законы, политическая строгость и смертная казнь были применены с неслыханным прежде насилием. Так много рухнувших надежд породили страх, что идеи, породившие их, были иллюзией; но это было большой ошибкой. Напротив, именно в это время эти идеи могут претендовать на наибольшее господство и осуществлять его; они способны воспользоваться недавним и страшным опытом; и им легко, улучшая его, избавиться от мечтаний своего детства, укрепить себя примерами, а не теориями, и прийти к простейшим правилам здравого смысла. Несмотря на скептицизм нашего времени, общественное сознание склонно принимать их. Революция нажила больше врагов, применив смертную казнь политически, чем было возбуждено всеми книгами и речами филантропического, философского и литературного характера. Она произвела на этот предмет впечатление гораздо более сильное, чем впечатление идей, и оно побеждает мнения, даже самые явно враждебные. У многих людей вызвала бы возмущение попытка заставить их признать даже частичную отмену смертной казни как общую необходимость, последствия права или теории: возможно, они сказали бы, что именно такие химеры привели к Революции. Но поставьте этих же людей перед фактами: пусть они вынесут, в качестве судей или присяжных, ужасный приговор или даже позволят им увидеть, как другие приводят его в исполнение, и опыт восстановит всю свою власть над их умами. Они будут сомневаться в ее необходимости и справедливости; печальные предчувствия возникнут из печальных воспоминаний; они будут испытывать одновременно сомнение и страх; они будут вспоминать то, что они видели и что они перенесли; они будут не доверять политике, которая имеет основания избрать такой курс и порождает такую необходимость; и они будут верить в результаты не больше, чем в причины. И, таким образом, вопреки теоретическим мнениям, часто даже вопреки тенденции обстоятельств, общий инстинкт, общественное здравомыслие

— плод горького опыта — будут сопротивляться политическому применению смертной казни с гораздо большей эффективностью, чем все аргументы и предписания философии.

Я бы оправдал этот инстинкт и представил все доказательства его законности. Дело срочное? Неужели власть проявляет себя такой нетерпеливой и расточительной в отношении смертной казни? Неужели мы настолько подвержены наказаниям, что необходимо бить тревогу и относиться к политике наших дней так, как если бы она напоминала ту катастрофическую политику, суровые приговоры которой раньше были ее великими и привычными инструментами? Я ненавижу преувеличения, ибо это ложь. Я не стремлюсь возбуждать или поддерживать слепой страх перед тем, чего я не могу доказать; я не провожу сравнения между нашими собственными и теми прискорбными временами. Но пусть мне не говорят, что в подобном случае необходимо ждать права высказаться. Если смертная казнь политически бесполезна, неэффективна и даже опасна, почему бы не сказать об этом сразу? Почему истина должна молчать, пока о ней не будут свидетельствовать столь ужасные факты? Можно сказать, что эти факты не появятся: что ж, если им не суждено появиться, книга не сможет их передать; а если это так, кто мог бы простить себя, если бы он задержал предупреждение? Кроме того, я наблюдаю странную аномалию: некоторые люди, когда боятся, одновременно легковверны и им трудно поверить. Иногда они повсюду видят ужасные симптомы, а иногда они не верят в возможность зла до его прихода. Можно было бы сказать, что они сделали выбор в своих воспоминаниях; всегда доступные для одних и отталкивающие других как назойливые и неприемлемые. Малейшая идея, малейшее волнение вызывают в их сознании ужасы Революции; но перед лицом других ужасов, таких же революционных, они слепы и дерзки. Они приходят в ужас, если вновь обнаруживаются какие-то ошибки Учредительного собрания, и все же протестуют против любого беспокойства, которое может быть проявлено по поводу восстановления смертной казни как политического механизма. Я требую большей беспристрастности в памяти, большей дальновидности и большей справедливости в страхе. Мы не пали так низко, чтобы зло должно быть ужасным, чтобы его ощущать. Я уверен, что беззаконие без скромности и ограничений не овладело ни законами, ни трибуналами; я знаю, что если бы оно зашло слишком далеко, то встретило бы на своем пути серьезные препятствия; и я знаю, что опасность подстерегает не за каждой дверью и не над всеми противниками власти нависает смертная казнь. Но все же, на мой взгляд, смертная казнь слишком часто требуется и слишком часто применяется. В том, как мы пользуемся ею, нет ни мудрости, ни справедливости, ни необходимости; она не достигает своей цели и усугубляет пагубность нашего положения, вовлекая власть в курс, полный опасностей для общества и для нее самой; она сама по себе вызывает беспричинные несчастья, которые, если они не распространяются дальше, все равно не легче и не поправимее; она привязывается к ложной и гибельной политике и день ото дня превращается в инструмент, все более меланхолический и бесполезный. Пусть другие воображают, что здесь нет достаточных мотивов для противодействия его использованию, и ждут большего зла и большей жестокости: что касается меня, я думаю, что посчитал достаточно.

Меня определяет другое соображение. Одна сторона одержала победу и, ожидая, что она еще восторжествует, тем временем делает все, что в ее силах. Я думаю, оно предпримет больше, чем оно до сих пор предпринимало; хотя оно и не может сделать всего, что могло бы. Это очевидно даже для него самого. Ситуация новая. В ходе Революции партия, добившаяся успеха, всегда делала больше, чем намеревалась, и больше, чем в начале предприятия она была в состоянии даже представить. Успех превзошел не только надежды, но и притязания. Слепые орудия

гигантской власти, люди Революции были унесены событиями быстрее, чем их мысли, и привели факты в исполнение, гораздо более масштабные и ужасные, чем их планы.

Теперь, напротив, мы видим партию у власти, чьи желания превосходят их замыслы, а замыслы превосходят их силу. Они хотели бы продвигаться вперед, и они делают это; но с каждым шагом их надежда достичь своей цели уменьшается. Вместо того, чтобы, подобно революционерам, двигаться вперед по инерции, а не по своей воле, их удерживает против их воли сила, противоположная их инерции. Поскольку нет ничего или почти ничего активного и видимого, что могло бы им противостоять, все вокруг является сопротивлением; все беспокоит и задерживает их — инструменты, которыми они пользуются, воздух, который их окружает, почва, по которой они ступают ногами.

Откуда возникает эта аномалия и что она говорит нам о судьбе партии? Я не хочу заниматься этим вопросом. Я просто отмечаю общий факт, и я делаю это потому, что у него есть последствия, которыми я хочу воспользоваться.

Именно в такие моменты приятно говорить правду, хотя люди, которым она неприятна, не воспримут ее лучше и не будут иметь большей власти над великими событиями. Ни одна партия не отрекается от своего происхождения, никто не обретает той высокой мудрости, которая, изменив свою природу, изменила бы всю ее судьбу; даже если прогресс, которого она способна добиться в мастерстве или благоразумии, недостаточно продолжителен или быстр, чтобы спасти их от той окончательной участи, которой их обрекло Провидение. Эти стороны не более независимы от действия времени, чем другие объекты. Их внутренние установки изменяются так же, как и их положение, и эти изменения делают их более или менее доступными влиянию истины. Когда партию увлекает общее движение эпохи, когда она становится двигателем великого социального кризиса, ни истина, ни мудрость не оказывают никакого влияния на ее карьеру. Она сокрушает всех, кто ей противостоит, оставляет всех, кто ей советует, и слепо устремляется вперед к цели, о которой она не подозревает; и именно тогда, в разгар их величайшей деятельности, мы наиболее ясно видим слабость людей — простые инструменты в выработке указов, одинаково недоступных их пониманию и их воле. Но когда социальная буря утихает, и Провидение, по-видимому, уступает управление человеческими делами обычным законам, а у противоборствующих сторон появляется время оглядеться вокруг, изучить свой курс и помериться силами, мы видим, что они в какой-то мере возвращаются к своей свободе. Вместо лихорадки, которая пожирала их, ими овладевает новая болезнь - медленный и тяжелый распад, который, не разрушая преобладающего характера или общих намерений партии, дает больше независимости отдельным лицам и больше авторитета мудрости. В ходе Революции сторонники монархии отделились от избирателей, избиратели - от жирондистов, а жирондисты - от якобинцев; но Революция, отнюдь не остановленная или ослабленная, продолжала с еще большей яростью свой ужасный путь; и по мере того, как эти фракции становились мудрее, они становились менее могущественными.

Кто бы мог подумать в наши дни, что какая-либо из партий, на которые мы разделены, может таким образом отдаться безумию своих желаний и страстей, осуждая и топча любого, кто отказывается сотрудничать, и что, тем не менее, она будет набирать силу с каждым днем и быстро продвигаться к успеху? Сейчас ничего подобного не видно. Если на этих вечеринках есть кто-то, кто все еще надеется на обратное, то это мечтатель, слепой к происходящим

событиям, который ничего не забыл и ничему не научился. Победители или побежденные, аутсайдеры или проигравшие, все партии вынуждены действовать мудро и осмотрительно: энергии лихорадки теперь недостаточно для усиления; они должны сплотить под своим знаменем все оттенки интересов или мнений; ибо они не могут допустить, чтобы кто-то из них отступил, не почувствовав немедленно его потерю из-за их собственной слабости. Они должны даже в какой-то мере склониться перед своими более упрямыми противниками; и это не совет, который я даю, а факт, который я наблюдаю, и который с каждым днем становится все более очевидным в их поведении.

Это ясно видно на примере партии, находящейся сейчас у власти, и по двум признакам: в партии происходит раскол, причем в направлении, противоположном тому, которое имело место двадцать девять лет назад. Не самые жестокие, но самые умеренные и благоразумные сейчас берут на себя управление его делами — те, у кого больше шансов заручиться общими интересами и меняющимися мнениями.

Даже эти умеренные, очевидно, зашли дальше, чем им хотелось бы, и, возможно, могут закончиться тем, что их свергнут. Но в их случае они не будут заменены более жестокими; партия будет переходить от бессилия к бессилию, точно так же, как революция переходит от ярости к ярости. И после того, как зло, которое они причинили — величайшее зло в их силах, — будет уничтожено их успехом, а также ослаблено их старыми неудачами, они будут вынуждены почувствовать, что предприняли невозможное и что никто в наши дни не способен произвести революцию в обществе.

При таком положении вещей может оказаться выгодным бросить в гущу вечеринок то, что мне кажется правдой. Никто лучше меня не осознает, что они не сделают это своим правилом, но оно будет действовать как растворитель, проникая в их дезорганизованную конституцию. Она не встретит тех гордых убеждений, той слепой уверенности, той идеи о пылкой и непреодолимой силе, которые препятствовали ее вступлению в революционные партии. Партия, которая преобладает в настоящее время, полна сомнений и страха; она не верит ни в свои собственные доктрины, ни в свою собственную судьбу. Принимая на себя роль защитника порядка, оно иногда пытается присвоить принципы свободы. Ухаживает ли она за ними, потому что считает себя загнившей, или просто как маска, не имеет большого значения; несомненно то, что она окружена препятствиями, вынуждена применять средства управления, которым не доверяет, говорить на языке, который шокирует часть ее приверженцев, тянуть время и колебаться — и все это открывает путь к истине и дает ей возможность по мере продвижения преодолеть неуверенность, внутреннюю слабость и моральное разложение, которыми охвачена партия. Простой факт продемонстрирует это: в 1791 и 1792 годах оппозиция в своих разглагольствованиях только раздражала и ускоряла партию, совершившую Революцию. Теперь оппозиция не менее неприятна правящей партии; но она пугает ее одним словом, успокаивает, вынуждает ее лицемерить и вносит путаницу в ее действия и колебания в ее проекты. Она даже просвещает всю изменчивую массу, внедряет идеи в ее лоно и требует осмотрительности, о которой раньше не думали, и на которую она ропщет и подчиняется. Таким образом, противодействие не напрасно; оно может иметь в настоящий момент мало видимых или прямых последствий, но оно, по крайней мере, способно посеять семена, и будущее пожнет плоды.

Таковы мотивы, побуждающие меня писать, и я считаю их достаточными и обоснованными.

О Смертной казни.

Глава I.

Пределы вопроса.

Это не философский вопрос, который я хотел бы затронуть, и я не требую изменений в законодательстве. Сейчас недостаточно спокойное и активное время для обсуждения принципов и реформирования законов, но благоразумие необходимо всегда; и во все времена, каковы бы ни были его опасности, правительство может совершать бесполезные ошибки и причинять обществу чрезмерное зло. Именно с этой точки зрения я хочу рассматривать смертную казнь как политический вопрос. Я хотел бы знать, мудро ли поступает правительство, обладающее полномочиями судебного преследования и помилования, когда прибегает к ним, руководствуется ли оно при этом своими собственными интересами и вынуждено ли оно к этому необходимостью.

Следует признать, что это все еще стоит того, чтобы потрудиться над исследованием. Заговоры толпятся вокруг нас. Один только что предстал перед судом в Туре, другой в Марселе и третий в Нанте; то же самое должно быть сделано в Кольмаре, Рошели и Сомюре; и если мы можем верить властям, которые их обнаружили, есть много других, готовых предстать перед законом. Сиреджан и Валле были казнены. Готовятся новые приговоры, возможно, новые казни. Если они окажутся бесполезными, более того, фатальными для силы, которая ими управляет! — ошибка здесь, несомненно, была бы печальной: если мы отнимаем жизнь, мы должны, по крайней мере, быть убеждены в необходимости этого.

Пусть те, кто думает, что ошибки нет, не слишком поспешат сказать это. Я утверждаю, что они сами сомневаются и что, не переставая думать, они должны продолжать сомневаться. Было время, когда в борьбе между группировками или между ними и правящей властью смертная казнь была не только обычным оружием, но и признанной необходимостью победителя. Не из того, что мы видели это наказание, прописанное в старых законах, мы знаем, какое впечатление оно производило на людей, ибо оно написано и в наших; но тогда оно имело больше оснований в нравах того времени. Справедливость его применения иногда подвергалась сомнению, но никогда - полезность. Власть уверенно использовала его, и никто не был шокирован этим фактом. Осуждения и казни могли приводить в отчаяние друзей побежденных; но, поскольку беззаконие таких шагов не было очевидным для общественности, они считали их вполне естественными; и власть, предпринимая их, твердо верила, что она просто осуществляет свое право и подчиняется необходимости своего положения. Все считали, что правительство и установленный порядок могут быть поддержаны только физическим уничтожением его врагов.

Если мы теперь посмотрим на правительство и общественность, когда была вынесена смертная казнь, или когда казнь только что состоялась, или когда она вот—вот состоится, - если мы прислушаемся к словам, изучим мысли и опросим лица, мы повсюду обнаружим сомнение и тревогу. Власть возбудила судебное преследование: была ли она права, спровоцировав это судебное решение? Она нанесла удар: доказало ли это свою силу или увеличило опасность? Он сам не знает, что и думать: он колеблется и почти извиняется за то, что было сделано. И это не из страха показаться жестоким, а потому, что оно не уверено в том, что было, я не скажу справедливым, но мудрым. Оно искало безопасности, а обрело страх. Таким образом, все его действия в подобных случаях полны нерешительности и непоследовательности. Политическое преследование, выдвинутое сегодня, завтра откладывается; сейчас оно попытается расширить свои сети, а затем сузить их; малейшая отсрочка, прошение о помиловании от самого подлого осужденного заключенного, становится важным делом, требующим длительных обсуждений, ответственность за которые считается страшно важной; и ни неудачный успех заговора, ни самый твердый кредит в Палатах, не могут избавить власть от беспокойства, которое охватывает ее, когда она вынуждена совершить действие, которое она объявляет необходимым.

Такое же впечатление производится и на публику, которая, однако, менее взволнована, поскольку ей нечего решать. Я не говорю о тех людях, которые, не вступая в заговор и не действуя против правительства, затаивают недоброжелательство по отношению к нему, или даже о тех, чьи привычки конституционной оппозиции заставляют их с подозрением относиться к действиям и намерениям власти. Я обращаюсь к той огромной общественности, у которой нет ни политических пристрастий, ни предрассудков, но которая желает установления правового порядка и свободы, потому что это необходимо для их собственного благополучия, для их бизнеса и их повседневных интересов. Склонны ли они вообразить, что правосудие приговаривает человека к смерти за политическое преступление? Обещают ли они себе больше порядка и покоя после такого свершения? Считают ли они эту строгость полезной и кажется ли она необходимой с точки зрения их здравого смысла? Нет: это пугает их, как беспорядок, и они не признают его срочности или, возможно, даже его справедливости. Трудно убедить их, что власти вообще необходимо убивать человека; и если такая необходимость возникнет, они, возможно, придут к выводу, что сама власть должна быть злой. Это происходит не из дурного отношения к авторитету и не из изнеженности манер, а исключительно из бессознательного, но глубоко укоренившегося сомнения в полезности и справедливости наказания. В наши дни едва ли найдется хоть один человек вне рамок фракции, который после политической казни считал бы общественный порядок более надежным или само правительство более прочным; напротив, все меньше верят в силу власти и в будущее общества; и это происходит не из-за заговоров, а из-за их наказания. Это чувство меня не удивляет, поскольку я считаю его вполне обоснованным, и я продолжу излагать, почему. Правительство наносит удар, и люди видят этот удар, но ни тот, ни другой после удара не уверены, что он чего-то добился.

Думаю, я сказал достаточно, чтобы доказать, что здесь есть предмет для обсуждения. Я не предполагаю, что правительство хочет ввести в привычку убивать только потому, что это делалось раньше, или что оно действует исключительно для удовлетворения своих собственных страстей и удовлетворения собственной мести. Использование эшафота не может стать простой рутинной; а что касается страстей, которые, как утверждается, о чем-то говорят, я оставляю их за скобками не только потому, что они несправедливы, но и потому, что они неправдивы. Это неправда, что они так сильны, так настойчивы и так властолюбивы, как

пытаются казаться. Если бы после долгих страданий они многим пожертвовали; если бы они отказали себе в жизненных утешениях и удовольствиях мира; если бы они показали себя непреклонными и неизлечимыми, питая в одиночестве свою меланхолию и надежду, я мог бы понять, возможно, даже извинить их крайнюю необходимость. Но их можно легко отвести в сторону или заставить улыбнуться; и их насилие не смогло противостоять ни продолжающейся опасности, ни надежде на безопасность. Следовательно, поскольку они не требуют удовлетворения, без которого вполне могут обойтись, они не имеют права казаться пылкими и суровыми. Такая энергия приходит слишком поздно; и поскольку они не претендуют на глубину, они могут, по крайней мере, предоставить нам преимущество своего легкомыслия.

Мне также не о чем спорить с законами. Они приговаривают к смертной казни за политические преступления, но я повторяю, что я не виню их, что я не призываю к их отмене. Я убежден, что реформы, которых требуют настроения и нравы того времени, должны перейти в поведение правительства, в рутину его дел, прежде чем быть воплощенными в законодательство. Так может быть и в этом вопросе. Правительство влияет на судебное преследование за политические преступления; оно часто может подавить их до того, как они приобретут достаточное значение для рассмотрения в судах; оно может придавать им большую или меньшую серьезность; и, наконец, оно имеет право приостанавливать или смягчать наказания, установленные законом. Необходимо ли это для того, чтобы спровоцировать применение высшей меры наказания или позволить ей быть примененной? В этом весь мой вопрос. Сомнение существует в каждом сознании, даже в сознании самого правительства; и я, со своей стороны, думаю, что это сомнение справедливо.

Глава II.

Физическая эффективность смертной казни.

Необходимость наказаний зависит от их эффективности. Если наказание не достигает цели, предполагаемой при его назначении, не может быть никаких сомнений в том, что в нем нет необходимости.

Эффективность наказаний бывает либо физической, либо моральной, либо и той, и другой. Физической - из-за бессилия, до которого оно низводит виновного, и моральной - из-за примера, который оно подает. Физическая эффективность смертной казни поначалу была ее самой убедительной рекомендацией. Убивая врага, он устранял опасность; а что может быть естественнее, чем удовлетворить жажду мести, обеспечивая при этом безопасность?

Однако в наши дни вопрос о мести больше не стоит. Ни одно законодательство, ни одно правительство не желает, чтобы ему приписывали такое варварство. Но каждое общество и каждое правительство по-прежнему желают безопасности, и смертная казнь, похоже, обеспечивает ее.

Но эффективность наказаний неодинакова во всех местах и во все времена. Она варьируется в зависимости от различных стадий развития общества, степени цивилизованности, настроений людей и обстоятельств правления. Смертная казнь, несмотря на видимость, даже в физическом смысле не обладает преимуществом неизменной эффективности, поскольку, подавляя известного врага, она не всегда устраняет опасность.

Каков был прежний состав общества? Небольшая аристократия, богатая и могущественная; и множество бедных, безвестных и слабых, несмотря на численный перевес. Когда великие замыслили заговор, у него были свои известные и важные вожди, облеченные огромной властью: это был плод честолюбия нескольких людей, возможно, только одного, и работа нескольких личных влияний. Таким образом, после поимки двух или трех заговорщиков опасность миновала. Семейство Перси, после того как посадило Генри Ланкастера на английский трон, стало недовольным, устроило заговор и начало войну против него; но они потерпели поражение и были объявлены вне закона, и Генриху больше нечего было бояться. Где сейчас те выдающиеся и общепризнанные вожди, уничтожить которых означало уничтожить партию? Под какими именами собственными сконцентрированы опасность и влияние! Немногие люди в наши дни имеют имя, и эти немногие не имеют большого значения. Власть ушла от отдельных лиц и семей; она покинула очаги, где она раньше обитала, чтобы распространиться по всему обществу. Там он быстро циркулирует, и хотя его почти не видно в каком-то конкретном месте, он присутствует повсюду. Она связана с общественными интересами, идеями и чувствами, которыми не руководит ни один отдельный человек, которые никто не представляет таким образом, чтобы их судьба хоть в малейшей степени зависела от его судьбы. Но если эти силы враждебны власти, пусть они поищут и выяснят, в чьих руках они находятся. На какую голову они обрушат свою месть? Все еще есть реформаторы и члены лиги, но больше нет Колиньи или Майенна. Смерть врага теперь - это смерть человека, и это не беспокоит и не ослабляет партию, которой он служил. Если власть успокаивается, когда отнимают жизнь, она обманывает саму себя: ее опасность остается той же, потому что ее создал не человек. Причины его опасностей широко разбросаны и глубоко укоренились; и отсутствие номинального вождя не уменьшает их энергии и даже не изменяет их действий. Им не нужны переводчики, инструменты или советы. Интересы и мнения теперь существуют сами по себе, направляются их собственным благоразумием и прокладывают себе путь их собственной силой. Ни у кого нет монополии на них, и никто не может ни потерять их по несчастливой случайности, ни продать путем предательства.

Смертная казнь, по крайней мере в этом, утратила свою эффективность: она больше не приводит к быстрому и верному результату - отрубанию головы, на которую обращены все взоры, или к заглушению голоса, обращенного ко всем. Он может вести поиск среди этих высших классов, которые, как говорят, являются вождями партий; но на каком бы индивидууме он ни остановился, уничтожая его, он никоим образом не нейтрализует надвигающуюся опасность.

Знают ли правительства об этом факте каким-либо инстинктивным образом? Оказывает ли оно хотя бы неосознанное влияние на их поведение? Возникает соблазн поверить в это. За последние семь лет многие заговоры во Франции были раскрыты и наказаны, но ни один уважаемый человек с известным именем не принимал в них участия. Было ли это потому, что власть не боялась таких людей, или потому, что она думала, что мало что выиграет, избавившись от них? Тем не менее, она постоянно утверждает, что у каждой фракции есть свои вожди, богатые и важные люди, которые направляют ее действия и покрывают ее расходы. Как получается, что эти вожди всегда избегают разоблачения или что они приберегаются для парада трибунов, но не упоминаются в действиях перед трибуналами?

Истинная причина такова, и важно отметить это, потому что это подтверждает мое утверждение — что Революция особым образом поразила высшие классы. Я использую это слово скорее потому, что целью Революции было нанести удар классу, а не отдельному человеку. Призванная изменить общество, она направляла свои удары не против людей, а против интересов и позиций. Ужасное зрелище судебной смерти произвело настолько глубокое впечатление, что ощущаются большие колебания при возобновлении его использования в этих более возвышенных регионах. Желания были выражены, намерения наполовину раскрыты, даже попытки начаты; но как только была достигнута какая-либо точка, из которой, если бы она была достигнута, возврата не было бы, мужеству, воле и способности действовать пришел конец. На этом этапе мнения властей разделились; ее агенты робки, а сторонники отказываются от их поддержки. Они инстинктивно чувствуют — и не менее мудро, — что вступают на ужасный путь, не имея ни повода для руководства, ни выгоды, которая могла бы вознаградить их. Обращаться с классами, совершившими Революцию, так же, как Революция обращалась с теми, кого она победила, — действовать против нее так, как она действовала против своих врагов, — невозможно; сама мысль об этом безумна. Зачем же тогда направлять такую ярость против людей, смерть которых вызвала бы больше шума, чем пользы? Зачем возобновлять в недрах высшего класса ту кровавую борьбу, которая послужит возбуждению ненависти к власти, на самом деле не ослабляя ее врагов? Нужно ли снова показывать народу, что ни уважение, ни богатство, ни высокое положение не являются защитой от буйства политических страстей? Они начали забывать об этом и привыкли верить, что существуют социальные условия, которые по своей природе чужды беспорядков и их последствий, и куда почти никогда не проникает смертная казнь. Должна ли эта спасительная вера быть разрушена? Следует ли учить толпу, что существуют заговоры в тех рядах, которые наиболее заинтересованы в поддержании порядка, и что им представлена выставка человека, хорошо известного, влиятельного и высокоуважаемого, которого тащат на эшафот как самого гнусного преступника? Не может ли это зрелище представлять большую опасность, чем самый могущественный противник правительства? Разве не благодаря таким зрелищам Революция перевернула не только общество, но и привычки и идеи? Кроме того, когда такая война происходит между людьми того же положения, образования и ранга, она принимает гораздо более серьезный вид, чем где бы то ни было: сражающиеся знали, видели и говорили друг с другом; те, кто потерпел поражение, знают, кто они такие, кто стремился их уничтожить; и их друзья будут помнить об этом завтра: таким образом, вражда становится личной, а опасность прямой. Разумно ли или это неизбежно - позволить борьбе принять такой характер? Будут ли люди компрометировать себя лично, когда даже успех не может предотвратить опасность, по той простой причине, что опасность кроется во многих других вещах, помимо жизни или враждебности отдельных людей? Таким образом, по мере того, как вожди партии становятся менее важными, тем больше ощущается колебаний при их уничтожении; и страх взять на себя такую ответственность не преодолевается никаким чувством ее непреодолимой необходимости. Тот спонтанный здравый смысл, который руководит людьми почти бессознательно, сообщает друзьям и даже хранителям власти, что им пришлось бы охотиться за жизнью своих главных противников с меньшей пользой для своего дела, чем с опасностью для себя. Три столетия назад уничтожение известного врага было нашей великой целью; теперь такого завершения боятся и избегают: и, несмотря на яростные заявления и слепую ярость определенных агентов, несмотря даже на свои собственные страсти, когда правительство способно и готово нанести удар по врагам, которых оно, по его словам, боится, оно окружает себя кольцом обстоятельств, чтобы предотвратить удар, который идет на компромисс, но не служит делу.

Говорят, что люди трусливы, каждый стремится к собственной безопасности и не желает выступать от имени правительства. Все это может быть правдой; но если бы в этом деле была какая-то необходимость, если бы сила или безопасность власти заключалась в уничтожении определенных людей, не было бы недостатка в друзьях или агентах, которые могли бы использовать свое мужество для удовлетворения своих амбиций или своего раболепия. Но даже пороки человеческой природы со временем меняют свой образ действия: эгоизм, алчность и страх не всегда следуют одним и тем же курсом. Никто незнаком с новой стадией развития общества, в котором мы живем, никто не знает о настоящих вождах партии; люди, опасные сами по себе, исчезли, и никто не верит, что подавление такого-то противника может рассеять или даже ощутимо уменьшить опасность, связанную с властью. Физическая неэффективность смертной казни в высших эшелонах власти глубоко укоренилась в сознании всех. Напрасно правительство отказывается от своей веры, ибо оно больше не в состоянии действовать так, как если бы оно не верило, и ни страх, ни страсть не в силах напомнить о необходимости, которой больше не существует.

Является ли смертная казнь более эффективной и, следовательно, более необходимой в борьбе с опасностями, которые возникают в низших слоях общества? В то время как высшая аристократия вымерла, а заговоры больше не являются порождением нескольких выдающихся людей, масса свободного и активного населения увеличилась в объеме и оказывает влияние, которым оно раньше не обладало. Возможно, смертная казнь, бесполезная против падших великих, может оказаться более необходимой против интриг, которые бродят в сердцах толпы.

Я прошу не забывать, что необходимость наказания зависит от его эффективности, а также о том, что сейчас я рассматриваю смертную казнь только с точки зрения ее физических последствий.

И, во-первых, я возражаю против самого слова "*множество*", то есть в том широком значении, которое некоторые люди придали бы ему. Глядя на наглость, с которой такие люди обращаются с огромным населением, можно подумать, что мы все еще живем в тринадцатом веке; что феодальная аристократия сейчас занимает почетное место; и что она надменно взирает с высоты своих башен на банды крепостных, разбросанных по ее владениям, или на дрожащих буржуа, смиренно приходящих просить разрешения отстроить стены своего бедного городка для защиты от грабителей. Эти люди ошибаются: общество не так устроено; пропасти, отделяющей высшие классы от массы народа, больше нет. Спуск с вершины общественного порядка к его основанию осуществляется по тесным ступеням, покрытым людьми, лишь немногим отличающимися от тех, кто находится над ними и под ними. Это верно в отношении собственности, промышленности, образования, знаний и влияния; и хотя некоторое кратковременное замешательство может быть вызвано развалинами старого режима, новая форма общества навсегда закрепилась во Франции. Необходимо иметь это в виду, чтобы понять действие законодательства и актов власти, поскольку у нас есть правительство и законы не для эпохи Филиппа-Августа, а для нашей собственной. Но давайте посмотрим, как раньше обстояли дела в случае политических преступлений, совершаемых в высших слоях общества, и каким образом действовала правящая власть.

Со стороны народа заговоры были редкостью — аристократия обладала такой привилегией. Это легко представить, поскольку только последняя могла извлечь из них выгоду или преуспеть в

них. Как горожанам или крестьянам могла прийти в голову идея смены правительства и захвата власти? Когда заговоры разворачивались, они шли в процессии великих, либо вынужденные, либо соблазненные. Ни инициатива, ни руководство, ни счастливые шансы подобных предприятий не принадлежали им.

Однако иногда они нарушали установленный порядок. Это было вызвано мятежами и всеобщими или локальными восстаниями, в зависимости от причин, которые их вызвали — будь то угнетение, голод или иногда новые религиозные верования. Тогда восстания были ужасны: обезумевшая толпа покидала свои убогие дома и бродила бандами, убивая, грабя и опустошая все вокруг — ожесточенная в своих страстях, слепая и неумолимая в своей мести, свирепая и распущенная в своей свободе. Такова была крестьянская война Швабии в Германии, восстание Уота Тайлера в Англии, Жакерия во Франции, и повсюду, из века в век, череда подобных восстаний, менее важных, но не менее отвратительных.

Когда такие беспорядки удавалось подавить до того, как они перерастали в войны, это делалось без особого искусства. Почти все те, кто их устраивал или поддерживал, были осуждены и казнены. Все, что нужно было сделать, - это просто изгнать население с его земли, поджечь десятки деревень и устлать дороги телами или конечностями, подвешенными к виселицам. Когда война разразилась, она превратилась в жестокую погоню, которая заканчивалась только со смертью повстанцев; или, если считалось благоразумным обращаться с ними и рассеивать их обещаниями, обещания исчезали вместе с бандами, которые их получали. Таким образом, опасность миновала, даже британский парламент обратился с мольбой к Ричарду II. не обращать никакого внимания на такие мнимые уступки, но предоставить всем своим шерифам и судьям все полномочия для действий против повстанцев по их возвращении в свои провинции. Не только во времена феодального рабства, посреди тьмы и варварства средневековья, народные движения были таким образом подавлены. Когда установился порядок, когда полиция, военная сила и все права суверенитета были сосредоточены в руках правительства, использовались те же средства, но с большей регулярностью. Число казней, имевших место в царствование Генриха VIII. было более 70 000, а при Елизавете все еще превышало 19 000, и восстания и бунты составляли не самую малую их часть. Мадам Севинье сообщает нам в своих письмах, как Людовик XIV. наказал незначительные мятежи в Бретани. "Все жители большой улицы, - говорит она, - были изгнаны, и всем под страхом смерти было запрещено укрывать их; так что все эти несчастные, только что родившие женщины, старики и младенцы, с плачем бредут прочь из города, не зная, куда идти, без еды и без места, где приклонить голову. ... Шестьдесят граждан были схвачены, и завтра их должны повесить. ... Мы больше не столь экстравагантны: одного раза в восемь дней теперь достаточно, чтобы правосудие продолжалось; и виселица кажется неплохим освежением". Общество не видело всего этого кровопролития, и король не был осведомлен обо всех имевших место казнях; но то, что смертная казнь была эффективной во времена, когда подобные вещи могли происходить без ведома общества или короля, — во времена, когда массовое изгнание, виселица и колесование были не просто наказаниями, а обычным оружием полиции, — конечно, нужно быть твердолобым, чтобы сомневаться в этом. Я не буду выяснять, могли ли эти средства быть необходимы в тринадцатом веке или даже позже. Что я знаю, так это то, что они были возможны и, более того, что они были физически эффективны, поскольку они действительно в значительной степени устраняли опасность, против которой они были направлены, положительно уменьшая количество и силу их врагов; обрушиваясь на народные

массы, как град на кукурузное поле, уничтожая всех мелких вождей, истребляя бойцов и, фактически, действуя не только страхом, но и настоящим истощением.

Можно ли это сделать в наши дни? Будет ли применяемое таким образом смертное наказание иметь такую же эффективность? Тем, кто так думает и в то же время понимает, что они думают, мне нечего сказать, кроме того, что я их не боюсь. Система, к которой они призывают, не потерпит даже позора бесполезного судебного разбирательства. Но сколько людей все еще верят в эффективность смертной казни, даже с физической точки зрения, не принимая во внимание ее последствия или тенденцию своего собственного мнения! Воспоминания о прошлых временах управляют их идеями. Некоторые умы могут сразу приспособиться к изменениям социального порядка или даже предвидеть их; но большее число остается слепым и неподвижным еще долго после того, как произошло завершение. Мир полон привычек без основания и верований без мотива. Это пример факта.

Какое правительство сейчас осмелилось бы применить смертную казнь против народа таким образом, чтобы сделать ее физически эффективной? и какие законы, какие министры предписали бы или разрешили бы устанавливать виселицы вдоль дорог, или расстреливать людей сотнями, или лишать собственности и прогонять жителей кантона? Нам говорят о мягкости наших нравов и гуманности наших законов; но есть много других препятствий, или, скорее, те чувства, которые защищают у нас жизнь человека, сами защищены могущественными фактами, которые их породили. Если человеческая жизнь сейчас пользуется большим уважением, то это потому, что у нее больше силы заставить уважать себя. Какое значение имел один из людей, крестьянин или мелкий буржуа, во времена, когда с этими классами обращались так, как мы видели? Жалкое существо, совершенно неизвестное, более слабое и изолированное, чем самый жалкий кустарник, томящийся в дубовом лесу. Его взгляды не простирались дальше средств к существованию; его смерть имела такое же незначительное значение, как и его жизнь; и беды, выпавшие на его долю, были так же неизвестны, как и он сам. Его судьба ни с чем не была связана, и никто, занимавший какое-либо место в обществе, не считал себя скомпрометированным несчастьями и лишениями толпы. Для этого множества существовали особые законы и наказания, которых высшим классам нечего было бояться; и осуждение и казнь сотни крестьян-бунтовщиков могли произойти в округе, причем подробности не были известны на расстоянии тридцати лье и при этом действительно влиятельная и активная часть нации не испытывала ни малейшего страха за себя.

Сейчас в обществе нет ни одного человека в таком состоянии, ни одного существа, чья жизнь занимала бы так мало времени и чья казнь произвела бы так мало шума. Возможно, это была заманчивая идея - уничтожить своих врагов, находясь в такой изоляции, в молчании и безвестности; при малейшем восстании или опасности смертная казнь могла легко обрушиться на эту скромную расу и на досуге посеять среди них хаос. Но сейчас великих лордов стало меньше, а мужчин намного больше, и все они держатся вместе. Нет никого настолько высокого, чтобы самый низкий голос не мог до него достучаться; нет никого настолько сильного, чтобы ему не угрожали опасности самого слабого; нет никого настолько незаметного, чтобы несчастье не придавало значения его судьбе; и нет никого настолько изолированного, будь то величием или незначительностью, чтобы ему нечего было надеяться или бояться того, что происходит вокруг него. Положение людей в обществе имеет теперь некоторую аналогию с законами их

судьбы в мире; нет непреодолимого неравенства и привилегий; испытания или благословения Провидения предназначены для всех; никто не защищен от несчастий, болезней или горя больше, чем другой; и каждый видит в судьбе своего ближнего образ или предчувствие своей собственной. Эта общность положения, это равенство шансов, это равенство в руке Божьей - не в последнюю очередь прочные узы союза между людьми. Это привлекает их друг к другу, объединяет в одних чувствах, не позволяет им оставаться в стороне из-за столкновения их интересов и разнообразия условий жизни; и, в конце концов, объединяет их по равным законам и заставляет их чувствовать, что у них одна природа и одна страна. Таково земное предназначение человека; и нынешнее состояние общества начинает таким же образом формировать его политическую судьбу. Всем даны одни и те же законы и одинаковые шансы; большое разнообразие становится слабее, а общность интересов сильнее и шире. Все стремится научить людей тому, что они подвержены одному и тому же злу и одним и тем же опасностям, и что поэтому они не могут оставаться безразличными к судьбе друг друга; в то время как все предоставляет им средства общения и поддержки друг друга. Таким образом, с одной стороны, индивидуальное существование приобретает большую важность и силу; а с другой, совокупность существования настолько тесно переплетена и согласована, что одновременно ощущается рана или угроза и одновременно принимаются меры защиты.

Если мы хотим составить представление о тех колоссальных переменах, которые, с моей точки зрения, это новое положение вещей внесло в отношения между обществом и правительством, давайте подумаем, что стало бы с властью, если бы ей пришлось сейчас подавлять в народе одно из тех восстаний, с которыми раньше было так легко справиться с помощью виселицы или колеса. Когда мы видим движущуюся толпу, когда то тут, то там раздаются крики и кто-то поднимает дубинки, мы воображаем, что государство в опасности, вызываем войска и демонстрируем общественную силу в ее самом серьезном виде. Я не говорю, что это неправильно; но что, если бы восстала провинция, если бы по стране прошли вооруженные банды, иногда победоносные, а иногда трудноразрешимые? Это, однако, именно то, что произошло при Людовике XIV. в Бретани, Лангедоке и двадцати других местах: здесь из-за налога, там из-за вероучения, в других местах вопреки указу. Были разосланы войска, наказания умножились, на население велась охота; но неразбериха никак не повлияла на праздники в Версале, и обычный ход дел в Париже не был нарушен; ибо государство не чувствовало себя скомпрометированным или власть по-настоящему атакована. И почему, спросят, эти насильственные сопротивления и частичные расстройства должны вызывать сейчас гораздо большую тревогу, чем раньше? Может быть, они оказывают более серьезное воздействие? Дело в том, что они больше не являются простым буйством толпы; что вместо народных бунтов теперь были бы общественные движения. Таков состав общества, что чернь, уменьшившаяся в численности и силе, больше не может действовать в одиночку в жестокости своих желаний или страстей. Между ними и властью находится многочисленное, богатое и в то же время работающее население, которое, хотя все еще слишком мало образовано, способно видеть далеко за пределами простых материальных потребностей или сиюминутных фантазий. Это население не подвержено беспорядкам, поскольку его члены живут не на поденную заработную плату, а работают на все, что у них есть, - землю или капитал. Таким образом, очень трудно отвлечь их от их дел; даже будучи недовольными, они будут долго колебаться, прежде чем действовать, потому что ни у кого нет власти командовать ими; и каким бы плохим ни было правительство, оно едва ли может заставить их сделать что-то худшее, чем ропот. Но если восстание действительно должно было произойти, оно не могло произойти без их согласия. И,

таким образом, те, кто в семнадцатом веке едва ли привлекал внимание Людовика XIV. вообще, теперь это привело бы в движение все правительство и заставило бы его почувствовать, что речь идет не о бунте среди населения, а о том, что перед ним более грозный враг и большая опасность. Если бы сила сразу не увенчалась успехом, власти отчаялись бы в силе и прибегли бы к обещаниям, уступкам, изменению систем, ко всей той принудительной политике, которая провозглашает, что власть ошибалась и обнаружила это. И таким образом, в то время как раньше правительство, не противопоставлявшее мятежникам ничего, кроме войск или наказаний, могло в течение нескольких лет находиться в состоянии войны с частью страны, общество в его тихом, но прочном строе, воодушевленное единым духом, едва ли продвинулось бы на шаг в реальном сопротивлении, прежде чем его пошатнувшееся правительство начало бы думать скорее о реформах, чем о наказаниях.

Значит ли это, спрашиваю я, что при таком устройстве общества физическая эффективность смертной казни в отношении политических преступлений масс все еще может сохраняться? Это больше не бедная слабая толпа, отделенная от влиятельных классов, которых теперь нужно низвести до бессилия. Кто теперь будет обращаться с толпой, состоящей из студентов, торговцев, мастеров и фермеров, так, как обращались с ней раньше? Однако именно там было бы зло, если бы оно вырвалось наружу; именно там должно быть применено средство; и для того, чтобы придать этому средству непосредственную полезность, правительство Людовика XIV. добиться, повесив или изгнав из города Ренн всех обитателей беспокойной улицы — чтобы подавить опасность в лицах ее авторов, - какой интенсивности, какими масштабами это не потребовало бы обладать! Но каковы были бы последствия? Скажем ли мы, какое отвращение, какой ужас перед правительством охватил бы это электрическое общество, где все известно, все пропагандируется и где миллионы людей в одинаковом состоянии, с одинаковыми чувствами, никогда не видевшие и не говорившие друг с другом, все же знают взаимно свою судьбу и, несмотря на спокойствие вокруг, чувствуют угрозу бури, бушующей на расстоянии ста лье от их кантона. В таких обстоятельствах к физической эффективности смертной казни предъявляются два условия— первое заключается в том, что она оказывает сильное влияние на то место, где возникает опасность; и второе, что она не несет опустошения и смятения по всей стране. Раньше эти два условия были объединены; но теперь это невозможно, и власть, которая выполнила бы первое, вскоре почувствовала бы себя более скомпрометированной ужасом и возбуждением, охватившими всю страну, чем успокоенной уединением, которое она могла бы создать в одном уголке штата.

Мы не можем бороться с социальными фактами: у них есть корни, до которых человеческая рука не может дотянуться, и когда они однажды завладели почвой, необходимо научиться жить под их сенью. Больше нет ни великой знати, которую нужно уничтожать, ни толпы, которую нужно истреблять. Физически бесполезная против отдельных людей, поскольку нет никого, чья жизнь опасна для правительства, смертная казнь в равной степени применима и к массам, которые слишком сильны и слишком бдительны, чтобы позволить ей применяться эффективно. Таким образом, с этой первой точки зрения смертная казнь как прямое средство подавления опасности напрасна: это всего лишь обычай, предрассудок, рутина, пришедшая из того времени, когда она действительно достигала намеченной цели, действительно освобождая власть от своих врагов. И власть, которая все еще сохраняет это изношенное оружие, сама осознает свое тщеславие; ибо, когда она имеет дело с людьми, заслуживающими уважения, она мудро не решается применить его; а когда, с другой стороны, она боится части населения,

невозможность этого настолько очевидна, что ей и в голову не приходит использовать столь ужасное орудие.

Таким образом, эффективность смертной казни должна быть моральной, поскольку она не является физической. Это сильная сторона, которой доверяют его друзья: давайте изучим ее.

Глава III.

Моральная эффективность смертной казни.

Рассматриваемая в целом и с точки зрения ее моральной эффективности, смертная казнь, как и все другие наказания, имеет двойной эффект — вызывает отвращение к преступлению и страх наказания. Две идеи — преступление и наказание - связаны в сознании человека. Когда видно преступление, ожидается наказание; когда видно наказание, предполагается преступление. Основываясь на этом естественном факте, законодательство предлагает наказывать не только для устрашения, но и для поддержания и укрепления во всех умах убеждения в порочности деяний, за которые оно наказывает; и именно таким образом оно могло бы отговорить людей от преступлений и сделать это наказание примером.

Я даже думаю, что наказания все же более показательны по тому моральному впечатлению, которое они производят, чем по тому ужасу, который они внушают. Законы имеют большую силу для совести людей, чем для их страхов. Общественное порицание и стыд, связанные с определенными действиями, обладают большей силой сдерживания, чем наказание, которое может последовать. Те, кто знаком с человеческой природой, согласятся со мной в этом; а те, кто сомневается, пусть только предположат, что моральное клеймо снято с действий, считающихся преступными по нашему кодексу, а затем зададутся вопросом, может ли всего мастерства полиции и всей строгости власти быть достаточно для их предотвращения. Страх, без сомнения, играет свою роль в моральной эффективности наказаний; но мы не должны преувеличивать силу этого агента или забывать о более энергичном, который приводит к тому же результату.

Было сказано, что моральная антипатия, вызванная преступлением, не усиливается от суровости наказания. Верно, что если наказание кажется чрезмерным, если оно больше возмущает, чем примиряет моральные чувства, если оно превращает ужас преступления в жалость к преступнику, оно теряет желаемый эффект. Неверно, однако, что страх возникает только от суровых наказаний и что они не возбуждают совесть еще сильнее: все это меняется в зависимости от времени, идей и нравов: наказание, которое раньше громко выступало против преступления, теперь может говорить только в пользу преступника. Более того, даже при самых кротких нравах жалость никогда не овладевает сердцем человека настолько, чтобы, созерцая великое наказание, заслуженное великим преступлением, он вдруг забывал о преступлении и думал только о страданиях преступника. Сострадание связано с чувством справедливости; и когда эта справедливость не нарушается, тяжесть наказания проявляет свою власть как над совестью, так и над страхом. Я не оспариваю, что смертная казнь обладает этим двойным достоинством. Я также не верю, что сейчас оно действует только из страха или что, кроме того, это настолько противоречит нашим нравам, что в конечном итоге оно терпит столь же полную неудачу, как и наказание колесованием. Я думаю, что даже став более редким, его воздействие на воображение могло усиливаться по мере того, как жизнь человека приобретала значение в

общественном сознании. Но даже по мере того, как простая смертная казнь сохраняет свою моральную действенность, а медленные и жестокие наказания утрачивают свою действенность, аналогичным образом вводятся или развиваются такие различия в преступлениях, что одно и то же наказание не обладает одинаковой действенностью во всех случаях.

Почему смертная казнь, применяемая к частным преступлениям, таким как убийство, грабеж, поджог и т. Д., Неизменно приводит к тому главному эффекту, завершению всех наказаний, который заключается в усилении отвращения, внушаемого этими преступлениями? Это происходит потому, что она находит это отвращение во всех сердцах, или, по крайней мере, потому, что нет никаких сомнений относительно естественной преступности деяний, за которые она наказывает. Бесспорны два факта — что действие, признанное преступным по закону, действительно имело место, и что оно действительно преступно. Общественность, власть, даже обвиняемый, согласны с этим. Нет иного вопроса, кроме как найти автора поступка, реальность или порочность которого никто не оспаривает. Таким образом, первое условие моральной эффективности наказания в некотором роде выполняется заранее; это доказанный факт, требующий наказания, и наказание адресовано людям, которые мыслят в согласии с законом.

Напротив, в случае политических преступлений эти два обстоятельства неопределенны: нет уверенности ни в том, что действия обвиняемых действительно являются теми, которые инкриминируются законом, ни в том, что действия, инкриминируемые законом, естественно и неизменно являются преступными. Первая неопределенность очевидна: в наши дни никто не знает, что в случае частных правонарушений разыскивается только преступник, поскольку преступление является несомненным; в то время как в политических делах, таких как заговоры, оскорбления прессы и т.д., Почти всегда необходимо обнаружить в серии действий, более или менее значимых, как преступление, так и преступника. Что касается второй неопределенности, пусть никто не скажет, что, утверждая, что она тоже существует, я хочу ослабить законы и оставить общественный порядок без защиты. Я утверждаю только, что безнравственность политических преступлений не так ясна и неизменна, как безнравственность преступлений частных; она постоянно видоизменяется или затемняется превратностями человеческих дел; она меняется в зависимости от времени, событий, прав и достоинств власти; она ежеминутно шатается под ударами силы, которая претендует на то, чтобы формировать ее в соответствии со своими капризами или потребностями. Было бы трудно найти в политическом мире достойный и невинный поступок, который не получил бы в каком-либо уголке мира или времени юридического признания. Кто скажет, что все эти законы были правильными? Кто утверждает, что они всегда вселяли в умы людей убежденность в их справедливости и внушали, наряду со страхом наказания, ужас перед преступлением? Кто теперь станет абсолютным защитником пассивного повиновения и истолкует права общества как подчиненные писаному закону, каким бы ни был характер власти? Такая попытка была бы тщетной. В столь изменчивых и сложных вещах истинная мораль не позволяет себе быть таким абсолютным образом зафиксированной и навеки заключенной в текст законов; и Провидение, которое так часто прибегает к силе, чтобы вершить судьбы людей, не позволяет ему таким образом творить и разрушать преступления и добродетели по своему желанию. "Разве вы не знаете", - сказал председатель революционного трибунала М. Энгран д'Алле, "закон, запрещающий посылать деньги эмигрантам?" "Да, - ответил старик, - но я знаю более старый закон, который предписывает мне содержать моих детей". То, что было верно в 1793 году, будет таковым всегда, несмотря на все кодексы и перед лицом всех видов власти. Несомненно, существуют реальные и одиозные политические

преступления; но те, которые совершаются в соответствии с законами, не всегда таковы, каковы бы ни были законы или времена. Сила обладает огромной властью над слабым разумом человека; но ей не дано развратить его до такой степени, чтобы преступления ее собственного производства возбуждали инстинктивную антипатию, связанную с преступлениями, объявленными таковыми истинным законом. Помимо тирании, даже в сносно нормальные времена, действия такого рода часто сопряжены с большой моральной неопределенностью. Когда они вызывают в обществе сильную враждебность, это, возможно, потому, что публика страстна и сама склонна к несправедливости; а когда она всегда недоверчива и втайне пытается оправдать их, это потому, что власть не нравится публике. Что правильно, а что неправильно? Сила может помешать людям узнать или, по крайней мере, заговорить, но почти в каждом случае смертная казнь за политические преступления ни в коем случае не производит того действительно морального впечатления, которое она производит при совершении частных преступлений.

Аналогичное различие существует между этими двумя классами преступлений в отношении эффекта страха, который стремится внушить смертная казнь. Грабитель и убийца изолированы в обществе, или, по крайней мере, их друзья, защитники или сообщники - такие же грабители или убийцы, как и они сами. Они знают это; и когда наказание настигает их, не только власть, но и все общество вооружается против них. С обществом они были в состоянии войны, и оно победило. Эта победа дает представление об огромной силе, направленной против отдельных людей, которые могут противопоставить ей только свое мужество или решительность. У них никогда не будет лучшей судьбы; никогда часть общественности не поддержит их дело; никогда для них не наступит день триумфа или мести. Они живут среди общества, как дикие звери в стране, перенаселенной людьми, повсюду находя ловушки или врагов; без поддержки, без укрытия и без другой силы, кроме своей личной, на которую каждый нападает, и живут в страхе, который каждый усиливает; и каждое осуждение, каждая казнь их братьев, которая имеет место, является для них торжественным доказательством слабости их положения и предупреждением об ожидающей их участи. Но враги правительства, люди, склонные к заговору или действительно вступающие в заговор, находятся в совершенно ином положении: они не перестают принадлежать обществу и примыкают к какой-либо партии, на помощь и защиту которой они рассчитывают. Эта партия может желать не того, чего хотят они, и может не верить в то, во что верят они; но что из этого? Они просто преувеличивают ее силу и неверно понимают ее намерения. Тем временем они живут в окружении мужчин, чьи желания совпадают с их собственными, и чьи иллюзии отвечают их уверенности. Кто не знает, какой поразительной слепотой обладают политические группировки и с какой безумной уверенностью каждая рассчитывает на свою силу и успех? В каждом прохожем, под каждой крышей, из которой поднимается дым, грабитель видит врага; в то время как заговорщик повсюду мечтает о союзниках и уверен, что везде получит хотя бы временную защиту. И, кроме того, если последнему грозит опасность, защитники не подведут его; его преступление будет сочтено сомнительным, а власть несправедливой и насильственной; тысячи добрых чувств, тысячи мудрых доводов поддержат замыслы, которые не одобряются, и поведение, которое порицается, но которое люди не могут и не допустят, чтобы оно было подавлено беззаконием. Наконец, если человек и падет, то не в такой изоляции, посреди этой всеобщей враждебности, которая замораживает самое дерзкое мужество. Возможно, в будущем он будет отомщен; и в этом ожидании его друзья рассматривают его гибель как удар, от которого сила, которой они обладают, с помощью чуть большего везения или благоразумия, может отныне уберечь их.

Группировку невозможно запугать, как банду разбойников: чтобы придать в таких случаях смертной казни моральную действенность, которая проистекает из страха и для достижения которой в случае частного преступления достаточно одной казни, необходимо было бы зайти почти так далеко, чтобы придать ей действенность равную физической; и мы видели, что это сопряжено с препятствиями еще более грозными и опасностями еще более серьезными. Таким образом, нет аналогии такого рода между частными и политическими преступлениями, которые разделены глубокими различиями. Вопрос не в том, чтобы исследовать моральную эффективность смертной казни в целом; потому что, независимо от того, обращается ли она к совести или страху, она не произведет такого же эффекта в заговорах, как в грабежах. Необходимо ограничиться исключительно первым классом правонарушений, чтобы оценить его влияние. Здесь, как и в других случаях, оно предполагает для себя двойную цель, к которой стремится любое наказание: оно предотвратило бы зло, сделав преступление отвратительным, а наказание ужасным.

Я только что сказал, что политические преступления таковы, что их моральная порочность более сомнительна, более изменчива и менее общепризнанна, чем преступления частного характера; следовательно, наказание, каким бы оно ни было, здесь выполняет работу, от которой избавлены в других местах. Когда какой-либо акт подобного рода объявляется преступным, люди не находят, как в случае с убийством или грабежом, решения о его характере. Убеждения должны быть изменены, и необходимо вступить в борьбу не только со страстями, но и с идеями; и поскольку вопрос заключается в том, чтобы воздействовать на тех самых людей, которые были бы склонны совершать то, что таким образом запрещено, трудность становится огромной. При нынешнем состоянии нравов обездоленные, бродяги или развращенные, каковы бы ни были несчастливость их положения или порок их наклонностей, никогда не верят, что им морально позволено грабить. Все внушает запрет и напоминает им о нем, когда они забывают его; и закон очень редко обнаруживает, даже у них, веру, прямо противоположную праву. Люди, доведенные до политических правонарушений, напротив, являются равными врагами убеждений и предписаний закона; ибо закон утверждает установленный порядок хорошим, в то время как они считают его плохим; его сохранение необходимо, в то время как они желают его падения; его существование священо, в то время как они требуют его свержения. Между этими людьми и законом, который обращается к ним, нет точки соприкосновения; их не объединяет никакой общий принцип; и чтобы добиться повиновения иначе, чем через страх, закон должен начать с того, что заставить их поверить в это. Прежде чем добиться этой главной и могущественной эффективности, состоящей в усилении естественной антипатии к преступлению, наказания наталкиваются здесь на непривычное препятствие. Как правило, они не имеют ничего общего с верованиями; сами по себе они являются санкцией на общественные убеждения, воздействуя на людей, которые согрешили, веруя. Как может санкция принципа произвести свое действие в случае, когда этого принципа не существует! Это может доказать силу врага, но не справедливость его дела. Повсюду возникают важные вопросы. Если бы Провидение не налагало на человеческие поступки никаких иных ограничений, кроме страха последствий, если бы люди полностью отдавались совету своих интересов или голосу своих желаний, были лишены тех убеждений, которые вносят порядок в буйство страстей и свет в неопределенность жизни, — хаос вскоре вторгся бы в мир, и

единственным средством поддержания порядка было бы внезапное унижение нашей природы путем абсолютной потери ее свободы. Но человек своими моральными убеждениями связывает себя и приспосабливается к воле Провидения: он находится в прямом общении с ним, понимает язык его законов, признает его принципы и свободно подчиняется им; и, несмотря на волнующую его борьбу, несмотря на его постоянные ошибки, нет необходимости в силе, чтобы заменить послушание рабством.

Каким был бы человек в своих отношениях с Провидением, если бы его моральные принципы изменили ему, таким почти были бы люди, склонные к политическим преступлениям, в своих отношениях с властью. Они не верят в то, во что верит она; они не желают того, чего она желает; они оспаривают у нее даже законность ее существования. Как власть должна воздействовать на них? У него достаточно здравого смысла, чтобы понимать, что одной силы будет недостаточно, что у него никогда не было ее в достаточном количестве, чтобы уничтожить или заключить в тюрьму какую-либо значительную часть общества, которым он управляет. Оно должно изменить свои установки и восстановить между собой и ними это сообщество, если не намерений, то, по крайней мере, убеждений, которое дает закону его истинную власть, вооружая его властью предотвращать сотни преступлений, наказывая за одно-единственное, и возводя его администраторов в ранг учителей народа, тогда как раньше они тщетно пытались оставаться его тюремщиками.

Из всех средств, которые использует власть для достижения этой цели, наказания, несомненно, наименее эффективны. Наказание предполагает преступление, и если это предположение не принимается, моральная эффективность первого исчезает. Когда человек, которому назначено наказание, и те, кто думает вместе с ним, считают, что он наказан несправедливо, в этом случае наказание имеет эффект несправедливости: оно раздражает, подтверждает враждебное мнение, расширяет пропасть между законом и его нарушителями и, таким образом, идет прямо вразрез с частью его собственной цели. Но если, напротив, враги власти признают, что она права, наказывая их, если они видят, что она разумно применяет свою силу против них, они могут только считать себя находящимися в состоянии войны. С этого момента все социальные связи разорваны; вопрос больше не стоит о законах или наказаниях; заговоры - это засады, а наказания - поражения. Правительство утратило свою моральную позицию: оно опустилось до равенства сил; между ним и его врагами все равны: поскольку у него есть право на самооборону, у них есть право на нападение: требования повиновения с одной стороны и справедливости с другой одинаково ложны. Все это принадлежит обществу, но общество распалось: теперь нет ничего, кроме войны, со свободой ее применения, постоянством ее опасностей и неопределенностью ее результатов.

Из всех наказаний смертная казнь - это то, применение которого наиболее быстро приводит партии и власть к этой последней ситуации: оно напоминает о войне, разжигая жестокую вражду и провоцируя месть. Следовательно, именно наказание обладает наименьшей эффективностью из всех, к которым мы сейчас стремимся. Повторяю, условием такой эффективности является реформа определенных идей: она не принесет своих плодов до тех пор, пока люди, к которым она обращается, не согласятся считать виновными те действия, от которых она их отговорила бы; по крайней мере, у них должны были возникнуть сомнения по этому поводу, и понятие легитимности власти должно было прийти им в голову. Часто

предпринимались попытки внедрить моральные убеждения с помощью наказаний, но когда им не удавалось их искоренить, они всегда терпели неудачу. Говорят, что моральные убеждения ни на что не направлены, что борьба ведется только против порочных желаний, непомерных влечений и преступных интересов. Но это ошибка, ибо когда нравственность или безнравственность поступка не очевидна, когда есть место для малейшей неопределенности, тогда страсти, интересы, все скрывается под мнениями, и все разрешается или трансформируется в идеи. Самые порочные и своевольные люди не склонны обходиться без разума и довольствуются грубой силой. У них всегда есть желание узаконить в своих собственных глазах даже самое незаинтересованное поведение; они тщательно подбирают каждый мотив, каждый предлог и хватаются за малейшую отговорку; и что может быть легче, после неожиданного свержения, сформировать таким образом для себя кредо, которое поддерживает враждебность по отношению к власти? Существовала ли когда-нибудь настоящая фракция, которая была бы чем-то иным, кроме союза бандитов, навязанного их собственными низменными интересами и доступного только страху? Самое слабое правительство наших дней могло бы дешево отделаться от такой опасности; но наказания нужны для того, чтобы действовать совсем в другой сфере: научить граждан тому, что заговор против установленного порядка является преступлением, и поставить их страну перед ужасными шансами революции. Однако да будет известно, что наказания не имеют силы распространять такие идеи; они уже должны существовать в сознании. Слабостью является полагать, что их можно пожинать, когда другие причины еще не посеяли их: это значит приписывать наказаниям силу, которой они не обладают: они не могут вызвать отвращение к преступлениям, которые считаются достойными уважения, и не могут продемонстрировать моральную легитимность власти: они не оказывают влияния на устоявшиеся убеждения людей; и когда они враждебны власти, правительство может добиться успеха в их изменении иными средствами, чем наказания, а когда они не изменяются, наказания, вместо того чтобы реформировать, только укрепляют их империю. Итак, давайте больше не будем говорить о смертной казни, предотвращающей политические преступления путем внушения ненависти к ним: эта действительно моральная эффективность, какой бы мощной она ни была в отношении обычных преступлений, здесь лишена реальности; и чем более энергичными становятся партии и чем больше возрастают риски, связанные с властью, тем меньше оснований полагаться на такое благотворное влияние смертной казни. Таким образом, как для правительства, так и для фракционеров это всего лишь еще один шаг в противостоянии, а для общества - всего лишь еще один удар судьбы, фатальный для побежденных сегодня и, возможно, для завоевателя завтра. Действует ли оно более мощно через страх? Я уже показал, что с этой точки зрения и в силу единственной разницы в социальном положении, существующей между заговорщиками и грабителями, политические преступления имеют для законов гораздо меньшее значение, чем частные правонарушения. Но это не единственная причина, которая делает террор наказания менее эффективным в политических вопросах, чем принято считать.

На людей влияют разные мотивы, и между ними и средствами, используемыми для контроля, должно быть соглашение. Кто не знает, что он не может говорить с человеком, которым управляет интерес, так же, как он говорил бы с тем, кем управляет страсть, или с человеком, одержимым страстью, как с тем, кем руководит мнение или долг? Мы тщательно изучаем в частных жизненных отношениях эти различные склонности человечества и никогда не думаем обращаться к чувствам, которых не существует. Законодатель, воздействующий на массы, не

может достичь этой прекрасной справедливости, этого особого соответствия вещей; но ему не нужно совершать глубокую нелепость, безразлично направляя одни и те же средства против самых разных диспозиций; и поскольку он может избежать этого, ему необходимо сделать это не только ради справедливости, но и ради успеха.

Страх, например, более эффективен против интересов, чем страстей, и против страстей, чем против идей: легче удержать бедняка от кражи, чем раздраженного человека от стремления отомстить; а разгневанного человека, в свою очередь, легче обуздать, чем фанатика, который считает, что ему приказано убивать. Как правило, когда руководящий принцип человека имеет какую-либо материальную природу, например, чисто личный интерес, страх обладает большой силой: он противопоставляет интерес интересу, и все это происходит в одной и той же сфере; ибо есть сходство и соответствие в побуждающем и противоположном мотиве. По мере того как мы приближаемся к моральному порядку, страх теряет свою силу: он перестает быть в естественной и прямой связи с импульсами, которые он подавлял бы; он обращается к людям на чужом для них языке, приводит им причины, которые они не могут признать, и, таким образом, не достигает цели, к которой он стремится. Но когда мы приходим к самому чистому и редкому из всех мотивов, к полным и доминирующим убеждениям нашей моральной природы, страх остается без действия на человека, таким образом поставленного над тем миром, которым ограничена его власть.

И это не теория: это ряд фактов, регулируемых Провидением, которое пожелало, чтобы материальный и моральный порядок оставались четкими и глубоко различающимися даже в их единстве.

К какой категории относятся эти причины действий, которые обычно толкают мужчин на политические преступления? Здесь также велико разнообразие, ибо я далек от мысли, что все происходит в рамках морального порядка или даже за его пределами. Среди причин, возбуждающих враждебность к власти, - идеи, страсти и интересы: здесь благородные чувства или искренние убеждения, там неистовые желания или самый грубый эгоизм. Все эти принципы действия соединяются, смешиваются воедино и образуют в своей смеси разнородную силу, с различными элементами которой нельзя бороться одними и теми же силами или подавлять одними и теми же средствами.

Я не говорю, что страх, вызванный зрелищем или возможностью смертной казни, неэффективен для предотвращения взрывов этой сбитой с толку силы; но я говорю, что его эффективность не носит простого характера; и что даже если он найдет в противнике, с которым борется, точки, по которым он может нанести успешный удар, будут и другие, которых он не сможет достичь, и где его отдача произведет эффект, противоположный тому, который предусмотрен уголовным законом.

Когда Карл II, побуждаемый католиками и своим собственным стремлением к абсолютной власти, прибегнул к осуждениям и карам, в оппозицию, как это всегда бывает, вошли самые разнородные элементы. Сторонники республики присоединились к сторонникам Кромвеля, и фанатизм пуритан не отказался от союза с людьми, чье отвращение к зачастую нелепым спорам сделало их равнодушными ко всем религиозным верованиям. К людям, возмущенным вседозволенностью двора, присоединились другие, движимые любовью к беспорядку,

печальному плоду революций; и честолюбцы, стремившиеся к популярности ради богатства или власти, стояли бок о бок с искренними патриотами, бескорыстными друзьями свободы своей страны: так, лорд Шефтсбери проголосовал за лорда Рассела. В одной партии, в прекрасном, сошлись вместе самые благородные чувства и самые преступные страсти, самые искренние убеждения и самые мирские интересы, высшая добродетель и самые постыдные желания.

Каково должно было быть и что действительно имело место, влияние политической строгости на партию, состоящую таким образом? Поначалу суд восторжествовал: те, кто примкнул к партии из корыстных побуждений, вышли из нее; продажные продали себя; робкие погрузились в молчание; старые республиканцы, утратив таким образом свои иллюзии, считали свободу утраченной безвозвратно; Монк развратил или бросил своих бывших товарищей; а Шефтсбери бежал в Голландию. Страх царил во всей своей красе. Но в то же время, когда он ударил по уязвимой части партии, он глубоко и непримиримо оскорбил силы, нападать на которые не входило в его обязанности. Если трусы боялись, храбрые люди приходили в негодование; и если страх привлекал ко двору некоторых дезертиров из народной партии, это также укрепляло народ в его отвращении; заставляя первых считать себя ошибочными, покушаясь на власть, и доказывая последним их право на это. Реформаторы были давно отчуждены; страсти, сдерживаемые, возможно, среди знати, разгорелись в толпе; общественное недоверие стало неизлечимым; и все друзья национальной свободы сочли себя в опасности. Что касается наиболее амбициозных членов партии, то лорд Рассел и Сидни были самыми неудачливыми из заговорщиков: они стали мучениками за народ; и вскоре время показало, что если страх принес плоды, благоприятные для власти, то они также посеяли очень горькие плоды. Таково в политическом вопросе неизбежное условие косвенной эффективности наказания. Оно не ограничено рамками, в которых оно может быть полезным; оно не ограничивает свое действие опасностями, с которыми оно может успешно бороться; но в одних случаях вызывает желаемый эффект, а в других - такой, которого предпочли бы избежать: его влияние нельзя ни отклонить, ни даже предвидеть. Это оружие неизвестной силы, которое, брошенное наугад, может поразить одну нужную точку и в то же время в сотне других вызвать появление новых врагов и новых опасностей.

Недостаток рефлексии у людей объясняет все; но та власть, которая для уничтожения политических фракций призывает себе на помощь страх смерти, совершает странную ошибку; ибо, применяя это средство, она не ведает, что творит. Оно должно, по крайней мере, прежде чем прибегать к нему, рассмотреть, какова природа опасности, которой оно опасается, каков внутренний состав группировок, с которыми оно борется, и каковы будут последствия, столь разнообразные и сложные, смертной казни. Если бы сейчас речь шла о таких врагах, какими в XIII веке были устоявшиеся правительства; если бы политическая борьба внезапно вносила в общество физический беспорядок, а собрания заговорщиков всегда грозили превратиться в банды грабителей, тогда страх был бы настоящим оружием. Если бы даже в наши дни мы имели дело с мятежами, зародившимися в толпе, спровоцированными какой-нибудь грубой страстью или каким-нибудь физическим интересом - например, самым насущным и простительным из интересов, голодом, — то и здесь я мог бы представить применение смертной казни. Им, действительно, можно было бы без необходимости и гнусно злоупотреблять; но им, по крайней мере, пользовались бы со знанием его воздействия на зло, к которому можно было бы должным образом применить его страх. Партии теперь, однако, устроены совсем по-другому: они объединяют людей всех сословий, богатых и бедных, праздных и трудолюбивых, миролюбивых

и беспорядочных, связанных между собой многочисленными и систематическими отношениями. Если заговоры не достигают полного успеха и не меняют облик империй, они редко заходят так далеко, как пытаются. Мы живем в недавно перевернутом обществе, где законные и незаконные интересы, благородные и порицаемые чувства, справедливые и ложные идеи настолько перемешаны, что очень трудно нанести сильный удар, не причинив вреда. Мы - древний народ, вступающий в новый социальный порядок; ошибки неопытности видны среди безопасности цивилизации; все неясно и запутано, но не является полностью беспорядочным или насильственным. При таком состоянии людей и вещей верить в эффективность смертной казни против политической опасности и полагаться на страх, который она внушает, как на великое средство управления, - значит ошибочно принимать и зло, и средство от него, и применять одновременно старое и ядовитое оружие, от которого больше нет пользы, и обращаться с которым опасно.

Я повсюду нахожу одну и ту же ошибку; и именно из-за смешения времен средства понимаются неправильно. При прежнем устройстве общества моральная эффективность смертной казни во многом подкреплялась ее прямой и физической эффективностью. Когда это произошло с главой выдающейся партии, известным всем ее членам и облеченным огромной властью, его личное падение не только рассеяло большую опасность, но и вселило ужас во всю фракцию, и все говорили: "Как пал этот человек?" Что? разве все его богатство, его авторитет, его многочисленные сторонники и его опорные пункты не были способны защитить его? Тогда следует опасаться его противников! Как можно избежать их власти? Как бороться с тем, что уничтожило такого человека? За пределами круга политических конфликтов видно то же явление. Смерть Картуша или Мандрена станет гораздо более ярким примером и подействует на грабителей гораздо сильнее, чем смерть безвестного карманника. Если вы спуститесь в толпу, вы обнаружите такое же соотношение между моральной и физической эффективностью наказаний; ибо там количество жертв компенсирует их недостаток известности. Удивительно ли, что население округа парализуется от страха, когда они видят, что их ряды поредели из-за наказаний, и на каждом шагу встречаются орудия или руины этой разрушительной силы? Их останкам отказано в самом погребении, и мертвые остаются над землей, чтобы наводить ужас на живых.

Такой ценой достигается тот страх, который в прежние времена черпал свое ужасное влияние из смертной казни. Если вы попытаетесь сейчас восстановить исчезнувший режим, вы не сможете выполнить условия; вы не сможете умножить политические наказания, чтобы устроить их количеством. Правительство, стремящееся к таким результатам, столкнулось бы с опасностью, надвигающейся на него с той же скоростью, что и страх среди людей. Общество больше не поставляет тех жертв, чье прославленное падение распространило ужас повсюду. Вы должны действовать здесь и там против каких-то безвестных негодяев, имена которых никому не известны и которые известны только по своему несчастью. И как вы можете уничтожить таких людей? Не силой власти: конфликт слишком неравный. Его справедливостью? Будьте осторожны: когда интерес личный, а превосходство столь огромно, справедливость очень подвержена подозрениям: если сомнение возможно, вы можете рассчитывать на то, что во многих умах оно станет равносильным уверенности. И какой страх вы тогда внушили? Не страх перед силой, а перед беззаконием; и правительство, по моему мнению, ничего не может получить от одного без другого.

Однако именно это заблуждение овладевает теми, кто в наши дни полагается на смертную казнь: они ошибочно принимают природу страха, который сами распространяют, и полагают, что доказали свою силу, хотя всего лишь поставили под сомнение свою справедливость или мудрость. Силу доказать не так-то легко и не всегда одним и тем же способом. Два правительства деспотически правили Францией — Конвент, который применял политические наказания, и Бонапарт, который мало ими пользовался и даже прилагал все усилия, чтобы избежать их. Оба, разными способами, были могущественны и внушали страх. Но был ли эшафот единственной силой Конвенции? Ни один разумный человек не может в это поверить: это сыграло свою роль, точно так же, как пожары, или рушащиеся дома, или опустошающие бандиты; но во всем этом усилия превышают энергию, и Условность, расходуя себя почти так же быстро, как и ее враги, рухнула в пропасть, из которой возникла; ибо напрасно велика власть — преступление, с помощью которого она торжествует, уничтожает ее в наши дни быстрее, чем когда-либо. Бонапарт, в свою очередь, был силен; но не наказаниями он доказывал свою силу и заставлял бояться ее. Он наказал одни заговоры, подавил другие и обошел стороной многие другие; он даже специально обошел стороной те, которые исходили от партии, оппозиционной революции. Облеченный властью из-за потребности в порядке и справедливости и в противовес анархической тирании якобинцев, уже измотанный, он хорошо понимал, что должен призвать к власти из тех же интересов и чувств, которые только что принесли ему Империю. Потребность в порядке внутри Империи и победе вне ее привела к 18 Брюмера, и Бонапарт правил так, как он поднялся, — порядком и победой; и когда из-за своих ошибок он потерял или поставил под угрозу победу в Европе и безопасность во Франции, он пал, все еще полный жизни, но перестав быть сильным.

Если я могу использовать цифру, то есть звезда, которая наделяет правительства силой, и которую они не вольны выбирать или отказываться от нее без опасности. Они рождаются и живут со своей собственной природой, но в ситуации, которую они не создавали, и в условиях, которыми они не могут руководить; и их мастерство состоит в том, чтобы познакомиться с ними и приспособиться к ним. Таким образом, они могущественны — один благодаря войне, другой благодаря миру; один благодаря суровости, а другой — благодаря мягкости - в зависимости от того, насколько различные средства правления соответствуют особым законам их судьбы. И если они неправильно понимают эти законы и ошибочно принимают соответствующие им средства правительства; если они воображают, что могут безразлично избирать любой путь, который они выберут, и приводить в движение ту или иную пружину в соответствии со своей фантазией; если они рассматривают власть как арсенал всевозможного оружия, одинаково полезного для всех желающих, — тогда их звезда покидает их: они колеблются, напрасно пробуют тысячи средств, которые последовательно подводят их, и, чувствуя, что день ото дня становятся слабее, глупо удивляются, что образ действий, который так хорошо удался другим, не приводит ничего, кроме увеличения их популярности. затруднения и опасности.

Что стало звездой Реставрации? По каким местным законам находилось нынешнее правительство? Где были его элементы власти и какие средства действия соответствовали его положению и его природе? Я хотел бы знать это, чтобы выяснить, действительно ли смертная казнь в политических делах является средством для ее применения, которое сохраняет в ее руках благотворную эффективность как в отношении ее собственных интересов, так и в отношении интересов народа. Я не могу удержаться от того, чтобы вопрос не стал таким

обширным. Я постараюсь не выходить за его рамки; но мне крайне необходимо следовать туда, куда он меня приведет.

Глава IV.

Продолжение той же темы.

Я скажу лишь одно слово о внешних событиях. Реставрация застала войну во Франции, а Франция, как и Европа, устала от войны. Это было как для Франции, так и для Европы залогом мира. Мир был тогда общим законом нашей судьбы; и в нем Франция должна была искать свою мощь, а также и свое достоинство, ибо одно неотделимо от другого, по крайней мере надолго.

Внутри Реставрация не обнаружила ни анархии, ни нечестия, ни презрения к законам, ни борьбы между классами, ни каких-либо других революционных бедствий, о которых они теперь говорят, как будто они владели Францией двадцать пять лет без перерыва. Это неправда. Старая знать жила в мире с новой, а обе они - с нацией. Тщеславие имело свои безрассудства, а также свои удовольствия, и страна мало задумывалась об этом. К несчастью для наших перспектив и наших прав — я думал так тогда и считаю так до сих пор — власть была, по крайней мере, прочно устроена, и таким образом, что беспорядков не следовало опасаться ни за нас, ни за нее саму. Моральный беспорядок, то внутреннее бесстыдство, которое порождает недоверие, та домашняя распущенность, презрение ко всем существующим формам вещей и отвращение ко всяким правилам и ограничениям, исчезли. Порядок, властная и слепая необходимость в 1799 году, в 1814 году был привычкой и общим вкусом, и Реставрация нашла это таковым.

Это правда, что порядок, не только политический, но и моральный, не был гарантирован. В политическом отношении нет реальных и независимых институтов, существующих за счет собственных сил, способных защитить либо общие интересы от притязаний отдельных лиц, либо индивидуальные интересы от тирании общих интересов и естественных пороков или ошибок власти. Одного человека было достаточно для многих, и он притворялся, что этого достаточно для всех. Падая, он оставил власть совершенно обнаженной и беззащитной, ибо у нее были права, но не было средств их осуществления; сила, но не было средств ее демонстрации; нужды, но не было средств обеспечить их собственными усилиями.

В моральном отношении зло было менее очевидным, но все еще реальным и глубоким. Порядок царил в социальных фактах и даже в манерах; но принципы порядка не были заложены в душе. Эти принципы я могу резюмировать в двух словах: твердое чувство справедливости и истинная вера. Их не хватало почти одинаково. Я не скажу, что в уважении к религии и морали, пришедшем на смену революционному цинизму, было лицемерие, но все же не было искренности: это было внешнее уважение, основанное на необходимости и удобствах, а не на убеждениях и чувствах. Люди считали это благом и соблюдали его, но не имея в себе того, что его вызывает, и не беспокоясь о его законной природе. Глава правительства подавал пример; но если он желал его привычек, то боялся его принципов; ибо, высмеивая идеи, он признавал их империю. Дисциплина без моральных правил, послушание с безразличием - вот все, чего он добивался, и общество постепенно взяло этого персонажа под свою руку. Никогда еще порядок не был одновременно таким точным и в то же время таким чуждым внутренней жизни человека; и никогда еще так много регулярности не сочеталось с таким малым количеством веры.

Что касается идеи права, то она мало возвышалась над гражданскими отношениями, за пределами которых сила царила настолько безраздельно, что казалось, будто право принадлежит только ей. Когда в нации существует воля, перед которой все исчезает или сводится к молчанию, чувство справедливости погибает; и если эта воля в то же время очень активна и одержима страстью выставлять себя напоказ со всех сторон, на войне, в мирное время, проявляясь повсюду и рассматривая каждое препятствие как незаконное, она оказывает на людей самое ужасное растление, которому они могут быть подвержены, поскольку она лишает их силы и даже мысли о сопротивлении, то есть отнимает у них их моральное существование. Право - это право сопротивления: другого нет; ибо уберите это, и все остальное исчезнет. Бонапарт порастил их всех в самое сердце, по крайней мере в их отношении к его власти; и таким образом, отвергнув верования, с одной стороны, и права, с другой, он отнял у порядка, который поддерживал, не основывая его, все гарантии, кроме привычки и своей собственной воли.

То, чего не дал Бонапарт, могла дать нам Реставрация: в этом была одновременно и ее миссия, и ее природа. Это была его миссия, ибо у правительства нет иной цели, кроме удовлетворения потребностей общества, в котором оно создано; не только постоянных и всеобщих потребностей общества, но также, и, возможно, превыше всего, особых потребностей своей эпохи. Но точно так же, как Бонапарту пришлось восстановить внешний порядок и положить конец, посредством деспотизма единой воли, анархии индивидуальных волей, так и Реставрация, взяв вещи там, где их оставил Бонапарт, должна была привести во внешний порядок веру, составляющую моральный порядок, и заменить империю воли империей права. Хотя эти желания и менее заметны, они не менее реальны; они лежат в основе каждого законного стремления каждой партии.

В природе Реставрации также было реагировать на них. И с самого начала она была ограничена институтами свободы. Я использую это слово, поскольку оно представляется мне единственным, с помощью которого может быть выражена настоятельная необходимость Хартии. Такие ограничения не оскорбительны для власти, к которой они применяются, ибо ими руководит Провидение. Недоверие, которое не могла не вызвать Реставрация, потребовало гарантий, которые могла предложить только свобода. Таким образом, свобода была, возможно, еще более необходима для Реставрации, чем консульская власть; но именно в лоне свободы развиваются общественные верования; именно под ее сенью зарождаются и крепнут общие идеи, идеи, приспособленные ко времени и к инстинктам умов, вызванные и собранные тайными желаниями целого народа. Деспотизм никогда не порождает их; и великие убеждения, которые правили миром, никогда не формируются иначе, как против власти или в свободном государстве. Идея и чувство справедливости с необходимостью проистекают из свободы. Это не нуждается в доказательствах, особенно в наше время, когда кровавые столкновения маленьких греческих или итальянских группировок ни в чьих глазах не были бы свободой.

И это еще не все: то, что было необходимостью для Реставрации, также соответствовало ее природе: она черпала свою силу не из самой силы, а из идеи. Словом "легитимность" часто злоупотребляли и будут злоупотреблять до сих пор. От такого злоупотребления мы многое теряем, ибо, пытаясь придать ему значение, которого в нем нет, мы рискуем лишиться его того, что в нем действительно содержится, - истины и силы. Оно выражает право, реальное и очевидное,

хотя и ограниченное, как это всегда бывает с правами, когда оно существует одновременно с другими правами. Это право придало силу Реставрации и даже самой Реставрации. Восстановление было результатом влияния, которое воспоминания о долгом владении и определенные моральные принципы и чувства, сопровождающие их, оказывают на умы людей. Что бы мы ни думали о праве — его происхождении, условиях, пределах, — мы должны знать, что это факт, могущественный факт, который ощущался как таковой Кромвелем и Вильгельмом III, а также в правление Карла II.

Следствием этого факта является то, что, поскольку она основана на моральной идее и поддерживается теми, кто связан с ней или произведен от нее, развитие ее силы следует искать особенно в моральном порядке, где находится ее принцип. Вызванные убеждениями, вынесенными в силу права, убеждения и права были при Реставрации естественными средствами управления. Подчиненный необходимости даже в момент триумфа, вынужденный уступить, возвращаясь к Революции, он боялся того, чего желала Революция — он должен был примирить антагонистические принципы и права; но даже это было моральной работой, чуждой его непосредственному действию, и которую могли выполнить только новые чувства и новые идеи. Бонапарт перестроил алтари и вернул торжественность публичному богослужению; и, несмотря на революционные крики, некогда не испытывали тревоги. После Реставрации католицизм стал требовать, а свободы совести бояться гораздо больше. Что должна была сделать Реставрация, чтобы защитить общество и себя от этой опасности? Могла ли она, подобно Революции или даже подобно Бонапарту, относиться к различным сообществам то с суровостью, то с самодовольством и произвольно сдерживать или разрешать их действия? Нет: это противоречило бы общей природе его институтов и потрясло бы то уважение, с которым он относился как к вере, так и к свободе. Для него был открыт другой путь: и это заключалось в том, чтобы крепко держаться за принципы религиозной свободы, провозглашать их во всех своих действиях, внедрять их в сознание каждого и, в конечном счете, сделать их одной из своих правительственных доктрин, одним из своих общественных кредо, которые, будучи действительно принятыми, повсюду действуют в соответствии со своими собственными добродетелями и поддерживают порядок почти сами по себе. Все потребности нового порядка предписывали Реставрации такой курс; и у нее было, отчасти в силу необходимости ее положения, а отчасти в силу ее природы, то, чего было достаточно для выполнения этой благородной задачи. Защита, оказываемая религиозным и моральным идеям, с его стороны, не была признанием ошибки, поскольку все эти идеи спонтанно объединились вокруг него. Уважение, с которым соблюдались права, имело для него огромное значение, поскольку оно получило свой собственный титул от права; и поддержание общественных свобод было не менее его политикой, чем их установление, поскольку оно не могло, подобно Бонапарту, претендовать на деспотизм в результате победы. В конечном счете, его состоянием и его судьбой было править, в первую очередь, с помощью моральных влияний, помогать их развитию, основывать в своей империи порядок, который, по его мнению, был восстановлен, и прибегать к силе, но редко, и то с сожалением, как к средству, чуждому его природе, необходимость которого делала его применение тяжким.

Если мы рассмотрим случаи, когда нынешнее правительство пробовало это средство, мы без труда убедимся, что естественные законы, которые им управляют, имели мало общего с его использованием. Иногда, как при малейших народных волнениях, мы видели, что к нему прибегали поспешно и в такой степени, что проявлялось не столько умение, сколько осведомленность; иногда, как при разбирательствах в Суде Пар, были заметны признаки

суровости, достаточные, чтобы вызвать сильную тревогу, но которые заканчивались всего лишь исправительными наказаниями. Движение почти всегда оказывалось выше причины, а следствие - ниже движения. Я не знаю, вправе ли нейтральный наблюдатель судить таким образом; но, несомненно, применение силы и публичные угрозы суровости потерпели неудачу как по мотиву, так и по адресу; и многие считают, что власть использовала их либо неправомерно, либо неумело. Любой из этих недостатков доказал бы, что средства управления являются ненадлежащими. Достижение успеха силой не является заслугой даже в тот момент, когда к ней прибегают; но какое правительство не использует до конца свои средства? По-прежнему необходимо, чтобы, запустив его в действие, оно оставило его общедоступным, убежденное, что это было необходимо; и что оно использовало средства настолько хорошо, чтобы сделать эту потребность более редкой. Если первое из ее убеждений терпит неудачу, власть подозревают в робости и недоброжелательности; если второе, ее обвиняют в недостатке мастерства, а применение силы ослабило ее, вместо того чтобы укрепить.

Я не буду вдаваться далее; я сказал достаточно, чтобы показать, при какой системе правления, как мне казалось, родилась Реставрация и как, пытаясь покинуть ее, она утратила бы свои преимущества, не приобретя преимуществ другой системы. Она не может укрепить себя больше судебной строгостью, чем завоеваниями. Если бы страх когда-нибудь стал механизмом его власти — если бы для того, чтобы сохранить себя, было необходимо наводить ужас на интересы, мнения и сентименты, о которых он подозревал, - тем более насущной была бы необходимость, тем более бесполезным было бы оружие, и опасность возрастала бы вместе с необходимостью. Таким образом, наше правительство все еще меньше, чем правительства других стран, может полагаться на косвенную эффективность смертной казни. Редко простое и часто в усложнении своих последствий более вредное, чем прибыльное, это средство принесло бы нынешнему режиму больше проблем, чем безопасности. Никто во Франции или в Европе никогда не подумает, что Реставрация призвана сокрушить все, чего она может бояться. Он не смог предоставить таких доказательств своей физической силы, чтобы умы людей как нечто само собой разумеющееся подчинились его частому использованию. Когда он наносит удар, многие люди склонны считать его более суровым, чем справедливый, или более опасным, чем это есть на самом деле, и его удары пробуждают не столько представление о его энергии, сколько о его опасности. Не одно правительство после серьезных репрессий считалось все еще слабым; и в таком случае оно оказывается в наихудшем из условий — в условиях власти, слабость которой провоцирует заговор и которая впоследствии пытается посредством наказаний заполнить бездны, которые открыла эта слабость. Причина в том, что сила должна существовать до того, как она начнет внушать страх; и в случае Реставрации источники силы следует искать в другом месте, а не в средствах террора. Я повторяю, что у самой власти теперь есть инстинкт этого; ибо, применяя смертную казнь, она не имеет той уверенности, той уверенности в успехе, которая является почти ее единственной гарантией. Оно вызывает, но в то же время боится чувств, которые может вызвать это меланхолическое зрелище, не чувствуя уверенности в том ужасе, который оно хочет внушить; и этот инстинкт - не ошибка, а голос природы. Оно обязано соблюдать умеренность в наказании, точно так же, как во внешних отношениях оно обязано соблюдать мир. Хартия отменила конфискацию, и Восстановление справедливо соблюдает Хартию. Я не требую отмены смертной казни; но я убежден, что в борьбе со своими врагами правительство ничего не выигрывает от этого средства, а многое выиграло бы, проявив крайнюю скупость в его использовании. Это больше не может иметь физической и прямой эффективности. Его моральная эффективность не так велика в политических преступлениях, как

в частных; оно бессильно внушить отвращение к преступлению; оно двусмысленно и приводит к самым различным результатам, когда способствует распространению страха; и оно более слабое, более неопределенное и более опасное для нынешнего правительства, чем для сил иного происхождения и положения. Достаточно ли этого? Было бы хорошо, если бы это было все. Но напрашивается много других причин и еще больше опасностей; и я продолжу указывать на них.

Глава V.

Двойной характер правительства.

Чего добивается власть, применяя смертную казнь, так это безопасности. Я показал, что этого оно не находит; но что оно часто находит то, чего не ищет и чего должно было бы избегать и всегда желает избегать.

Есть несколько простых истин, которые никто не оспаривает, которые здравый смысл немедленно признает, и все же, как только они признаются, о них забывают. Возможно, причина в том, что, будучи принятыми без обсуждения, мы не задумываемся об их последствиях.

Вот истина такого рода. Каждое правительство имеет двойной характер. Ему поручено поддерживать общественный порядок и справедливость, а также управлять делами государства, оно представляет интересы общества. Созданный из людей и, следовательно, подверженный страстям и порокам нашей природы, он имеет, кроме того, личный интерес, который заключается в исполнении своей воли и сохранении любой ценой своего существования.

Кто станет отрицать, что эти два персонажа объединены у власти, что один законен, а другой нелегитимен, и что целью институтов является принуждение правительства действовать с помощью первого и защита народа от опасностей, исходящих от второго? Кто бы мог хотя бы намекнуть на сомнение? Сама власть не осмелилась бы на это. Но в данном случае власть забывает то, чего она ни на минуту не стала бы отрицать.

Из того факта, что оно призвано действовать только в общественных интересах, сохраняя при этом отчетливый личный интерес, вытекает то следствие, что все, что оно делает в силу первого характера, укрепляет его, а все, что оно делает в силу второго, ослабляет его.

Как бы часто это ни понималось неправильно, это очевидно. Я не говорю ни о законности, ни о справедливости, ни о каких-либо моральных обязательствах. Независимо от любого мотива такого рода, ясно, что если власть действует только ради себя, в исключительных интересах своей воли или долговечности, она отделяет себя от общества, подвергается риску разоблачения, а в случае обнаружения подвергает себя забвению или даже нападению со стороны той общей силы, из которой возникла ее собственная.

То, что благоразумие предписывает власти всегда проявлять себя в социальной сфере и скрывать свой индивидуальный аспект, и что для ее существования важно при каждом удобном случае казаться представителем общественных интересов, а не служителем своих собственных, послужило бы доказательством, если бы это было необходимо, ее постоянных усилий казаться

тем, кем она не является, и сойти за орган общества, даже когда она действует вопреки ее желаниям.

Отречься от своего личного, чтобы сохранить свой социальный характер, было бы со стороны власти актом высшей добродетели. Убедить людей в том, что она действует только в общих интересах и связывает свою судьбу с их судьбой, было бы ее величайшим искусством. Держаться особняком, занятый своими собственными делами, во всей наготе своего отдельного существования, было бы в высшей степени глупо и опасно.

Было время, когда правительства могли действовать таким образом с меньшей опасностью. Когда они получали доходы из своих собственных владений, когда они владели своими военными местами как поместьем, когда они формировали армии авантюристов, привлеченных одним лишь жалованьем, и обязывались служить везде, тогда власть имела отдельное существование и форму, отличную от общественной. Будучи умелым, оно все еще пыталось идентифицировать себя со страной и таким образом получало от нее гораздо большую силу; но будучи неспособным или страстным, оно могло изолироваться, по крайней мере, на время, жить на собственные средства и сохранять некоторую реальность, теряя при этом свой общественный характер и позволяя своим личным чувствам и интересам преобладать в своих действиях и языке.

Но это время прошло: власть, которая не может жить сама по себе, больше не может жить сама по себе. Все притягивает ее к обществу. Хочет ли оно денег? — общество должно их дать: законы? — общество должно их одобрять. Если он действует, его поступки оцениваются; если он говорит, его слова комментируются: общественность постоянно давит на него по правилу необходимости. Как представитель общества, его сила может быть велика, больше, чем когда-либо; но если он особенный и изолированный, то это шифр. Будучи одиноким сегодня, завтра он будет ничем.

Следовательно, оно в наибольшей степени заинтересовано в том, чтобы избежать любых проявлений эгоизма и сделать так, чтобы его общественный характер явно преобладал над индивидуальным.

Но есть черты, которые присущи одному из этих персонажей в большей степени, чем другому, симптомы, которые выявляют последнее, но не первое. Применение смертной казни в политических целях относится к этому виду. Это провозглашает преобладание личного существования власти над ее социальным существованием и показывает, что она занята собой и борется с опасностью, которая, возможно, угрожает только ей самой. А что более естественно? Когда мы смотрим на историю и спрашиваем, почему на политических эшафотах было пролито так много крови, дух общества прошлого редко поднимается, чтобы ответить: "Эта кровь была пролита за меня". Правительства почти всегда сами дают отчет в этих наказаниях: ими руководили их собственные страсти, ошибки, интересы; и после самих жертв больше всего пострадало общество. Я знаю, что перспектива такой будущей ответственности мало беспокоит власть, и не столько потому, что она порочна, сколько потому, что, подобно людям, она безрассудна; но мы, по крайней мере, извлекли из этого знание, что потребности власти, которая убивает, часто ложные по отношению к самой себе, почти всегда таковы по отношению

к обществу; и что если она должна убивать в свою защиту, эта защита необходима просто потому, что она желала того, что не отвечало никаким интересам, кроме ее собственных.

Это знание, прежде мало распространявшееся и почти ограничивавшееся моралистами, теперь популярно; оно стало своего рода инстинктом, который раскрывает нам во всей их полноте положение и иллюзии власти. Когда говорят, что иллюзии того, что мы называем монархией, рассеяны, а ее престиж исчез, мы не знаем, насколько верить. Однако на самом деле дело не в иллюзиях и престиже; дело в том, что меняются сами вещи: расширяется каждая сфера существования или действия; и то, что было частным, становится общим не только для общества и его гарантий, но и для правительства и его выгоды. Гражданин, чьи дела мало отвлекали его от работы в его корпорации, чьи мысли редко выходили за пределы стен его города, теперь осознает, что он вовлечен в дела высочайшей важности и в самые сложные обсуждения и идет на компромисс с ними. Слова *"суждение государства"*, *"политическая необходимость"*, которые раньше звучали в его ушах так, что он не понимал их смысла, хотя и признавал их главенство, пробуждают в нем идеи, которые беспокоят, и чувства, которые волнуют его. У него действительно есть основания волноваться больше, чем раньше; ибо это правительство, у которого тогда была своя сфера деятельности, более высокая и масштабная, но также более особая и ограниченная, само по себе стало гораздо более общим, более прямым, более универсально связанным с интересами и жизнью каждого гражданина. Требуется ли это денег?—Оно требует их от всех. Издает ли оно законы?—Они для всех. Есть ли у него страх?—Возможно, его цель - все. Различия в природе большого и малого больше не существуют для власти: она имеет отношения как к городским властям, так и к главам государства; она должна повсюду производить эффект и везде получает тот или иной мотив для действий. И что удивительного в том, что состояние правительства и настроения народа изменились? Эти изменения взаимны и соответствуют друг другу. Если власть больше не является тайной для общества, причина в том, что общество перестало быть тайной для власти: если власть повсюду встречается с умами, которые претендуют на то, чтобы судить ее, то это потому, что она ежедневно соприкасается с этими умами; если они требуют, чтобы ее поведение в каждом случае было законным, то это потому, что в ее распоряжении вся мощь страны; если общественность больше занимается правительством, правительство аналогичным образом воздействует на совершенно иную общественность, и власть усиливается так же, как и свобода.

На что же тогда вы жалуетесь? Неужели у вас так мало амбиций, что это вызывает у вас неудовольствие! Это правда, что вы потеряли независимость, которая присуща частной жизни: вашим страстям и вашим личным интересам больше не может быть места в новом порядке, который вас окружает; вы не можете прислушиваться к их голосу, если он не будет известен, или подчиняться их диктату, не подвергаясь упрекам в невыполнении вашей миссии. Но какая у вас миссия! Если вы находитесь в гармонии с обществом, все общество сосредоточено и отражается в вас. Полностью предлагая себя вам, оно просит вас жить только для него. Раньше вы могли доверять только искусственной политике, исходящей из идей или желаний одного человека и пытающей народы, чтобы приспособить их к планам, о которых они ничего не знали. Но теперь политика должна быть истинной, то есть национальной, и сдерживать капризные действия или произвольные концепции отдельных людей. Но какая сила, какой блеск, какая энергия присущи истинной национальной политике! Какая власть является наилучшей — та, которая представляет интересы и волю народа, или та, которая осуществляет только мысли и отвечает только интересам человека? Я признаю, что принимаю решение без колебаний.

Колебания, однако, не имеют большого значения. В настоящее время я настаиваю на этом новом состоянии общества только для того, чтобы доказать, что власть не свободна в выборе; и что, если бы ее поведение казалось продиктованным потребностями ее личной ситуации, а не общественными, которые должны проявляться в ней, она вскоре впала бы в глубокую слабость; ибо обществоскоро осознало бы, что оно отделено от судьбы, а также интересов общества, и действует только для себя. И как можно предположить, что смертная казнь, применяемая политически, не пробудит эту идею в обществе! Я знаю, бывают страшные времена, когда люди сами призывают к ней и оправдывают ее. Я не верю, что нации защищены от тех ужасных болезней, которые порождают человеческие страсти и ошибки. Но кризис такого рода случается редко и не длится долго; и именно тогда, когда он все-таки имеет место, смертная казнь становится наиболее одиозной. Вспомните взрыв добрых чувств, с которыми Франция обратилась к эмигрантам, несмотря на все недоверие, прошлую враждебность и всевозможные предрассудки, революционная политика была свергнута, потому что она не могла ни стать справедливой, ни оставаться жестокой. С этого периода смертная казнь была в руках политиков оружием, которое скорее компрометирует власть, чем служит ей, и к которому власть прибегала лишь в тех случаях, когда подвергалась опасности из-за себя и своих собственных ошибок. Можно было бы сказать, что общество, напуганное увиденным, больше не желает брать на себя ответственность за какое-либо политическое наказание, но твердо намерено верить, что, если оно должно быть применено, только правительство нуждается в инструменте, который его собственные ошибки сделали необходимым. И это особенно верно в отношении правительства, которое появилось не вчера, но уже выстояло и способно занять свою истинную позицию. Если бы сейчас она только пробивалась к жизни, мы могли бы с сожалением подумать, что у нее не было времени стать известной или рассеять своей мудростью окружающие ее опасности, и что примеры все еще необходимы, а суровость сегодняшнего дня лишь предвестники завтрашнего мира. Но если правительство существует достаточно долго, если законные средства и досуг не утратили своего влияния, если оно смогло проявить себя мудрым и стать сильным благодаря гармонии с обществом, тогда заговоры не могут возникнуть снова, а наказания не возобновиться, если общество немедленно не оттолкнет от себя как необходимость, так и вину. Тогда власть снова приобретает этот личный и изолированный характер, который ее разрушает: это больше не социальная власть; и общество, вместо того чтобы видеть свое собственное отражение, видит только интересы, которые не являются его собственными, желания, которые оно отрицает, и намерения, в которых оно не участвует. Справедливость такого правительства не является истинной справедливостью, и его потребности не являются реальными потребностями.

На самом деле, в политических наказаниях, как и в других вещах, есть истинная справедливость и необходимость, часто отличные от юридической справедливости и потребностей власти. Правительства давно перестали беспокоиться по этому поводу. В варварские времена — а они длились очень долго — юридическое правосудие, казалось, вообще не требовалось; достаточно было личных потребностей власти. Когда на нее нападали, она имела полное право защищаться, и казнь заговорщика требовала не большей задержки или формальности, чем смерть врага. Однако постепенно в государственную политику была внедрена юридическая справедливость, люди начали думать, и власть была вынуждена признать, что существуют и другие вещи, помимо войны, и что против преступлений такого рода, как и против любых других, необходимы законы, формы, доказательства и судебные решения. Это был огромный прогресс, и сейчас он приближается к своему завершению. Но карьера прогресса еще не остановлена —

общественный крик по-прежнему звучит так: Продолжайте! Законы, регулирующие наказание за политические преступления, могут быть недостаточными или даже плохими; а требования, которые отдают виновных в руки законов, могут быть ложными. Общество склонно предполагать это, особенно когда речь идет о смертной казни. Подозревая, что власть изолирована от него и руководствуется только своими интересами, она в то же время убеждена, что этого интереса недостаточно для легитимизации наказаний и что власть не имеет права защищать себя любым способом. Достаточно просвещенное, чтобы знать, что непогрешимая справедливость не принадлежит никакому закону, и что, если бы законы даже не были ошибочными сами по себе, ошибки людей исказили бы их в их управлении, общество теперь не полагается ни на личные желания власти, ни на законность ее процессов. У него были бы эти потребности, основанные на разуме, и эти процессы справедливости. Независимо от того, получит он это или нет, его требования продолжают; ибо он осознает справедливость долга, и, хотя ему отказывают, он не забывается. Более того, разве ни одно политическое осуждение, вынесенное законным путем, не преуспело в наши дни лучше в убеждении народа в его необходимости и справедливости, чем самые произвольные казни прежних времен? Пусть власть не принимает по ошибке это новое требование общественности; ибо оно является мощным и необратимым и связано со всем прогрессом и всеми моральными потребностями цивилизации и человеческого разума. Пусть оно не льстит себе мыслью спастись, укрывшись за законами: оно давно отвергло их иго, и теперь оно сделало бы их щитом, когда его будут бить в открытом поле, и овладело бы вооруженными против него цитаделями, и тогда считало бы себя неприкосновенным. Но его будут преследовать до этого убежища, которое, как будет показано, не раз осквернялось обманом и беззаконием. Суд может утверждать, что наказание было законным; но его спросят, было ли оно справедливым или необходимым. Действительно ли это так политически? И в каком случае, и при каких условиях? Мы должны снизойти до этих вопросов, ибо общественная мысль сама снизойдет до них и получит ответ. Правительство, которое не интересовалось бы подобными вопросами, но говорило бы вместе с Пилатом— "Я умываю руки от крови этого человека: позаботьтесь об этом", - такие правительства скоро поняли бы, что им не спастись; что никакой обман, никакие законы не могут спасти от надвигающейся опасности власть, одновременно эгоистичную и лицемерную, которая, отделяя себя от общества и истины, создает для себя правосудие, которое не является истинным правосудием, и необходимость, которая не является потребностью страны.

Глава VI.

Правосудие.

Нужно ли мне говорить, что если бы существовало правосудие, предшествующее юридическому правосудию и превосходящее его, юридического правосудия не было бы. Монтескье сделал эту главную истину главной идеей своей книги: "Сказать, что нет ничего справедливого, кроме того, что предписывают или запрещают позитивные законы, - все равно что сказать, что лучи не были правильными до того, как была очерчена окружность". Было бы странно, если бы естественная справедливость, в силу которой существует юридическая справедливость, перестала существовать с момента написания последней. Но оно не перестает

быть или даже говорить; в принципе, у него есть свои общие условия и в каждом случае своя особая воля, которую юридическое правосудие обязано выполнять.

Сейчас я упомяну о ходе борьбы между ними; но сначала мы должны выяснить, что такое истинная справедливость, прежде чем предполагать, что она не может получить желаемого. С точки зрения морали, в каждом действии есть две части — мораль самого действия и мораль действующего лица. Нравственность поступка зависит от его соответствия вечным законам истины, разума и морали, которые ни один человек не знает полностью, но только стремится познать, оценивая в соответствии со степенью этого знания достоинства или недостатки человеческих поступков. Нравственность действующего лица заключается в намерении, то есть в том представлении, которое он сам составил о нравственности действия, и в чистоте мотивов, которые побуждают его к его осуществлению. Когда эти два фактора расходятся, этот факт проявляется в повседневном поведении и общем языке людей. "Он поступил плохо, - говорят они, - но он намеревался поступить хорошо"; то есть действие может быть абсолютно виновным, и все же агент лично невиновен.

Но рассмотрит ли Божественное правосудие только намерение? или оно накажет за ошибку? Я не осмеливаюсь решать. Ошибка часто вызывается тщеславием, страстью, озабоченностью личными интересами или гордыней — то есть тем, что неправильно. Как это неправильное влияет на индивидуальное неосознание ошибки? Людям редко дано решать этот вопрос; только Бог может ясно заглянуть в глубины совести. Но несомненно то, что суждение человека не может ни снять вину с действия из-за намерения действующего лица, ни осудить действующего лица без учета намерения. Такова воля нашей природы.

Будучи не в состоянии решить такую проблему, правовое правосудие обязано действовать так, как если бы ее не существовало. Оно объявляет определенные действия виновными и наказывает тех, кто их совершает, не утруждая себя выяснением, виновны ли они в намерениях или нет. И в этом нет упрека юридической справедливости; ибо последствия дурных поступков сами по себе настолько губительны для общества, что оно не может уступить индивидуальному мнению право принимать решения в отношении них: оно провозглашает их природу и заботится о том, чтобы соблюдались его законы.

Но здесь следует сделать два замечания. Во-первых, что общество, таким образом абсолютно обвиняющее определенные действия, должно быть правым в своих осуждениях; и, во-вторых, что, хотя законы не могут быть поставлены в подчинение намерениям отдельных лиц, они не могут отменить этот элемент человеческого суждения; и когда, следовательно, при их применении они имеют несчастье наказывать за явно чистые намерения, оскорбляется естественное чувство справедливости. Таким образом, юридическое правосудие подвергается двойному риску — риску ошибиться в своих общих обвинениях и риску столкнуться при применении своих правил с конкретными фактами, в которых имеет место обстоятельство, которое оно не принимало во внимание, и которое, тем не менее, будет мощно воздействовать на разум человека — честность намерений. Если и существует какой-то вид деяния, в котором это двойное препятствие на пути юридического правосудия наиболее реально и очевидным, то, безусловно, это политическое преступление. Я уже говорил, что характер такого преступления изменчив и даже условен, и что, более того, трудно принять решение и оценить его справедливо. Кто не знает также, что нигде так легко не ошибиться и что самые чистые

намерения здесь часто связаны с самыми аморальными поступками! Некоторые люди, пораженные этими фактами, зашли так далеко, что думают, что с моральной точки зрения политических преступлений не существует; что их создает только сила; и что удача или невезение является критерием их виновности. Я ни в какой степени не разделяю эту идею. Она зарождается в те несчастливые времена, когда обязанности и права граждан исчезают или, так сказать, затемняются под покровом деспотизма или в буре революций; но свет не перестал быть оттого, что его скрыло затмение. Попытка сменить установившееся правительство, даже если она не была связана с каким-либо частным преступлением, может в высшей степени объединять два общих признака преступления — безнравственность деяния и порочность намерения. Таким образом, не имеет большого значения, что его цель носит политический характер; в не меньшей степени это настоящее преступление, которое должно быть наказано, и, возможно, по справедливости. Ни восстания, ни заговоры не имеют привилегии невинности; и если добродетель часто уступала в своем сопротивлении тирании, история не испытывает недостатка в преступных заговорщиках.

Что несомненно, так это то, что ни при каких обстоятельствах юридическое правосудие не бывает более подвержено отклонениям от естественного правосудия и не испытывает больших трудностей в отождествлении себя с ним. Как можно видеть, я оставляю за скобками все, что развращает само юридическое правосудие; я не пользуюсь страстями ни власти, ни судей, ни предоставляемой возможностью искажения законов, ни препятствиями, с которыми может столкнуться защита обвиняемого, несмотря на строгое соблюдение форм. Предположим, беспристрастность и свобода повсюду, и все же я говорю или, скорее, вижу, что даже тогда и в силу природы вещей истинная справедливость находится в опасности. Моральные достоинства или недостатки такого деяния не имеют той степени определенности, которая присуща частному преступлению: они зависят от бесконечного числа обстоятельств, которых не может достичь предусмотрительность закона. Рассмотрение намерения имеет здесь больше силы, чем где-либо еще; ибо сомневаться легче, мотивы менее прямо личные, причины иллюзии более насущны, а страсти, возможно, менее нечисты. Что помешает этим фактам, поскольку они являются фактами, воздействовать на общественное сознание? Кто помешает ему увидеть их и принять во внимание? Чем больше трудностей возникает у судей при адаптации законов, тем больше граждане, которые также судят, будут шокированы, увидев, что законы безразличны к причинам, влияющим на их собственное суждение. Несовершенство юридической справедливости заявит о себе во всей своей полноте; и, в самом деле, что такое несовершенство справедливости, как не несправедливость?

Это чувствуется: власть не замедлила понять, что, ставя себя таким образом на моральную почву, рассматривая действия в их связи с законами вечной морали и намерениями их авторов, она часто сталкивалась с большими трудностями в защите и доказательстве законности своих решений. Была предпринята попытка обмануть инстинкт людей, ускользнуть от их расположения, сравнить законное правосудие с естественным, и, чтобы преуспеть в этом, вопрос был перенесен в другое место. Власть заняла свою позицию в социальных интересах и поддержании порядка; она представила преступления как причиняющие вред, а не наказуемые; и, избегая абсолютной справедливости наказаний, она заботится об их полезности.

Я мог бы многое сказать по поводу такой постановки вопроса, но я должен поспешить к своему концу и не сделаю ничего большего, чем укажу на ошибку. Неверно ни то, что преступления

караются особенно как причиняющие вред, ни то, что основным соображением при назначении наказания является его полезность. Попробуйте осудить и наказать как вредное деяние, которое все считают невинным, и вы увидите, насколько сильно вы возмутите умы людей. Люди часто считают поступки преступными и наказывают их как таковые, когда они таковыми не являются; но они не могут вынести вида наказания, нисходящего от человеческой руки на поступки, которые они считают невинными. Только Провидение имеет право сурово обращаться с невинностью, не принимая во внимание ее мотивы. Это удивляет и беспокоит человеческий разум, который, зная, что не может постичь здешнюю тайну, ищет объяснения за пределами нашего мира. Но на земле, где действующими лицами являются люди, наказание имеет только право на преступление. Никакие общественные или частные интересы не могут заставить общество, каким бы беспорядочным оно ни было, поверить в то, что там, где нет преступления, закон все равно может наказать, чтобы предотвратить опасность. Таким образом, моральное оскорбление является фундаментальным условием наказания. Человеческое правосудие требует этого властно, прежде чем признает законность наказания; и юридическое правосудие обманывает, когда, чтобы освободиться от требований естественного правосудия, оно приписывает себе другой принцип и другую цель и притворяется, что находит их полезными. Но оно не может таким образом уйти от своего названия, которое есть справедливость, и стать просто комбинацией, более или менее искусной, средств защиты в интересах того или иного интереса. Они заключают в тюрьму безумца, лишившего себя жизни, но не наказывают его; потому что, будучи неспособным к разуму и ответственности, он неспособен и на преступление. Итак, пусть уголовные законы не надеются избежать под предлогом общественных интересов обязанности соответствовать правилам естественной справедливости: им всегда придется подчиняться этому критерию, будь то в их общности или применении; и когда власть судит и наказывает, она не может ни изменить условий, при которых формируются суждения моральной справедливости, ни отклониться от них, не вызвав всеобщего чувства беззакония. Поняв это и вернув таким образом юридическую справедливость в империю естественной справедливости, я признаю, что социальный интерес также является одним из мотивов, определяющих правонарушения и наказание за них. Это не первое, поскольку оно не имело бы ценности, если бы ему не предшествовала моральная реальность преступления; но это второе, поскольку общество имеет право осуждать и наказывать все, что одновременно является виновным, причиняющим вред и по своей природе подлежит подавлению законами. Моральная преступность, социальная опасность и эффективность уголовного правосудия - вот три условия уголовного правосудия, три характеристики, которым должны соответствовать действия, которые оно осуждает, и наказания, которые оно налагает.

Это истинная основа, на которой устанавливается юридическая справедливость. Она участвует в нашем величии и наших страданиях. Это связано одновременно с возвышенной природой человека и немощью его состояния. Это не может быть чистой моральной справедливостью; но она обязана сохранять свою главную характеристику наказания только тех, кто морально заслуживает наказания. При этом условии оно обязуется подавлять все, что вредит обществу; и в этом замысле, принципом которого является интерес или, если угодно, земная необходимость, оно сталкивается с другим ограничением и подчиняется другому условию — эффективности средств, которые оно использует для предотвращения зла, которого оно боится, — или, другими словами, эффективности писаных законов и внешних наказаний.

Теперь я подхожу к вопросу, сведенному таким образом к его истинным элементам, и исследую, что является истинной юридической справедливостью в отношении политических преступлений, и особенно в отношении смертной казни.

Прежде всего позвольте мне заметить, что из двух составляющих каждого преступления — аморальности деяния и общественной опасности — чем больше последнее преобладает над первым, тем более сомнительной становится законность смертной казни, а ее применение жестоким. Есть преступления настолько очевидные и отвратительные, что инстинктивное чувство людей требует смерти виновных как единственного наказания, соразмерного содеянному. Но один взгляд покажет, что это не те преступления, которые могут подвергнуть общество большой опасности. Они оскорбляют естественные чувства и моральные законы и демонстрируют в преступнике такую степень порочности или свирепости, на которую наша природа не желает смотреть, как если бы было невыносимо осознавать, до какой степени порочности и бесчестия это могло дойти. Социальная опасность - это сложная идея, плод размышлений и знаний, которая не пробуждает в человечестве такой спонтанной и яростной антипатии. Если бы во всех преступлениях два принципа преступности были одинаково и точно сбалансированы, у уголовных законов было бы мало проблем. Но это не так; ибо преступления, так сказать, разнообразны по составу: в одном преобладает безнравственность, в другом опасность; и в соответствии с соотношением этих двух элементов преступления наказание должно варьироваться не только ради справедливости, но и потому, что общественное чувство ожидает этого и не увидит справедливости в наказании ни при каких других условиях. Но поскольку смертная казнь является самым суровым из всех наказаний, и тем более сейчас, когда человеческая жизнь более широко уважается, она, естественно, применима только к преступлениям такого рода, которые, возможно, спровоцировали бы ее применение, даже если бы они были исключены из законов. Там, где социальная опасность является основным элементом преступления, смертная казнь больше не основана на нашей моральной природе; она чрезмерна как с точки зрения правосудия, так и с точки зрения общественного мнения.

Все признают, что, вообще говоря, политические преступления находятся в таком положении. Они могут быть отвратительными, но, в общем, они опасны; и именно за этот последний характер закон наказывает их со всей строгостью. Позвольте мне поинтересоваться, является ли смертная казнь необходимой или даже полезной мерой наказания. В данный момент я занимаюсь вопросами правосудия. Но не во власти какого-либо закона установить, что, по мнению людей, справедливость наказания должна оцениваться главным образом в соответствии с моральной тяжестью преступления; и эта мера справедливости тем более естественна, что наказание наиболее сурово поражает личность виновного, который ему подчиняется. Правосудие, которое приговаривает к смертной казни из-за социальной опасности, когда моральное преступление слабое или сомнительное, несет в себе несправедливость; и если бы случилось, как это иногда случается в политических делах, что намерение обвиняемого было чистым или, по крайней мере, простительным - что он ошибся в моральном характере своего поступка и что его ошибка проистекала из бескорыстных иллюзий, — тогда смертная казнь сразу приобрела бы видимость беззакония. Это было бы уже не наказание, а принесение человеческой жертвы земным и смертным богам.

Раньше это имело свое оправдание, я не скажу, что в буйстве политических страстей, ибо это буйство есть и будет еще большим, но в их личности. Политическая борьба, как и война, раньше была борьбой человека с человеком, между соперниками, почти равными по силе, и жизнь была связана с судьбой власти. Таким образом, смертная казнь появилась как разновидность закона возмездия, аналогичного не только состоянию идей, но и реальности. Опасность была такой же близкой и личной, как в бою. Это настолько верно, что большая часть законов варварства — столь скрупулезных в вопросах частных преступлений, столь внимательных в регулировании возмездия в соответствии с характером и размером преступления — не упоминает о смертной казни по политическим мотивам. Правосудие не имело права вмешиваться сюда: речь шла о войне, и опасность была настолько очевидной и насущной, что право на возмездие было слишком очевидным, чтобы требовать его закрепления в законах. Позже это было написано и даже облечено в определенные формы; но это все равно было возмездием, ибо политические преступления никогда не угрожали власти, не угрожая сначала жизням людей, а политическим опасностям всегда предшествовали личные. Таким образом, власть имела все права на личную защиту; но в настоящее время условия опасности, как и условия власти, изменились. У короля Франции больше нет врагов в соседних замках, поджидающих в засаде, чтобы схватить его, заточить в тюрьму и, возможно, убить, и это даже без надежды воцариться вместо него, а просто из алчности, из мести, за возвращение владений или за права, которые он оспаривал или которые он у них отнял. Большинство заговоров расплывчаты, и между правительством и его врагами воздвигаются тысячи барьеров. Вместо индивидуальной и определенной опасности обычно речь идет о сложной и социальной опасности, состоящей из запутанных проектов и средств действия, часто нелепых. Как можно думать, что преступления такого рода требуют смертной казни так же ясно и громогласно, как это было раньше? Такие преступники, готовя преступление, ставили себя как бы у подножия эшафота, воздвигнутого их собственными руками. Теперь этот эшафот воздвигается с большим трудом, и преступников почти всегда приходится тащить к нему издалека и заставлять подниматься на глазах у публики, которая не видела ни издали, ни вблизи ни преступления, ни опасности. Я не верю, что состояние власти стало хуже, чем было; но если оно стало лучше, то благоприятная перемена должна принести пользу не только власти, но и справедливости. В настоящее время правосудие очень редко санкционирует применение высшей меры наказания в отношении тех преступлений, в которых больше общественной опасности, чем морального порока. Что произойдет, если мы глубоко осознаем саму опасность? Это мотив наказания, фундаментальный элемент преступности; и этот элемент должен быть, по крайней мере, мощным, а мотив иметь те масштабы и реальность, которые ему приписываются.

Сейчас я непосредственно коснусь этого вопроса; и поэтому я замечу о нем здесь лишь вскользь и в отношении его влияния на справедливость смертной казни. Заметьте, речь идет о социальной опасности. Я сам мыслю законами. Когда общественный порядок находится под угрозой, а общие формы правления или лица, которые их представляют, подвергаются нападкам, в опасности оказывается само общество. Правительство должно быть действительно плохим, и никто не может сказать, *насколько* плохим, прежде чем общество предпочтет ужасный шанс отвлечься даже малейшей надежде на реформы. Существуют деяния и тайны, скрытые Провидением под завесой, которую оно одно может приподнять.

Признав это, я по-прежнему настаиваю и повторяю, что речь идет об общественной опасности. Для того чтобы общество могло предположить опасность, оправдывающую смертную казнь, эта опасность должна быть его собственной, и в опасности власти оно должно видеть свою собственную опасность. Какими бы утомительными ни стали эти слова, все же необходимо повторить, что власть существует только для общества и что все ее права соответствуют ее миссии.

Но вполне ли очевидно, что общество действительно так часто подвергается опасности, как считает власть? Вполне ли очевидно, что опасности, которых страшится власть, действительно являются теми, предотвращение которых является целью уголовных законов? Разве не возможно, что они не столь велики и, возможно, вовсе не совпадают с теми, которые казались достаточно серьезными и частыми в отношениях между властью и обществом, чтобы сделать смерть законным наказанием?

Я ничего не утверждаю, ибо здесь ничего нельзя утверждать вообще и заранее; но я считаю, что опасность по своей особой природе является основным элементом преступности, и я признаю за ней двойной характер. Нет уверенности ни в том, что она действительно существует, ни в том, что это действительно социальная опасность, против которой направлены законы.

Те же различия, которые отделяют политические преступления от частных в их отношении к морали, все еще отличают их в их отношении к общественным интересам. То, что убийство и воровство всегда одинаково вредны для общества и влекут за собой моральную ответственность, никогда не подвергается сомнению и остается правдой, каковы бы ни были недостатки или заслуги правительства. Нет никакой связи между поведением власти и опасностью, возникающей для общества в результате преступлений такого рода. При тирании, как и при самом либеральном режиме, существует та же опасность во всех ее масштабах и интенсивности.

В случае политических преступлений, напротив, опасность — я имею в виду социальную опасность — варьируется в зависимости от поведения власти и преимуществ, извлекаемых из нее обществом. Конечно, в 1802 году Франция находилась в большей опасности из-за падения Бонапарта, чем в 1814 году; ибо в 1802 году Бонапарт верно служил Франции как дома, так и за границей, в то время как в 1814 году он скомпрометировал и угнетал ее. Я не придаю значения постоянной и слепой враждебности к власти; но власть, в свою очередь, не имеет права притворяться, что ее всегда будут считать одинаково хорошей и одинаково необходимой, и что ее опасности всегда одинаково опасны для общества.

Таким образом, в самой природе той социальной опасности, во имя которой они готовы лишиться себя жизни, есть одна причина неопределенности. Вот вторая причина. В частных преступлениях, как я уже говорил, в то же время, когда злой и причиняющий вред характер преступления несомненен, его реальность несомненна. Совершено убийство или ограбление, и ведется розыск преступника. Несомненно, что было совершено преступление против морали, и общество подверглось опасности, и на кого падет наказание? В политическом вопросе, как мы видели, часто ставится под сомнение реальность даже преступления; и общественная опасность также является предметом спора. Есть люди, обвиняемые в заговоре, и для того, чтобы их осудить, должно быть доказано, что заговор имел место, или, другими словами, что

общество подверглось опасности; и если заговор не будет доказан, то и опасность не будет таковой, по крайней мере, в глазах закона. В то время как в других случаях порочность, опасность и реальность преступления являются положительными данными, на основании которых выдвигается обвинение, здесь обвинение выдвигается первым и может быть рассмотрено без наличия юридического преступления, социальной опасности или злого деяния вообще.

Я всегда исхожу, и иначе поступить невозможно, из гипотезы, что опасность общества и опасность власти - это одно и то же. Это единственная законная гипотеза. Это полностью установлено, когда власть хороша; и пройдет много времени, прежде чем она станет настолько плохой, что общество сможет обоснованно желать ее падения; и в течение огромного промежутка времени, разделяющего эти два этапа ее карьеры, не подлежит сомнению, что власть имеет право использовать для своего собственного сохранения законы, установленные для сохранения общественного порядка в ее собственном лице. Но если власть утрачивает это право только из-за более тяжких преступлений или более абсурдных ошибок, ее ошибки до этой роковой эпохи не перестают оказывать влияние; они оказывают безошибочное действие, ослабляя чувство общества относительно опасности, исходящей от власти и от нее самой, и, таким образом, они привносят в юридическое правосудие, особенно когда оно сурово, меру или, по крайней мере, видимость беззакония. Когда правительства отделяют себя от общества и чувствуют, что общество отдаляется от них, они льстят себя надеждой, что смогут вернуть его суровостью по отношению к его врагам. Они ошибаются. Общество судит о серьезности ситуации по тому мнению, которое оно имеет о своей собственной опасности, а не по тому, которое оно формирует у них. Если бы применялись только умеренные наказания, оно, возможно, сочло бы их справедливыми; ибо, хотя общество и недовольно властью, оно не желает ее разрушения и не думает, что потеряло всякое право использовать законы в свою защиту. Но если правительство использует законы так, как если бы общество находилось в полной гармонии с ним, это пробуждает и укрепляет чувство несогласия, углубляет пропасть, которая уже разделяет их, и позволяет пройти времени для заполнения ее другими средствами.

Таковы условия, которым подвергается юридическое правосудие в политических делах; таковы факты, среди которых оно действует, не имея возможности вырваться из их плена. Это имеет отношение к преступлениям, моральная порочность которых иногда сомнительна, в которых намерение может быть простительным и которые вызывают больше опасности, чем отвращения. Следовательно, оно должно скорее учитывать опасность, чем безнравственность, и желать предотвращения опасностей, которые не всегда равны или бесспорны, и, возможно, не представляют одинаковой угрозы для власти и общества — таким образом, заставляя общество сомневаться в справедливости наказаний и придавая власти атмосферу эгоизма и изоляции, губительную, особенно в наши дни, для ее силы. Когда законное правосудие призвано выносить приговор по таким преступлениям, оно оказывается перед лицом естественного правосудия, которое учитывает каждую мысль, взвешивает каждый факт и говорит так громко, что ему необходимо неукоснительно подчиняться. Каков в таких обстоятельствах характер смертной казни? Все, что в противном случае могло бы придать ему определенную степень легитимности, не делает этого здесь не только в глазах внимательного разума, но и спонтанного инстинкта людей; и в то же время оно сталкивается со всем, что может сделать его несправедливым, подозрительным и отвратительным; оно направлено против

опасности и преступления, но без уверенности нанести удар по законной опасности или истинному преступнику; и для того, чтобы добиться справедливости, оно имеет тысячу шансов совершить беззаконие. И пусть власть не утверждает, что эти шансы лишь малозаметны; пусть она не льстит себе мыслью, что общественность не осознает их, и не проявляет себя в отправлении правосудия менее требовательной, чем того требует правда. Общественность многое знает о своих собственных правах и о правах истинного правосудия; и тому, о чем она все еще не знает, ее научат. Все подобные вопросы будут выдвигаться и обсуждаться снова и снова. Люди научатся понимать их, и они будут настаивать на правах, которыми, как они обнаруживают, обладают. Их интересы, чувства и даже страсти помогут правде проникнуть в их умы; и по мере того, как она будет завоевывать популярность, смертная казнь, спасаясь от правосудия, будет искать убежища в последнем убежище, где она сможет защитить себя — в потребностях если не общества, то, по крайней мере, власти, — и туда мы должны следовать за ней.

Глава VII.

Необходимость.

Я мог бы обойтись без этой части вопроса. Если смертная казнь малоэффективна, и я думаю, что доказал этот факт, как она может быть необходима? Однако я взгляну на этот вопрос, даже рискуя столкнуться с косвенными путями, которые привели меня к нему.

Пусть не забывают, что я не предлагаю законодательно отменить смертную казнь. Если бы я потребовал этого, мне бы должным образом ответили, что существование таких наказаний необходимо, хотя их применение может быть редким; и тогда мне пришлось бы доказать, что не только нет необходимости в смертной казни, но и что абсолютно бесполезно прописывать ее в законах. Я признаю, что это два различных положения, которые не зависят друг от друга, и в последнее я не вмешиваюсь. Я не ломаю этот рычаг смертной казни в руках власти, я просто утверждаю, что в целом его применение неправильно. Итак, я очень свободно исследую то, что называется его необходимостью; ибо, если, в общем, этого не существует, хорошо бы это знать; и если когда-либо это будет реально, мы не причиним вреда.

Я показал, что эффективность наказаний варьируется в зависимости от времени, нравов и различных состояний цивилизации. То же самое происходит и с их необходимостью, не только потому, что они необходимы только тогда, когда эффективны, но и по более прямым причинам. Прежде общественная сила была невелика, а индивидуальная велика и распушенна; и суровость наказания компенсировала недостаточность средств власти. Мудрейшие короли древности издавали страшные законы против малейших беспорядков. Были ли они неправы, поступая таким образом? Я думаю, что нет. Физический порядок повсюду встречался с врагами, способными его разрушить, и всегда готовыми попытаться его разрушить. Центральная власть без администрации, без полиции, лишенная даже главных прав суверенитета и сведенная к личным ресурсам суверена, не могла защитить общество или даже саму себя, не противопоставляя физическую силу физической силе; и очень часто жестокость законов и количество наказаний доказывали только ее мудрость и желание защитить общество. Хроники тех времен также особенно восхваляют как справедливых и популярных тех князей, которые

сурово и часто наказывали. Подобно первым героям Греции, они были заняты очищением общества от бандитов и чудовищ.

Но что бы общество наших дней подумало о власти, которая для поддержания порядка прибегла к таким средствам? Оно сочло бы такую власть одиозной и безумной; и это потому, что средства поддержания порядка изменились вместе с социальной конституцией. С одной стороны, порядок поддерживается как бы сам по себе общей регулярностью нравов, универсальностью труда и общественным знанием истинных социальных интересов; с другой стороны, общество сконцентрировано: общественная сила огромна, а индивидуальная сила мала и малоагрессивна. Каждый физический ресурс и каждое моральное влияние отданы в руки власти: она распоряжается богатствами страны, ее магистратами и ее солдатами: нет никого слишком великого или безвестного, чтобы не бояться этого. Оно повсюду и везде готово предотвратить преступление или опасность. В чем большое достоинство этого нового положения?— Поддержание порядка ценой малой крови. Когда беспорядки были большими и всеобщими, остановить их могло не пролитие крови: Бонапарт устанавливал порядок во Франции хорошим управлением, а не наказаниями. Пятьюстами годами ранее, после кризисов, гораздо менее важных, чем революция, они окаймляли дороги виселицами, и часто безуспешно.

То, что верно в отношении потребностей социального порядка, также верно, и даже в большей степени, в отношении потребностей политического порядка. Власть теперь может защитить себя ценой гораздо меньшей крови, чем общество.

Но давайте внимательнее рассмотрим различные характеры старых и нынешних опасностей, связанных с властью. Откуда раньше исходили опасности, подстерегавшие монарха или даже министра? От своих соперников и соперниц. Дом Йорков оспаривает корону у Дома Ланкастеров, и если один из них уничтожит другого, он будет править в безопасности. Карл VII. у него был фаворит Джиак, которого констебль Ричмонда часто "поносит", судит без суда и следствия и приговаривает к смерти; а затем констебль возвращается, чтобы осуществлять власть над королем, которую он обеспечил себе убийством. Кардинал Ришелье борется с опасностями того же рода и защищает себя аналогичными средствами. Те, кто угрожает людям, обладающим властью, - это те, кто желает ею обладать. Политические вопросы почти всегда возникают между отдельными людьми; и смерть, которая имеет право решать в любом случае, называется необходимостью.

Где же теперь эта вражда и это личное честолюбие, с которыми власть таким образом боролась? Кто тешит себя надеждой захватить или сохранить превосходство простым уничтожением врага? Никто. Я не говорю о министрах: фракции не всегда безумны; но никто не настолько, чтобы думать, что их вожди могут быть наделены министерствами, убивая представителей противоположной фракции. Что касается суверенов, то не один в Европе считает, что ему угрожает опасность; но исходит ли это от соперника или самозванца? Были ли революции в Испании, Португалии, Неаполе, Пьемонте плодом тяжбы за трон, делом рук честолюбивого подданного?

Очевидно, что это не так. Природа политических опасностей изменилась. Борьба ведется больше не между людьми, а между системами управления. Судьба министров или даже династий определяется не судьбой их противников, а судьбой системы, которую они принимают или представляют. Раньше у сообществ были хозяева, между которыми велась борьба; но теперь они действительно свободны, ибо только от них или от больших партий, которые их разделяют, власть может черпать не только свою силу, но и свои притязания. Кроме того, от них самих могут исходить его опасности. Вопрос больше не в том, кто правит, а в том, как он правит? Повторяю, отдельные люди больше не являются инструментами и интерпретаторами общих интересов. Разве не ясно, что против таких опасностей и таких противников смертная казнь не является ни действенной, ни необходимой?

Однако у этого есть один эффект; и он заключается в следующем: в то же самое время, когда оно не может уничтожить тех, кого власть хочет уничтожить, оно тревожит тех, кого не хочет тревожить. Его удары одновременно имеют меньшую силу и больший размах, чем необходимо. Человек, которого он достигает, сам по себе ничто; его боятся и уничтожают только из-за его связи с определенными интересами и общими настроениями, в которых действительно заключается опасность. Они хотели рассеять опасность и раздавили только человека; и все же удар ощущается во всей сфере интересов, органом которой он был. Эти интересы не умирают с его смертью и даже ощутимо не ослабевают; но оставшиеся в живых оценивают намерение, которое убило его; и говорят, что если бы это было возможно, они тоже были бы убиты — что, однако, они знают, невозможно. И это убеждение распространяется не только на интересы, которые в точности соответствуют поведению и языку жертвы, но и на тех, кто связан с ним более отдаленными отношениями, которые, возможно, мало ощущались при его жизни, но теперь скомпрометированы и находятся под угрозой его смерти. Таким образом, власть, заблуждаясь относительно природы своих опасностей и врагов, навлекает на себя огромное зло, не получая того блага, к которому стремилась. Оно вдвойне обманывается в том значении, которое придает человеку, считая его одновременно и более великим, и более незначительным, чем он есть на самом деле. Оно забыло, что, перестав быть силой своей партии, он стал ее символом; и что то, что он представляет, не может быть упразднено в его личности в большей степени, чем к его личности можно прикоснуться, не почувствовав этого во всем обширном кругу, частью которого он является.

В этом, опять же, применение смертной казни является опасным анахронизмом. Оно адресовано другим временам, другой силе, другим опасностям. Он не получает того, что обещает, и производит то, чего не хотят. Это беспокоит или раздражает массу общества, чтобы предотвратить раздражение и неприятности, вызванные голосом или присутствием отдельного человека.

И нужно ли это сейчас против самой этой массы? Это было бы жаль, потому что руководить им было бы еще труднее, а я показал, насколько сомнительна его моральная эффективность и что его физическая эффективность невозможна. Тем не менее, если необходимость, о которой говорится, имеет какую-то реальность, она должна быть там, поскольку опасность существует так же, как и вопрос. Обладание властью больше не является предметом частной борьбы, когда-то поддерживавшейся такими кровавыми средствами; но система и поведение власти

обсуждаются между ней и обществом; и первое действительно остро нуждается в защите, поскольку подвергается яростным нападкам.

Почему это так, или, скорее, с каким намерением это делается? Это главный вопрос. Соперники, которые прежде оспаривали империю, не могли все обладать ею; и поэтому они были вынуждены убивать друг друга. Является ли это борьбой того же характера, которая сейчас происходит между властью и обществом или теми большими слоями общества, которые она считает врагами? Существует ли та радикальная несовместимость, та невозможность сосуществования, которая существует между двумя индивидуумами, которые оба претендуют на одно и то же место или одну и ту же собственность!

Этого нет и быть не может. То, чего ее противники требуют от власти, - это не позиции, которую она занимает, а курса поведения, соответствующего их взглядам. Общие интересы никогда не правят лично, но желают, чтобы ими управляли в соответствии с их собственными чувствами и желаниями. И это желание, с моральной точки зрения, существующее правительство всегда может реализовать. Если оно этого не сделает или не знает, что это в его власти, может возникнуть неспособность, хотя дело не в самих вещах: это сила создала это, и досадные потребности, созданные таким образом, являются его собственной виной.

Может ли она, однажды вступив на путь, где она сталкивается с такими трудностями, повернуть назад? Или, если он будет упорствовать и продолжит использовать средства, необходимые для выполнения этих потребностей, преуспее ли он в своем замысле? Я смело утверждаю, что он потерпит неудачу. В наши дни каждое правительство, которое своими злодеяниями проводит грань между своими собственными потребностями и потребностями общества, терпит поражение. Самое ужасное применение смертной казни не спасет его, потому что оно никогда не сможет унести достаточное количество жизней. Мы видели ситуации такого рода: Бонапарт навязал себе неопределенную необходимость войны, точно так же, как Конвент навязал неопределенную необходимость смерти: Конвент убил многих, и Бонапарт многих победил; но пришло время, когда и эшафот, и победа отказались служить своим бывшим хозяевам. Социальные потребности, подавленные на время, вновь обрели свое господство; и власть, отрекшаяся от них, увидела себя неспособной поддерживать искусственные потребности, которые она поставила на место истины.

Я не признаю естественной необходимости смертной казни. А если и признаю, то только ради аргументации, чтобы показать, что признание ничего не даст. Я не думаю, что когда-либо существовала какая-либо сила, которая не заботилась бы о том, чтобы обеспечить свой окончательный успех, и не стремилась ни к чему большему, чем отсрочить свое крушение. На самом деле такой власти не существует; ибо если бы правительство обнаружило, что его гибель неизбежна в конце курса, которому оно следовало, оно немедленно покинуло бы этот курс: то, на что оно надеялось, на самом деле было безопасностью. Но если бы оно было настолько эгоистичным и беспечным, что не заглядывало дальше настоящего, я бы снова посоветовал ему остерегаться. Раньше оно могло бы потворствовать такому безразличию и рассчитывать на долгое терпение; но теперь все происходит быстро, тем более что общество спокойно и своими волнениями не проявляет никаких признаков огромной силы, которой оно может обладать, когда это необходимо. Приближение революции не ускользнуло от косного предвидения Людовика XV. Если бы новые революции были еще ближе, возможно, они были бы еще менее

ощутимы под шагами власти. Таким образом, было бы неправильно довольствоваться мерами предосторожности, когда времени было бы так мало, а средства столь ненадежны.

Когда мы со всех сторон исследуем необходимость и опасности власти, ни от кого не приходит ответа, что смертная казнь необходима или может уменьшить или рассеять опасность. Я рассматривал его во всех его проявлениях и последствиях; и я почти всегда находил его лишенным законных мотивов; лишенным добродетели, когда у него есть если не законные, то, по крайней мере, реальные мотивы; редко действенным; и все же редко справедливым. Что же тогда остается, кроме памяти о его старых заслугах! Говорят, революции успешно используют его и будут использовать до сих пор. Я знаю это; но революции непостоянны; и неужели правительства думают, что они имеют подобную преходящую природу? Чудовищная ошибка! Правительства подражали бы им, проявляя ту же силу и достигая тех же результатов. Но они забывают, что их дело - заложить по крайней мере основы того постоянства, разрушать которое - удел революций, и погибнуть, разрушая это. Но, в конце концов, ошибка неудивительна, ибо именно в наши дни, и, возможно, впервые, это различие отчетливо проявилось. Вплоть до середины семнадцатого века революция была если не постоянным, то, по крайней мере, привычным состоянием европейского общества. Предоставленное силе и соперничающим силам, а также соперничеству, которое на самом деле было войнами, общество не знало ни условий, ни средств обеспечения стабильности и порядка. Такое же невежество в этом отношении владело правительством, фракциями и людьми. Все они в своей судьбе использовали одно и то же оружие, применяли одни и те же методы и добивались одинаковых результатов. У общества теперь больше амбиций. При тирании или беспорядке оно требует от правительства совсем другого, чем просто смены названия. Оно знает, что оно должно иметь и что оно может сделать. Когда физический мир вышел из хаоса, в нем все еще были свои кризисы; но в нем также были своя регулярность, свой покой и свои сохраняющие законы. Социальный мир, мир людей, хотя и медленнее выходит из состояния беспорядка, начал понимать глубокую разницу между состоянием мира и состоянием войны, между порядком и беспорядком, между революционным и регулярным правительствами. Силы различаются так же, как и идеи, средства различаются так же, как и цель. Я признаю, что смертная казнь полезна в революционной политике; но это так ни в какой другой. Регулярное правительство, сделавшее это необходимостью и использовавшее его помощь в закладке основ своего покоя и продолжительности, встало бы на путь революции. Если бы она прошла только половину пути, то то, что составляло силу революций, было бы ее слабостью; а если бы она вошла полностью, изменив свой характер, она изменила бы свою судьбу и посвятила бы себя разрушению, которое является уделом даже успешных революций. С политической точки зрения смертная казнь в наши дни должна быть либо быстрой чередой кровавых жертвоприношений ненасытным божествам, либо бесполезной жертвой бессильным идолам.

Повторяю, сама Власть чувствует это; ее уверенность в таких средствах является скорее предрассудком, чем верой, и, как все предрассудки, вызывает беспокойство и нерешительность даже в момент действия. Оно, однако, упорствует в этом средстве; и мы должны указать истинную причину, избавив ее от предлогов и иллюзий, и показать, какому божеству принадлежит жертвоприношение. Эта причина не является ни справедливостью, ни необходимостью — это страх; и не тот законный и благоразумный страх, который смотрит опасности в лицо и принимает меры для ее предотвращения, но слепая трусость, которая желает скорее спастись от самой себя, чем от опасности, и которая, без рационального намерения или предвзятого замысла, принимает случайно все, что дает надежду на спасение.

Благоразумие желает безопасности, но страх страшит при виде опасности, реальность которой, возможно, завтра станет еще более реальной. Но это мало что значит; власть в одно мгновение избавится от тревог своего положения и будет убеждена, что ей нечего бояться. Эта непреодолимая страсть никогда не меняет своей природы; какой бы она ни была в темных происшествиях частной жизни, она по-прежнему пребывает в лоне величия, всегда больше занята мучениями, чем опасностью; всегда предается тщетным и неразумным ухищрениям, если они предлагают лишь небольшое убежище или небольшую передышку. И когда страхи фракции соединяются со страхами власти, когда это слепое чувство, пронизывающее партийную массу, становится коллективной страстью и наталкивает друг на друга индивидов, воображающих себя лишенными личной ответственности, тогда разуму приходит конец, исчезает всякий расчет, и больше не возникает вопроса о необходимости, полезности или справедливости. Страх становится его собственной необходимостью; одной из тех фатальных необходимостей, власть которых сохраняется тем дольше, чем больше она терпит неудачу, и в которые люди бросаются механически и страстно, не будучи в состоянии размышлять. Ужасный пример этого был подан Конвентом и якобинцами.

Но сам страх обманут, и этот новый и последний сторонник смертной казни ежеминутно видит себя обольщенным надеждами, которые связывают его с этим делом. Сила фактов, даже неправильно понятых и поправленных, такова, что в наши дни политическая строгость может рассеять страх не больше, чем опасность. Их бесполезность видна даже при самом слепом страхе; они не могут ни обеспечить власти, ни запуганным группировкам, которые их используют, ничего, кроме кратковременного затишья, которое само по себе является источником новых тревог. Пусть партии особенно внимательно следят за тем, чтобы их положение изменилось не в меньшей степени, чем положение правительств. Прежде многие люди сохраняли свою силу и значение после поражения своей партии; они сохраняли в своей первоначальной силе гарантии против реакции и по-прежнему вели переговоры за свой счет на справедливых условиях. Но что теперь представляют собой министры, когда власть покинула их? Что становится с самыми значительными людьми партии, когда эта партия побеждена! Они затерялись в массе граждан, которых защищают только общественные законы и истинное правосудие; они больше не могут действовать самостоятельно и не имеют других защитников, кроме тех принципов, которые являются препятствием для всякой бесполезной строгости и всякой мнимой необходимости и которые в вопросе наказаний запрещают власти все, без чего общество может обойтись. Таким образом, сейчас более чем когда-либо все заинтересованы, как партии, так и власть, как отдельные лица, так и партии, в том, чтобы эти принципы были признаны и внедрены в практику управления. Я постараюсь указать на средства.

Глава VIII.

Средства.

Есть ли кто-нибудь, кто не требует юридической отмены смертной казни как политического механизма? Я думаю, что есть, и я взял на себя обязательство доказать этот факт. Я мог бы, как это часто делается, поднять свой голос против суровости нашего уголовного кодекса; я мог бы, в частности, сказать, что, будучи составленным в связи с насильственным кризисом, он должен нести на себе отпечаток насущных потребностей дня, возможно, реальных в ту эпоху, но теперь фальшивых и тиранических. Революции имеют тот прискорбный общий с варварством эффект,

что они оставляют в наследство живущим поколениям ужасные законы, которые были приняты, чтобы положить конец их ярости. Почти повсюду в Европе девятнадцатый век несет на себе последствия беспорядков пятнадцатого. Революционная Франция оказывает такое же давление на конституционную Францию; и пройдет много времени, прежде чем Хартия освободится от наследования Империи. Но я не буду останавливаться на этой почве; почве, с которой власть нелегко вытеснить, и на которой она не всегда ошибается, укрепляя себя. На него слишком часто нападают из-за расплывчатых заявлений и необдуманных надежд; а нынешние заявления мало уважают, даже если их предмет правдив. Наша эпоха склонна к здравому смыслу; но иногда она странным образом ошибается в том, что почитает этим именем; унижает его и сама деградирует, присваивая его бесцельным практикам или опасному бездействию. Но даже тогда с этой ошибкой можно справиться; и со своей стороны, я не прошу у власти, чтобы она дала нам все возможные хорошие законы, а просто чтобы она использовала существующие законы в соответствии с нашими интересами и своими собственными. Это он может делать, и иногда делает. Я мог бы легко указать на законы, которые, хотя и не отменены, не являются таковыми и не могут выполняться без стыда и опасности. Законодательные акты Великобритании полны уголовных законов, вышедших из употребления. Когда призывают к их формальной отмене, друзья власти выступают против этого; но они восклицали бы точно так же, если бы они были введены в действие.

Я не прошу отмены, которая означала бы забвение или косвенное нарушение недавних и позитивных законов. Свобода действий, которой пользуются судьи в Англии, не принадлежит нашим трибуналам; и не к тем трибуналам, к которым я обращаюсь сам. Применение законов является их правом и обязанностью; но правительство действует в более широкой и свободной сфере; оно оказывает большое влияние на политические процессы, как до того, как они предстают перед трибуналами, так и после того, как они покидают их. Средства, которые я ищу, принадлежат этому влиянию, которое полностью держит их в своей власти.

Судебное преследование и квалификация политических преступлений, с одной стороны, и право на помилование, с другой, являются средствами, с помощью которых правительство может, не изменяя законы и не нарушая их, уберечь правовую сферу от смертной казни, сделав ее применение более редким и, таким образом, приведя свое поведение в соответствие с истинной справедливостью, истинными социальными потребностями, истинным благоразумием и своим собственным долгом.

Эта свобода действий должна включать разум в принятие решений; и поскольку произвол сохраняет место в атрибутах власти, следует рассматривать его как создающий пустоту, которая всегда должна быть заполнена справедливостью и общественным благом.

Глава IX.

Судебное преследование и квалификация политических преступлений.

Я знаю, что предубежденные люди здесь поднимутся, чтобы оттолкнуть меня, и я знаю, что они скажут. Они делают вид, что при отправлении уголовного правосудия все предвидено и абсолютно; что администрация обладает не большей свободой действий, чем судьи, и что при

преследовании за преступления она просто исполняет позитивные законы, которые предписывают и регулируют ее действия, а также решения трибуналов. Согласно таким рассуждениям, власть ничего не знает о преступлении до момента судебного преследования; и с этого момента больше нет ни воли, ни свободы. Оно обязано преследовать в судебном порядке, ибо ни один преступник не должен оставаться безнаказанным; и обязано толковать преступление в соответствии с толкованием закона, поскольку за преступление должно быть назначено законное наказание.

Странное противоречие! Те самые люди, которые придерживаются подобных доктрин, проповедуют уважение к фактам и презрение к теориям; и здесь они искажают самые очевидные факты, чтобы приспособить их к самой надуманной и произвольной теории, которую только можно себе представить.

Я ограничиваюсь политическими преступлениями, о которых мне приходится говорить. Неправда, что власти ничего не знают об этих преступлениях и не располагают средствами для их пресечения до того момента, как они попадут в поле зрения закона. Неверно, что даже в этом случае у него нет выбора возбуждать судебное преследование или нет, или что, когда он предпринимает судебное преследование, юридические тексты ограничивают его единственным и точным толкованием.

Большее количество политических преступлений - это заговоры, что подтверждается многочисленными выдвинутыми сейчас обвинениями. Но что такое заговор! Попытка совершения преступления, часто не более чем проект покушения. Закон усматривает преступление в проекте, поскольку для этого требуется просто наличие преступного намерения, не дожидаясь начала деяния. Чтобы приостановить реализацию проекта, который еще не начался, а существует только в общей мысли его авторов, авторитет должен знать, что это такое; он должен был проследить за этой мыслью так далеко в процессе ее формирования, чтобы быть в состоянии ухватиться за нее в тот момент, когда она будет доведена до совершенства на моральном пути, не добившись ни малейшего прогресса на физическом пути. Таким образом, власть обычно здесь не застигнута врасплох, как в случае с частными преступлениями, непредвиденным правонарушением, которое становится очевидным только при его завершении и не оставляет возможности думать ни о чем, кроме поимки виновных. Напротив, оно способствует зарождению преступности и наблюдает за ней в колыбели. Почему бы не задушить ее там? Что мешает ей? Что заставляет его допускать рост преступности, чтобы впоследствии ему, возможно, пришлось преследовать ее в судебном порядке? Безусловно, нет ничего необычного в том, чтобы подавлять замысел в зародыше. Все мудрые правительства поступали так; они предпочитали разгонять заговоры, а не наказывать их; и часто, когда они были очень близки к их исполнению, они предотвращали опасность и необходимость наказания, просто показывая, что они настороже. Генрих IV и даже Кромвель и Бонапарт являют собой не один пример такого благоразумия. Неумелая власть и правящие группировки должны одни ждать, пока они не смогут вооружиться строгостью законов; они одни вынуждены позволить преступлению созреть у них на глазах, прежде чем они его подавят. Для одних страх, а для других партийные страсти делают это опасное и преступное поведение необходимым; и в наши дни от него меньше пользы, чем когда-либо. Два инструмента, находящиеся сейчас в руках власти и почти неизвестные ранее, освобождают ее от необходимости прибегать к ней: это полиция и гласность. С помощью полиции можно проникать в самые тайные заговоры; с помощью гласности заговоры разоблачают и

расстраивают сами себя. Раньше у властей было не так много средств для получения информации и предупреждения; но теперь, помимо тайной полиции, у них есть другой, еще более эффективный агент, который, будучи внедрен повсюду, раскрывает тайны общества и лишает заговорщиков ресурсов и пристанищ, которые раньше предоставлял им всеобщий беспорядок. Но эффект гласности еще больше, и правительства, какими бы слепыми они ни были, сожалеют об этом факте. Они не видят, что это работает на них так же хорошо, как и на нас; поскольку, если огласка выставляет их на всеобщее обозрение, она точно так же выставляет публику на всеобщее обозрение. Заговорщики больше не могут жить при дворах бок о бок с монархами, обдумывая свои планы в окружении всеобщей темноты и тишины. Лицемерие больше не приносит пользы ни врагам власти, ни самой власти. Люди разделяются на классы, где каждый занимает свое место в соответствии со своими чувствами или желаниями; измена меркнет перед светом; каждая мысль, каждое намерение разоблачаются; и заговоры, которые раньше были монополией людей могущественных и выдающихся на политической сцене, кажутся теперь уделом слабых и безвестных. Первые все равно вступили бы в заговор, если бы могли сделать это с успехом; но они разгуливают среди бела дня; каждое слово, каждый шаг привлекают внимание; какими бы ни были их сдержанность и способности, они никогда не смогут скрыться, ибо публичность является условием их значимости. Если бы они молчали и прятались в тайне, они перестали бы быть теми, кто они есть в своей партии; а как они могут успешно строить заговоры без молчания и сокрытия? Все, так или иначе, приводит к заговорам во власть: против представителей высшего класса существует гласность; против представителей низшего - полиция; когда они хотят быть могущественными, их трудно организовать; когда они хотят оставаться в тени, они слабы; и везде власть, вовремя предупрежденная, имеет тысячу средств помешать им, прежде чем они достигнут хотя бы малейшей надежды на успех.

Как же тогда можно утверждать, что власть защищается только суровостью закона и поэтому обязана позволить заговорщикам идти дальше к эшафоту, спокойно сопровождая их по тому пути, который она могла бы так легко перекрыть? Предполагается ли, что только наказания предотвратят заговоры? Это еще одна ошибка; перспектива провала действует гораздо сильнее, чем наказание в предотвращении преступлений. Почему так много людей в надежде на удачу или славу так беззаботно обращаются лицом к боевым пушкам? Это потому, что они льстят себе надеждой, что выстрел не заделих. Та же уверенность в значительной степени придает смелости заговорщикам: они очень хорошо знают, что закон также карает смертью, но они надеются избежать его выстрелов - что они будут под прикрытием от стрелка, — и это идея, которая сопровождает и поддерживает их в их предприятиях. Но пусть этой идее противоречат факты, пусть они увидят, что их заговоры раскрыты и сорваны; и тогда уныние и страх будут гораздо более действенными, чем смертное наказание, которого они избежали бы, если бы не были раскрыты. Я без колебаний заявляю, что заговор, сорванный бдительностью правительства, даже если он не наказан, имеет больший устрашающий эффект, чем самые суровые наказания, которым подвергаются заговорщики, потерпевшие неудачу по своей вине в момент начала заговора.

Кто теперь будет утверждать, что юридическая обязанность власти - позволить преступлению дойти до апогея и ждать, пока оно не попадет на рассмотрение судей, в обязанности которых входит осуждение? Кто скажет, что она злоупотребляет своим правом выбора, когда останавливает "преступление" и "наказание" в их продвижении навстречу друг другу? Кто, напротив, будет отрицать, что такова его прямая обязанность, и обязанность тем более

настоятельная, что теперь у него больше средств для исполнения и меньше интереса пренебрегать ею?

Но сторонники осуждения все же находят прибежище: они говорят, что центральная власть или вышестоящая администрация не возбуждает судебных преследований; что великие блюстители закона и судьи-наставники имеют долг и право действовать по своему усмотрению как в политических, так и в других вопросах; и отсюда они делают вывод, что мы не можем требовать от министра того, что зависит не от него, а от многочисленных и независимых судей.

Если мне будет позволено так выразиться, я испытываю глубокое отвращение к этим лицемерным аргументам, которые, зная свою собственную ничтожность, лгут без надежды ввести в заблуждение. На мой взгляд, этот относится к числу; но все же он должен привлечь наше внимание, поскольку используется в полемике. На самом деле я не побоюсь сказать, что в наши дни, за исключением двух известных мне случаев, судебные преследования за чисто политические преступления, такие как заговоры и оскорбления прессы, не проводились без санкции министра. Я достаточно хорошо знаю, как управляются подобные вещи, и я не верю, что какому-либо *королевскому прокурору* разрешено вовлекать правительство в такие процессы против его воли или без его ведома. Имеет ли это должностное лицо право делать это, и разрешат ли это министры? Являются ли действия государственного министерства в вопросах политических преступлений спонтанными и независимыми в принципе? Вопрос становится важным, и, хотя я вынужден ограничиться беглым взглядом, я не стану уклоняться от него.

При конституционном режиме существует только два вида магистратуры: ответственная и безответственная; и везде, где устанавливается власть, справедливость и свобода абсолютно требуют той или иной из этих гарантий. Принято считать, что независимость является результатом либо всенародных выборов, либо постоянства должности; но хотя я считаю, что одно из двух условий может быть необходимым, я не думаю, что оно всегда является достаточным само по себе. Сформировать независимость не так-то легко, ибо, помимо юридических, у нее есть моральные условия, которые не достигаются действием или за один день. Это зависит от личной уравновешенности магистрата, его социального положения и представления, которое он сам имеет о своих правах, не в меньшей степени, чем от происхождения или продолжительности его функций. Они могли бы сделать префектов несменяемыми завтра, но они не были бы так независимы, как английские шерифы, назначаемые королем, и всего на один год.

Я говорю это не для того, чтобы отрицать независимость наших несменяемых магистратов; ибо я считаю, что за прошедшие восемь лет, и особенно в судах высшей инстанции, был достигнут реальный прогресс. Свобода не может зародиться в стране, где ее дух не распространен повсюду, даже среди хранителей власти. Я не думаю, что эта независимость - это все, чем она должна быть; и важно не позволять себе быть обманутыми словами или видеть в простых внешних признаках определенность и реальность гарантий. Как бы то ни было, следует признать, что если постоянство должности не обеспечивает независимости магистрата, отсутствие у него постоянства должно подразумевать, что он несет ответственность.

К сожалению, создать ответственность не легче, чем независимость; поскольку у нее также есть более важные моральные условия, чем те, которые прописаны в законах. Было подтверждено, что это полностью и в достаточной степени вытекает из постоянства должности. Но это не так; ибо точно так же, как мир видел постоянных судей, очень мало независимых, так и он может

увидеть сменяемых судей с очень призрачной ответственностью. Сменяемость сама по себе не является эффективной гарантией или принципом реальной ответственности, но служит выгоде вышестоящей власти. Верно, что власть, которая может по своему усмотрению смещать должностных лиц, которых она использует, уже одним этим обстоятельством уверена в их ответственности в той мере, в какой это касается ее самой. Но достаточно ли этого? И когда мы говорим об ответственности, которая должна заменить независимость, вопрос только в этом?

Здесь кроется ловушка, возможно, расставленная без умысла, но в которую мы не должны попадаться. Просим ли мы служащих претворить в жизнь ответственность за служение, которое они берут на себя? Они отвечают, что общественное служение независимо. Желает ли оно в таком случае действовать так, как если бы это было так? Они лишают его этой независимости, возлагая его ответственность на себя. Таким образом, они уничтожают ответственность, заявляя о ее независимости, и независимость во имя ее ответственности.

Итак, когда вся ответственность класса магистратов заключается в их сменяемости, высшая власть, перед которой они одни несут ответственность, может только извлечь из этого выгоду. Конечно, мы стремимся не к ответственности такого рода, а к ответственности перед самим обществом, перед справедливостью и общественными интересами, без которых возможность смещения - всего лишь ложь и новая опасность.

Как избежать этой опасности? Как осознать социальную ответственность сменяемых мировых судей? Есть только два средства: с зависимостью, возникающей в результате сменяемости, должны бороться элементы независимости, которые, предоставляя магистратам надлежащую власть, ограничивают высшую власть в осуществлении ее права и налагают на нее обязанность использовать ее, но редко, с осторожностью и только в случае абсолютной необходимости; или зависимость должна быть полной, и ответственность магистратов должна быть полностью сосредоточена на высшей администрации, которая единственная несет какую-либо политическую ответственность, поскольку только она призвана к публичному обсуждению своих действий и их конституционному обоснованию.

Если бы мне пришлось выбирать между этими двумя средствами, первое показалось бы мне гораздо предпочтительнее. Я признаю, что считаю малоценной ту ответственность, которая оставляет место, где она возникла, чтобы искать вдали то, где она станет реальной, и путешествует от агента к агенту, становясь слабее с каждым переходом, пока не найдет человека, с которым она должна остаться. На мой взгляд, после стольких изменений у него есть большие шансы стать в конце концов призрачным, возможно, даже несправедливым. И я думаю, кроме того, что, не предоставив государственному ведомству той же степени независимости, которая принадлежит судьям, мы можем пожалеть, что у него ее вообще нет. Магистраты, низведенные до положения простых агентов, больше не являются магистратами. Им не хватает как авторитета, так и достоинства, поскольку достоинство сопряжено с независимостью. Более того, такова природа вещей, что во многих случаях, например, в делах о частных преступлениях, действия государственного министерства действительно спонтанны и свободны. Отсюда следует, что его позиция становится ложной в тех случаях, когда у него больше нет спонтанности и свободы; и ложность его позиции оказывается средством обмана общественности, которой все еще говорят о независимости этих магистратов, когда на самом деле, как в политических делах, этого нет. Из всего этого для общественного служения возникает ложное и убогое положение, которое компрометирует его в представлениях народа,

но которое прекратилось бы, если бы это действительно была магистратура, наделенная некоторой личной последовательностью, надлежащей степенью силы, достаточной независимостью, чтобы чувствовать себя под тяжестью прямой ответственности и призванная на службу власти, хотя и не удерживая от нее каждый элемент ее важности и каждый закон ее действия. Повторяю, я бы предпочел, как ради свободы, так и ради магистратов, созданное таким образом общественное министерство иерархическому подчинению чисто административному режиму; но такие вещи не являются работой одного поколения или законодательной волей. Получим ли мы их когда-нибудь и на каких условиях такая магистратура может занять место в нашей конституционной системе? Я не имею никакого отношения к этому вопросу здесь; но, несомненно, когда выясняется, что гарантии социальной ответственности государственного служения не обладают степенью независимости, соответствующей его миссии, мы вправе искать их в другом месте. Они, правда, могут носить частичный и случайный характер; но это не имеет значения, это все, что нам остается. Здесь присутствует великая сила, действие которой в значительной степени произвольно; и нам нужна видимая и реальная ответственность, по крайней мере, для обсуждения. Это не более чем право. Я снова утверждаю, что в политических вопросах подчинение государственного министерства является полным; что здесь оно не обладает спонтанностью; что почти в каждом случае именно вышестоящая администрация отдает приказы о возбуждении уголовных дел или сдерживает их, а также принимает решения об их уместности и направлении. Поскольку оно осуществляет эту власть, оно обязано использовать ее разумно, в соответствии с общественными интересами: оно обязано доказать, что оно использует ее таким образом; и оно несет ответственность за чрезмерное использование ее или без необходимости.

Таким образом, здесь открывается первый путь к экономии смертной казни, первое средство избавления трибуналов от необходимости частого применения суровости закона. Власть способна пресекать многие политические преступления, не привлекая их к ответственности. При нынешнем состоянии общества это будет легко сделать, а при нынешнем состоянии магистратуры у него есть абсолютное право, поскольку судебное преследование находится в его руках.

Давайте рассмотрим случаи, когда суд обязан или считает необходимым возбудить уголовное дело. Суд не смог пресечь преступление до полного установления его правового характера или, по крайней мере, до тех пор, пока он не сочтет необходимым наказание. Является ли оно с этого момента настолько связанным законами, что не имеет никакого влияния на направление судебного преследования, но обязано вести преступника на эшафот всякий раз, когда преступление оказывается подлежащим смертной казни?

Тот, кто в течение нескольких прошедших лет наблюдал за ходом политических процессов, должен был заметить два обстоятельства. Иногда судебное решение не соответствовало обвинительному заключению; суд присяжных считал своим долгом, учитывая положение дел, смягчить тяжесть государственного обвинения и заменить уголовное преступление, караемое смертной казнью, менее тяжким; или само государственное министерство уменьшило свои первоначальные претензии и оспорило даже первое заключение, которое их признавало. Именно это сделал г-н Курвуазье в Лионе в деле Майяра. Чаще всего общественное ведомство упрямо характеризует преступление и требует смертной казни в качестве наказания за него; и в

таких случаях мы видели, как судьи и присяжные оправдывали обвиняемых, а не прибегали к такой чрезмерной строгости; так что люди, которые были бы подвергнуты некоторому наказанию, если бы требуемый приговор был умеренным, были полностью оправданы, потому что их хотели отправить на эшафот. Я мог бы привести множество примеров подобного рода, но воздерживаюсь от этого из уважения к невиновности, провозглашенной таким образом законом.

Что доказывают эти факты, если не неопределенность, которая часто сопровождает характеристику политических преступлений? И в этой неопределенности, что обязывает власть причислять их к категории самых серьезных преступников и демонстрировать свое стремление к высшей мере наказания, рискуя вообще ее не получить! Если я здесь не ошибаюсь, и если в политических вопросах смертной казни обычно недостает справедливости, необходимости и действенности, то власть не должна быть слишком довольна тем, что ей не приходится сталкиваться с такой ужасной аномалией и вытекающими из нее опасностями, а должна находить в самой природе таких преступлений достаточную гибкость, позволяющую легко характеризовать их более умеренно! Этим командует разум, разум интереса, равно как и справедливости; ибо ничто так не компрометирует власть, как полная несостоятельность обвинения, караемого смертной казнью; и опыт доказал, что, несмотря на слабость наших судебных институтов, она вполне могла бы обойтись без крови, от которой воздержалась.

Я знаю, что оно жалуется на недостаточность наших законов и приписывает им как серьезность, так и безуспешность своих проблем. В нем говорится, что они не признают альтернативы: заговорщики должны быть либо привлечены к ответственности как таковые и применено смертное наказание, либо судебное преследование должно быть прекращено; ибо под эту классификацию и наказание, соизмеримые с преступлением, не попадают.

Я не признаю этого оправдания. Уголовный кодекс, предусматривающий за неудачное предложение о сговоре наказание в виде длительного изгнания, широко открыл дверь для классификации преступлений аналогичного рода. Немногие попытки, квалифицируемые как заговор, полностью соответствуют определению закона; и поскольку отсутствуют некоторые признаки, обвинение должно быть действительно абсурдным, а преступление мнимым, если оно не может быть признано неудачным предложением о заговоре. Почему бы с самого начала не свести все к этому персонажу? Потому что ссылка считается слишком мягкой мерой; потому что мы все еще находимся под властью этих предрассудков и этой ложной уверенности в смертной казни, с которой я боролся. Правительство считает, что нет никакой безопасности, кроме как в кровопролитии; и, рискуя не получить эту кровь, они добиваются смертной казни, потому что предполагается, что десять лет ссылки - это ничто.

Десять лет изгнания - ничто! Боже милостивый! с какими врагами тогда вы имеете дело? Неужели эти люди настолько могущественны, настолько европейцы, что они будут нести с собой, куда бы они ни пошли, свое состояние и свое влияние, что они везде найдут *point d'appui*, откуда можно поколебать вашу власть, и протянут на любое расстояние руки, достаточно длинные, чтобы дотянуться до вас? То, что Генрих III все еще боялся герцога де Гиза, укрывшегося в Брюсселе, что Мария Стюарт расспрашивала Елизавету во Франции, что даже на острове Святой Елены Бонапарт заставлял трепетать своих врагов, — это можно понять; но почти все заговорщики, которых вы преследуете, - люди без славы, без богатства, неизвестные

за пределами своего кантона и неспособные найти в чужих странах ничего, кроме нищеты и забвения. Затем вы вооружаетесь даже их убожеством; вы говорите, что это подтолкнет их к любой опасности и что они попытаются вернуться и противопоставить вам новые опасности. Действительно, есть люди, которые были достаточно смелыми, которые поддерживали некоторую переписку, которые публиковали прокламации и которые даже добивались до границ страны. Но какому риску вы подвергались? Вызвал ли у вас мсье Кюке де Монтарло серьезную тревогу? Неужели администрация, полиция, жандармы, таможни, паспорта оказались бесполезными против таких ничтожных замыслов? И если в какой-либо части наших границ действительно существует опасность, верите ли вы, что она вызвана присутствием нескольких безвестных и обедневших изгнанников?

Я не могу останавливаться на такой идее. Нет, конечно, неправда, что наказание в виде ссылки иллюзорно; и если бы это было так, то это было бы вызвано совсем иными причинами, чем личная значимость осужденных. Немногие французы что-то значат во Франции: вне Франции они ничто.

Если бы власть принадлежала правым; если бы было правдой, что в уголовном кодексе действительно существует пробел и что, желая назначить самые суровые наказания за политические преступления, наш закон забыл определить те, которые подлежат более легкому наказанию, было бы очень трудно найти средство правовой защиты? Нередко можно видеть, как администрация обращается к законодательной власти с жалобой на недостаточность уголовного законодательства и требует новых наказаний за новые преступления. В общем, я знаю, что в таких случаях вопрос стоит об обострении; но если бы захотелось смягчить законы из-за суровости их притязаний, предполагающих досадную безнаказанность, разве не открыты те же пути? Что обязывает власть оставаться в условиях необходимости требовать смертной казни за преступления, которые на самом деле ее не заслуживают? Что заставляет ее так часто ставить судей и присяжных перед альтернативой помилования или несправедливости? Разве не разрешается выдвигать менее жестокие обвинения, предусматривающие более мягкие наказания? Разве не приветствовалось бы таким образом проявить себя одновременно умеренным и благоразумным, одинаково заботящимся о порядке и справедливости! Вполне возможно, что наши законы в отношении политических вопросов требуют некоторых реформ такого рода, и эта власть, призывая к более милосердным наказаниям, добилась бы их легче. Я не вижу ничего, что могло бы помешать принятию этого нового средства, ограничивающего круг применения смертной казни.

Таким образом, было бы получено важное преимущество, заключающееся в том, что страна и Европа больше не будут представлять зрелища таких постоянных обвинений в великих политических преступлениях, выдвигаемых против безвестных и бессильных людей, и которые демонстрируют власть, всегда готовую вооружиться всеми своими силами против тех, кто явно неспособен поставить судьбу государства под угрозу. Я не думаю, что власть может извлечь какую-либо выгоду из раскрытия таким образом всех своих недугов, или, если мы должны называть их так, недугов общества, которым она управляет. Моральный эффект такого зрелища прискорбен. Из этого невозможно не заключить, что либо народом овладела революционная лихорадка, либо что власть непригодна для управления. Что партийные деятели, отдающиеся эгоизму неистовых страстей, с удовольствием повторяют, что Франция полна прокаженных и разбойников; что всеобщий беспорядок всегда на грани разгула; и что парламентская оппозиция сама по себе является лишь органом самых антиобщественных интересов и самой

слепой ярости — все это можно себе представить; но национальная честь не была вверена этим людям; они не пользуются уважением в своей стране и не следят за ее благоразумием и спокойствием в Европе. Но правительство должно думать об этих обязанностях; оно принадлежит государству, и ему предписано скрывать, если таковые существуют, моральные раны страны, ожидая при этом, что его хорошее поведение поможет их излечить. Конечно, в ее обязанности не входит раскрывать такие уродства, чтобы она могла воспользоваться ими для узаконивания той или иной системы управления! Однако я не желаю ни иллюзий, ни лжи, ибо я не верю, что власть обязана льстить обществу или казаться неосведомленной о пороках или опасности, бродящих в ее недрах.

Чего хорошего можно ожидать от показа страны, которая так часто испытывает беспокойство, и самой страны, которой так часто угрожают подобные волнения! Для правительства всегда печально и опасно жить за счет ошибок своего народа и искать свою силу в проявлении слабостей страны в прошлом или настоящем. Кроме того, разве власть не осознает, что беспорядок заразителен, особенно после серьезного кризиса, и что крайне важно подавить его симптомы, чтобы устранить его искушение? От примера многого ждут; но забывают, что, хотя пример есть в наказании, он есть и в преступлении, и часто более действенный. Кто усомнится в том, что в стране, где воровство редкость, сама редкость будет более действенно бороться с искушением, чем где-либо еще самые суровые наказания воров? Как может ошибаться столь очевидная аналогия? Тысячу раз это наблюдалось: мы видели, как убийство вызывает убийство, поджигатели порождают поджигателей: порочные наклонности людей проявляются, когда к ним обращаются; и когда однажды они пускаются в путь, строгость закона должна долго применяться против них, прежде чем они остановятся. Эта опасность больше в политических преступлениях, чем в каких-либо других; ибо там виновные более подвержены самообману и возбуждают в публике, которой они окружены, гораздо меньше презрения и отвращения. Какое безумие, в таком случае, у власти поддерживать эти постоянные провокации к подобным преступлениям, которые проистекают из череды политических преследований! Поистине, нельзя слишком восхищаться их непоследовательностью. Публичность судебных прений не только затрудняет, но и ужасает ее; и она пытается избавиться от неудобства, скрывая свои ни с чем не сравнимые преимущества. Подобная огласка, как говорится в нем, раскрывает соблазны, равно как и ужасы преступности; и все же оно не заботится о том, чтобы сделать это зрелище редким, до последней крайности воздерживаясь от открытия школы, уроки которой вызывает у него такой страх. Как он не видит, что, если бы они были менее частыми и менее торжественными, они имели бы меньшую силу? Их торжественность во многом зависит от тяжести предполагаемых наказаний: общественность не может испытывать такого же интереса к процессу, который предусматривает всего несколько лет тюремного заключения, как если бы речь шла о жизни. Если бы власть знала, как читать души аудитории в таких дебатах; если бы каждая мысль, каждая эмоция, которые она вызывает, развивались у нее на глазах, она сама была бы встревожена и, несомненно, усомнилась бы в том, не была ли ее ожидаемая выгода иллюзией. Но, слепой и непостоянный, он не осознает этого: он не осознает, что каждое судебное разбирательство, каждое слово политически обвиняемого, которого он ведет на эшафот, становится предметом самых оживленных разговоров и самых смелых комментариев, и что малейшая деталь его судьбы вызывает самые живые и стойкие размышления даже у людей, которые сами не совершили бы вменяемого ему преступления и которые были бы мало заинтересованы, если бы ужасная судьба, которая тяготеет над ним, не вызвала в глубине их

сердец жалости и сочувствия. Таков эффект политических преследований, которые приводят к смертной казни: эффект таинственный по своим масштабам, но безошибочный, и который в данном случае подрывает надежды власти, хотя власть и не знает, чего стоили ее предполагаемые достижения.

Я мог бы пойти гораздо дальше: последствия напрашиваются сами собой, и все заявляют, что элементарная осторожность, простой личный интерес власти советуют ей снизить уровень своих политических обвинений, уменьшить их количество и использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для срыва заговоров без судебного преследования их; в конце концов, очень редко применять смертную казнь — так редко, как это сопровождается истинной справедливостью и истинной необходимостью. Понаблюдайте, какое применение своему влиянию могла бы найти мудрая и умелая администрация; наблюдайте, как, не разоружаясь и не вмешиваясь в законы, она могла бы провести в правительстве практические реформы, соответствующие действительному состоянию общества, инстинкту морали и действительным интересам власти. Именно для таких целей даже здесь допускается эта мера произвола, всегда неотделимая от хода человеческих дел. Напрасно оно отрицало бы, что обладает такой способностью и способно ее использовать. Власть полна противоречий. Когда ей мешают законы, она претендует на произвольную власть; когда на нее давит ответственность, она притворяется простым исполнителем. Но эти софизмы никого не вводят в заблуждение; истина легко обходит их стороной; и когда политические процессы разрастаются сверх всякой меры и постоянно применяется смертная казнь, пострадает власть, а не законы. Я показал, как до судебного преследования или по его указанию может быть ограничена правовая сфера применения наказания. Давайте теперь посмотрим, какое влияние может быть оказано после вынесения судебного решения.

Глава X.

Привилегия милосердия.

Я встречаюсь здесь с предрассудками другого рода, столь же неразумными, на мой взгляд, но более респектабельными, поскольку они, вероятно, более бескорыстны и искренни. Некоторые люди полагают, что привилегия милосердия - это чисто королевское право, к осуществлению которого министерство не имеет никакого отношения и которым распоряжается только король, исходя не более чем из личного милосердия или справедливости, и без привязки к нему какой-либо министерской ответственности или превращения его в часть механизма правительства. Такого же мнения придерживалось и Учредительное собрание; и что из этого вытекало? В конституции 1791 года привилегия милосердия была отменена.

В том, что это было большой ошибкой, никто не убежден больше меня; но ошибка была следствием идеи, которая все еще господствовала в умах людей. При конституционном режиме, где неприкосновенность монарха основана на ответственности министров, никакая власть действия не принадлежала бы ему, и ни одно действие не могло бы исходить от него без сопровождения этой ответственности. Иначе откуда бы мог черпать свое значение королевская неприкосновенность или, другими словами, ее гарантия?

Учредительное собрание осознавало эту необходимость; и все же, под влиянием старых привычек, привилегия милосердия по-прежнему рассматривалась как право сугубо личное и безответственное по своей природе. И они пришли к выводу, что так продолжаться не должно.

Теперь оно восстановлено, и очень правильно, как и многие другие права, которых внезапная революция лишила королевскую власть; но в то же время, как и все эти права, оно вернуло себе власть принципа, который является постоянным и опечаляющим условием этой власти. Король, действующий по совету и неприкосновенный во всем, правит под подписью ответственного министра. Пусть те, кто все еще сомневается по этому поводу, хотя бы изучат его. Они уже отказались от двух схожих мнений: они заявили, что право роспуска Палаты депутатов и право создания пэров в равной степени принадлежат лично королю, свободному от всякой министерской ответственности. Но в 1816 и 1819 годах король открыто применял и то, и другое по совету своих министров. Сила фактов была такова, что стало необходимым отдать дань уважения истинности принципов и признать ответственность, которая, по-видимому, вытекала из этих действий правительства. Самые жестокие, а также самые просвещенные члены партии, ныне стоящей у власти, выступили против министерства, которому они их вменяли; и которое, я думаю, колебалось бы сейчас не больше, чем тогда. Привилегия милосердия не имеет иной природы, поскольку она не выходит за рамки конституции и, возможно, занимает не менее важное положение. Это формирует слишком скудное представление о нем, чтобы рассматривать его просто как призванное проиллюстрировать доброту принца и призвать благословения на его имя. Она может произвести такой эффект, и это одно из ее преимуществ; но она основана на более обширных причинах и более общих интересах. На самом деле это часть права на правосудие, пережиток тех времен, когда князья, сами верша суд, могли, в зависимости от обстоятельств, либо осудить, либо отпустить грехи. По мере развития общественного строя право судить отошло к князю, но он сохранил право прощать. Какой великий пример той таинственной Мудрости, которая руководит развитием цивилизации и которая, бессознательно для человека, вызывает из недр фактов институты и обычаи, соответствующие тем вечным истинам, законы которых одна человеческая мудрость никогда не смогла бы открыть! Балансируя между потребностью в справедливости и невозможностью уступить право правления капризной или извращенной воле человека, общество первым почувствовало опасность произвола власти; и, чтобы освободиться, установило твердые законы и независимых судей, боролось против влияния индивидуальной воли на судебные решения и пыталось заранее написать правосудие и заранее связать с ним судей. Результатом этих усилий стало значительное улучшение. Но истина не позволяла сразу схватить себя целиком; и неизбежная природа вещей не всегда соглашалась быть увиденной в текстах законов. После борьбы с принципом произвола было необходимо вернуться к нему; и точно так же, как точность юридических суждений была применена против несовершенства людей, так и совесть человека была применена против несовершенства судебных решений. Таким образом, необходимость принципа произвола, неукротимого в нашей слабости, дает о себе знать после грозящей ему опасности; и в отсутствие того непогрешимого судьи, которого не хватает на земле, свобода, которую закон хотел подчинить, чтобы править, теперь, в свою очередь, пришла на помощь самому закону.

Таков неизбежно порочный круг человеческих отношений. Великая ошибка Учредительного собрания, как в его теориях, так и в институтах, заключалась в том, что оно неверно истолковало этот фундаментальный элемент нашего состояния и предположило, что истина, разум и справедливость могут полностью принадлежать определенным формам и определенным силам,

и что таким образом можно полностью изгнать принцип произвола: высокомерную попытку, которая может привести только к тирании. Такая попытка никогда не увенчается успехом, ибо она находится в прямом противоречии с нынешней системой правления, которую одобряет народ и основание которой было целью Учредительного собрания. Важнейшей чертой представительного правительства является свободное принятие во многих случаях непререкаемой необходимости принципа произвола и немедленное исправление его недостатков, связывая его с ответственностью. Чем большего прогресса мы добиваемся в этой системе, тем больше убеждаемся в том, что ответственность во всех ее формах и самыми разнообразными средствами, моральными или юридическими, прямыми или косвенными, является ее наиболее существенным характером и самой мощной пружиной. Таким образом, это должна быть законченная и достойная восхищения система, поскольку она одновременно признает слабость нашей природы и уважает ее достоинство. В этой системе невозможно предотвратить внезапную смену произвольной власти, каким бы необходимым ни было ее присутствие, ответственностью. Если бы это было иначе, вся система была бы фальсифицирована. Привилегия милосердия вообще не была бы привилегией. Хорошо ли изучена природа этого права? Это право приостанавливать или отменять действие закона; это та "раздающая власть", которая была одной из причин ужасной борьбы английской нации со Стюартами. Короли Англии утверждали, что это их привилегия - признавать в конкретных случаях несправедливость или несовершенство определенных законов и таким образом освобождать от них тех или иных граждан. Страна никогда бы не согласилась на это, и страна была права. Все законы и все общественные права были бы ущемлены такой привилегией. Только министерская ответственность могла бы, пользуясь привилегией милосердия, уберечь общество от этой опасности; ибо, если оно остается в неведении относительно одной функции власти, вскоре это произойдет и в отношении других. Распределяющая власть Стюартов желала также иметь право освобождать католиков от некоторых уголовных статей; но парламент хорошо знал, что в политике, как и в морали, плохие принципы должны быть подавлены, и он не позволит ни подавить себя, ни нейтрализовать.

Где еще может скрываться ложь? Кто не знает, что при осуществлении привилегии милосердия, как и при любом другом шаге, король обычно принимает решения в соответствии с советом своих министров, в обязанность которых входит изучить дело и представить ему доводы для принятия решения? Кому не известно, что в каждом случае прошения о помиловании адресуются министру юстиции и становятся в его ведомстве объектом проверки, которая представляет отчет королю, который после этого дарует или отказывает в помиловании? Это милосердие свободно, абсолютно свободно, но оно желает быть просвещенным; и, если я не ошибаюсь, когда такие прошения адресуются непосредственно государю, он сам приказывает передать их своему министру, с тем чтобы регулярный ход управления был непрерывным. В политических вопросах эта регулярность еще более тщательна, поскольку там строгость или милосердие могут повлиять на все поведение министерства и общее состояние страны. Такие дела всегда являются предметом серьезного обсуждения в совете. Не имеет значения, согласуется ли решение, которое за этим последует, с советом министров или нет, ибо, если они не отрекутся от него и не потерпят неудачу в приведении его в исполнение, это их личное дело; это относится к их ответственности, как и все другие королевские решения, секрет которых никто не знает лучше, чем они. Таким образом, они не имеют права заявлять, что не несут ответственности за последствия; они дали свой совет, выполнили свою задачу и должны

нести ответственность. Мантия королевской неприкосновенности сама по себе нерушима, и никто не может притворяться, что прикрывается ею.

Является ли привилегия милосердия, таким образом, приведенной в соответствие с общим правом конституционных принципов и закрепленной в компетенции высшей администрации, механизмом управления, который мог бы быть использован с пользой сегодня, и если да, то какое применение следует извлечь из нее в отношении политических преступлений?

Тем, кто будет упорствовать в том, чтобы видеть в этом просто средство проявления милосердия к отдельным лицам, а не политический инструмент общего правительства, Монтескье ответил за меня: "Письма о помиловании, — говорит он, — являются великим инструментом умеренных правительств; власть, с помощью которой государь может помиловать, при мудром использовании может иметь замечательные результаты".

А может ли быть иначе? Привилегия милосердия, по-видимому, сохраняется особенно за политическими преступлениями — преступлениями часто двусмысленного характера, с которыми могут быть связаны искренние ошибки и чувства, достойные уважения; которые не всегда могут казаться угрожающими обществу; в которых опасность — главный элемент преступления — отсутствует; и, короче говоря, в которых отсутствие успеха действует более эффективно, чем наказание. В случае частных преступлений помилование предполагает ошибку или, по крайней мере, чрезмерную суровость суждения: и, таким образом, оно может иметь неудобство, заключающееся в том, что оно может поколебать авторитет юридического правосудия или уверенность в мудрости законов. Слишком широко используемый, он указал бы на пороки, требующие реформирования трибуналов или кодексов; это сделало бы королевское милосердие новой юрисдикцией, судом справедливости, призванным пересматривать все судебные решения по уголовным делам; и не предлагающим ни в административной инструкции, предшествующей приговорам, ни в их формах никаких разумных предписаний обычных трибуналов. В случае политических преступлений не следует опасаться ни одного из этих неудобств: здесь помилование не подразумевает ни ошибки главных судей, ни даже, с юридической точки зрения, чрезмерной строгости их постановления. Это никоим образом не компрометирует и не поколебляет их авторитет: это просто раскрывает намерение суверена мягко обращаться даже с теми из своих подданных, на которых ему приходится жаловаться: моральное и политическое намерение, которое не противоречит законам и не изменяет их репутации, но обращается к кругу чувств или идей, совершенно чуждых тому, в чем действует юридическая справедливость. Можно даже предположить, что в такой сфере привычка к милосердию отнюдь не снижает суровости присяжных или судей, а делает их менее робкими и более свободными. Идея настолько естественна, что иногда публике казалось, что конкретное политическое осуждение было вынесено только в надежде на помилование, чтобы нейтрализовать его суровость. Таким образом, благодаря экономии крови мы, возможно, могли бы получить возможность подавать пример; власть обладала бы всеми достоинствами умеренности, и граждане, которые в судах присяжных часто колеблются, и не без оснований, когда необходимо приговорить человека к эшафоту, с меньшей болью выражали бы свое неодобрение его попыток или замыслов.

Мы боимся последствий безнаказанности; мы боимся той уверенности в мужестве, которая предполагает, что умеренность является результатом слабости или трусости. Но я никогда не знал ни одного правительства, обремененного слабостью, кроме тех, которые были действительно слабы; и что касается их, я не знаю ни одного, кому строгость могла бы придать недостающую силу. Самой упрямой ошибкой власти является принятие в каждом случае следствия за причину. Таким образом, если недовольство носит всеобщий характер, оно приписывается симптомам, с помощью которых оно проявляется. Поскольку сильные правительства были строгими, отсюда следует вывод, что каждое строгое правительство должно быть сильным. Я уже разоблачал эту абсурдную ошибку, и я нахожу ее здесь во всей ее грубости. Несомненно, возможно, что мягкость может быть связана со слабостью, а недоброжелательность поощряется ею; но зло происходит не от мягкости, а от слабости — той настоящей слабости, которая проявляется как в суровости, так и в милосердии. Мне стыдно настаивать на этих общих чертах здравого смысла; но что же делать? Когда ошибка вульгарна, ее нужно подавлять вульгарными истинами. Кроме того, что вы называете безнаказанностью? Это изгнание, тюремное заключение, транспортировка? Это следующие наказания после смертной казни, и вы можете заменить их ими. Забавная безнаказанность! Разве вы не видите, что подобные замены находятся в абсолютной гармонии с нынешним состоянием морали и природой политических опасностей? Мы больше не живем во времена сильных и неукротимых страстей, которые пережили страдания и оковы и после двадцати лет бессилия и плена проявились во всей своей энергии. Подобные настроения принадлежат тем эпохам, когда даже свобода угрюма, когда жизнь предлагает мало развлечений и удовольствий, когда идеи, занимающие ум человека, немногочисленны и просты и не носят того противоречивого характера, который смущает и волнует душу, беспорядочно блуждающую среди развитой цивилизации. В наши дни тюрьма или ссылка лишают людей удобного и приятного существования; и они сожалеют о тысяче удовольствий, которых не знали в прежние времена, и получают от наказания гораздо более действенное предупреждение. И все же в изгнании или тюрьме они не испытывают того свирепого насилия, которое раньше так глубоко раздражало их, делая настолько же более непривлекательными, насколько они были более несчастными. В наши дни, даже без свободы, физические страдания заключенного не таковы, чтобы помешать ему задуматься о причинах своего несчастья, признать свои неблагоприятные поступки или ошибки, возможно, успокоиться или, по крайней мере, ужаснуться самому себе и однажды вернуться в общество более смягченным, чем разъяренным. Власть, какой бы искусной она ни была, я уверен, нашла бы в этих особенностях нашего социального государства тысячи способов воздействия на осужденных врагов, чьи жизни она пощадила. Кроме того, чья необходимость в этом ударе? Политические опасности не являются неизменными; хотя сейчас они существенны, возможно, через два года они исчезнут; и человек, который сегодня является их орудием, тогда не будет иметь ни власти, ни даже мысли о том, чтобы причинить вред консолидированному правительству. Бандит или наемный убийца грабит или убивает по собственному почину, из чисто личных побуждений и не заботясь о том, благоприятно ли к нему отношение общества и получит ли он от него защиту или поддержку. Но политические преступления не так уж изолированы: правильные или нет, они соответствуют состоянию общества, от которого они обещают себе снисхождение или даже помощь; они в определенной степени являются преступлениями обстоятельств и не были бы совершены или, возможно, задуманы, если бы обстоятельства были иными. И поэтому так спешите убивать, когда обстоятельства могут измениться! Нынешняя опасность предвидится; осужденный находится в руках власти, которая, сохранив ему жизнь, все же может удерживать его в бессилии, пока

опасность сохраняется. Опасность миновала, какая польза от суровости? Неужели так сложно сохранить немного милосердия в запасе на дни безопасности? Если у вас нет этого предвидения, но вы спешите предпринять непоправимые шаги, знаете ли вы, что произойдет? Что неприятности и опасность будут продолжать возрастать, и от вас потребуют отчета за вашу ненужную суровость. Но если фортуна будет более благосклонна, и опасность отступит, и буря утихнет — тогда, когда вернется безопасность, и общество больше не будет видеть в надвигающейся опасности мотив вашей суровости, оно забудет и опасность, и мотив вместе: оно будет помнить только вашу кровожадность; и, управляемое тем инстинктом правды, который не позволяет нам приписывать смерти нескольких человек возвращение мира и порядка, оно скажет, что вы пожертвовали своим страхом или своей местью тем, кого вы могли бы пощадить, не подвергаясь опасности.

Было бы правильно так думать; и факт, который обнаруживается в этом настроении, заключается в политической бесполезности смертной казни. Это нужно увидеть издалека, чтобы должным образом оценить его последствия; и не раз правительствам приходилось сожалеть о том, что они упустили возможность, предоставленную им привилегией милосердия. Увлеченные страстью или опасностями момента, чтобы дать ему полную волю, они впоследствии обнаруживали, что отягощены обязательствами и воспоминаниями, о бремени которых они сожалели. В разгар подвижности человеческих дел большая ошибка власти - связывать себя непоправимыми действиями. Может наступить день, когда кровь, которую она пролила, по-видимому, забытая, встанет между ней и людьми, в которых она больше всего нуждается. Раньше жестокость нравов и сила личных интересов были таковы, что подобные препятствия легко уступали перед новыми обстоятельствами; но в наши дни, несмотря на неизменное легкомыслие нашей натуры, они более реальны и их труднее преодолеть, поскольку общественное мнение придает им силу, которую они не всегда могли черпать из постоянства индивидуальных чувств. Разумное использование привилегии милосердия как бы заранее рассеивает их и оставляет власти свободу передвижения, сохранить которую для нее очень важно. В чем заключается мудрость, если не в дальновидности! Пусть правительства будут обладать этим, и я сомневаюсь, что они будут часто применять смертную казнь.

Вот последнее соображение. Я не решался изложить его, поскольку не хотел бы, чтобы меня обвинили в совете трусости; и все же я изложу его - ибо это правда. Раньше хранители власти, министры или другие лица, рисковали в политической борьбе своей жизнью, а также положением. Тогдашняя необходимость заключалась в том, чтобы подобные сражения всегда носили революционный характер и чтобы никто не мог выйти из них побежденным, чтобы обрести безопасность в покое. Конституционная система и общественные нравы изменили это мрачное состояние общественных деятелей; теперь они могут без всякой опасности пасть и даже снова выйти на ристалище для восстановления своей власти. Народом лучше управляют, а губернаторы в большей безопасности. Пусть ничто не изменит этот новый аспект политической жизни! Министры обманули бы самих себя, если бы думали избавиться от лежащей на них ответственности, оспаривая ее пределы. Когда факты становятся серьезными и самые серьезные интересы оказываются скомпрометированными, тогда тонкости теряют свое влияние; все решается просто, и они всем своим поведением отвечают за все советы, которые

они дали или упустили. Я знаю, что такая перспектива, открывающаяся взору общественного деятеля, не должна побуждать его пренебрегать своими обязанностями: она скорее должна научить его внимательно следить за собой; не верить легкомысленно в мнимые потребности или довольствоваться в дни своей власти такими легкомысленными оправданиями, которые не имеют никакой ценности, когда эти дни прошли; сократить, насколько это в его силах, круг политических смертных приговоров, который уже так счастливо замкнулся; и, короче говоря, использовать для достижения этой цели в своей функции советника трона всю силу, которую его ответственность несет. одалживает ему.

Глава XI.

Заключение.

Прежде чем закончить, я еще раз перечитал тот трактат, в котором говорится, что мы можем раскрыть глубочайшие и наиболее отвратительные секреты тирании — "Трактат *опринце*"; и я нашел отрывок, который хочу процитировать. В своих выражениях и даже идеях это скорее относится к нравам и политике шестнадцатого века, чем к нашему собственному; в особенности это говорит о личной вражде и изменах, об убийствах и политических опасностях, которые больше связаны с жестокой борьбой личных амбиций, чем со столкновением общих интересов или соперничающих систем правления. Однако полезно знать, что думал о заговорах и их значении великий человек, который, живя среди наказаний и фракций, невозмутимый наблюдатель фактов и их результатов, взялся учить правительства, с каким благоразумием они могли бы преодолевать подобные потери.

"Одна из самых мощных гарантий, - говорит Макиавель, - которую может иметь государь против заговоров, - это не быть ни ненавистным, ни презираемым массами. Человек, устраивающий заговор, всегда верит, что смертью принца он удовлетворит народ; но если, напротив, он думает, что это оскорбит его, у него не хватит мужества идти вперед, ибо трудности, которые окружают заговорщиков, бесконечны. Мы знаем по опыту, что было много заговоров, но немногие из них увенчались успехом. Тот, кто замышляет заговор, не может действовать в одиночку или выбирать себе товарищей иначе, как среди тех, кого он считает недовольными. Но когда вы доверяете свою тайну недовольному, вы снабжаете его средствами для устранения этого персонажа, ибо, раскрыв замысел, он может надеяться на любую выгоду. Видя, с одной стороны, несомненную выгоду, а с другой - ничего, кроме сомнений и опасностей, он должен быть действительно редким другом или же очень упрямым врагом принца, чтобы сохранять верность вам. Сводя дело к самым простым терминам, я говорю, что на стороне заговорщиков все - страх, недоверие и боязнь наказания; в то время как на стороне принца - величие власти и законов, а также сила его друзей и государства. Когда ко всему этому присоединяется добрая воля общественности, ни у кого не может хватить безрассудства вступить в заговор. В обычных случаях заговорщику есть чего опасаться перед совершением преступления; но здесь ему приходится бояться даже после него; ибо, совершив преступление, он будет иметь врагами народ и поэтому не сможет надеяться ни на какое убежище. Можно было бы привести ряд примеров на этот счет, но я ограничусь одним, который произошел во времена наших отцов. Аннибал Бентивольо, правивший Болоньей, был убит каннески в результате заговора и не оставил наследника, кроме Джона, который был еще младенцем, народ восстал после убийства и вырезал всех каннески, что стало результатом народной доброй воли, которой в то время пользовалась семья Бентивольо. ... Из этого я делаю вывод, что принцу нечего бояться

заговоров, если он пользуется благосклонностью народа; но что, если народ - его враги, он должен бояться всего и каждого гражданина". [Сноска 18]

[Footnote 18: *Il Principe*, c. xix.; Opere di Nic, Macchiavelli, t. vi. pp. 316-318.]

Я бы не был так уверен, как Макиавель, и не зашел бы так далеко, чтобы утверждать, что популярности власти достаточно, чтобы отбить охоту к дерзости заговорщиков. Но если в шестнадцатом веке самый глубокий знаток итальянской политики считал, что сила власти в борьбе с заговорами заключается не в ее наказаниях, а в удовлетворении общих интересов и отношении к ним государственной системы, то как обстоит дело в наши дни? Макиавель считал, что с заговорами очень трудно иметь дело, а смертная казнь - совершенно недостаточной, когда власть не была популярной; и теперь, когда вопрос заключается в том, чтобы поднять массы на борьбу против могущественной организации великих правительств, будет ли у заговорщиков меньше препятствий, с которыми им приходится бороться? Будет ли смертная казнь более действенной? Я уже отвечал на этот вопрос. Задачи правосудия и политики различны, более чем когда-либо, и одно не может заменить другое. Если политика не соответствует ее собственной, или если она не осознает общественную волю, или оскорбляет ее, то напрасно она будет призывать на помощь наказания против отдельных людей. Наказания могут уничтожать людей, но они не могут изменить ни интересы, ни чувства людей. Но чего я хочу? Ни изнеженности, ни безнаказанности. Чтобы бороться с бесполезной строгостью, я просто собрал эти факты воедино и показал, что против моральных опасностей и общих сил такая строгость неэффективна. Характер общности, который сейчас несут в себе опасности власти, также будет обнаружен в этих средствах. Он может убить одного или нескольких человек и сурово наказать один или несколько заговоров; но если он не сможет сделать ничего большего, чем это, он всегда будет сталкиваться с теми же опасностями и теми же врагами. Если оно способно на большее, пусть обойдется без убийства, ибо оно больше не нуждается в нем: достаточно менее ужасных средств. Оно увидит, как говорит Макиавель, что правительство, защищенное общественным одобрением, занимает выгодную позицию, где заговоры так же бессильны против власти, как смертная казнь бессильна против заговоров.

Конец.

Эдинбург:

Напечатано W. & R. chambers.

[Примечание автора: указанные цены рассчитаны по системе sd (или Lsd), "фунты, шиллинги и пенсы", от *librae, solidi* и *денариев*. 12d (пенс) - это шиллинг. 20s (шиллингов), или 240d (пенсов),

составляют фунт. Покупательная способность одного пенса в 1852 году составляет около 0,58 доллара США в 2020 году.]

Образовательный курс Чемберса.

Этот курс, насколько это возможно, будет включать в себя кодекс и материалы полного начального образования, физического, нравственного и интеллектуального.

Уже опубликовано, все в прочных переплетах из ткани темного цвета:-

Справочники.

Лечение младенцев в возрасте до двух лет, — 1с 3дня

Обучения младенцев в возрасте от двух до шести лет, — 2с 0дней

Раздел английского языка.

Первая книга для чтения, — 1½d

Вторая книга для чтения, — 3d

Simple Lessons in Reading, — 10Уроков морали, - 1

с6 6d

Introduction to English Composition, — 6d

Introduction to English Grammar, — 1s 3d

English Grammar, Two Parts, each, — 1s 6d

Exercises in Etymology, — 2s 0d

Ораторское искусство, — 3с 0д

История английского языка и литературы, — 2с 6д

Арифметический и математический.

Введение в арифметику, — 1s 0d

Арифметика (Расширенный трактат), — 2s 6d

Algebra, — 4s 0d

Key to Algebra, — 2s 6d

Plane Geometry (Euclid improved), — 2s 6d

Ключ к упражнениям по плоской геометрии, — 2s 0d

Геометрия твердых тел и сфер, — 2s d

Практическая математика, по две части, каждая, — 4с 0d

Key to Practical Mathematics, — 3s 6d

Mathematical Tables, — 3s 6d, -

Научный.

Зачатки знаний, — 10d

Introduction to the Sciences, — 1s 0d

гЗаконы материи и движения, — 10

гМеханика, 10

гГидростатика, гидравлика и пневматика, — 10

гАкустика, — 10

гАстрономия, — 10

гЭлектричество, — 10

Метеорология, — 10г

оптика. (Почти готово.)

Химия, — 2с6d

Animal Physiology, — 1s 9d

Zoology, — 4s

Vegetable Physiology, — 1s

Geology, — 2г г

Исторический.

История Рима, — 2с 6г

История Греции, — 2с 6г

История и современное состояние Британской империи, — 2с 6г

Образцовая и поучительная биография, — 2с 6г

Письмо и рисование.

Почерк—простой, выполненный от руки и орнаментальный;

В двенадцати подготовленных тетрадах (*почтовым размером*), каждая. По 6д.

В восьми книгах (*размером с листок для дурака*), каждая. 3д

Первая книга рисования, — 1с 6д

Вторая книга рисования, — 1с 6д

География.

Географический букварь, — 8д

Учебник географии для Англии, - 10д

ШКОЛЬНЫХ КАРТ Англии, Ирландии, Шотландии, Европы, Азии, Палестины, Северной Америки, Южной Америки, Африки и других полушарий. Каждая карта имеет размеры 5 футов 8 дюймов в длину и 4 фута 10 дюймов в ширину; в общей сложности образует десять карт; девять из которых расположены на расстоянии 14с. каждая; Полушария (включая астрономические диаграммы), 21с.

ШКОЛЬНЫЙ АТЛАС современной и древней географии; содержит тридцать четыре карты кварто, цветные, - 10с 6д

АТЛАС для НАЧИНАЮЩИХ; содержит девять карт кварто, цветные, 2с 6д

Классическая серия,

Со вступлениями и примечаниями на английском языке.

Под редакцией доктора Цумпта из Берлинского университета и доктора Шмитца, ректора Средней школы Эдинбурга.

C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico, — 2s 6d

P. Virgilii Maronis Carmina, — 4s 6d

С. Саллюстий Криспи Катилина и Югурта, — 2с 0г.

Введение в латинскую грамматику. (*Почти готово.*)

Латинская грамматика. (*Почти готово.*)

Другие работы в стадии активной подготовки.

Опубликовано У. и Р. Чемберсами,
Хай-стрит, 339, Эдинбург;
D. Чемберс, 20, Аргайл-стрит, Глазго;
У. С. Опп, 147 Стрэнд, и угол Амена, Лондон;
Дж. Макглашан, 21 Д'Олье-стрит, Дублин;
и продается всеми книготорговцами.
